

ISSN 0132-0637

1997

Октябрь

Октябрь

1 1997

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

1997

ЯНВАРЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН,
Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ,
А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА,
Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИ-
ЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Олег ПАВЛОВ. Дело Матюшина. Роман	3
Анатолий НАЙМАН. Ранний сбор ягод. Стихи	44
Юрий БУЙДА. Три рассказа.	49
Письма из Британии. Публикация, предисловие и ком- ментарии Кирилла Кобрин	60
Владимир САЛИМОН. Второстепенные детали. Стихи	90
Джамейка КИНКЭЙД. Зуэла. Рассказ. Предисловие и перевод с английского Александра Суконика	93

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Михаил ПРИШВИН. Дневник 1938 года. Вступление, подготовка текста, ком- ментарии и публикация Л. А. Рязановой	107
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

АЛЕКСЕЕВА Т. А., КАПУСТИН Б. Г., ПАНТИН И. К. «Национальная идеология»: иллюзия или непоня- тая потребность?	137
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Памяти Бродского

Андрей РАНЧИН.

«Человек есть испытатель боли...» Религиозно-философские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм **154**

Лиля ПАНН.

Альтернативная реальность **169**

Панорама

А. ЦЕЙС. **Подарок Москве** (Сборник «Москва – столица реформ»). Евг. ШКЛОВСКИЙ. «**Слепого века строгий поводырь**» (Борис Чичибабин в стихах и прозе). Елена ИВАНИЦКАЯ. **С надеждой на постмодерн** (Александр Эткинд. Содом и Психея). Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. «**Я вас приглашаю в рай**» (Макс Жакоб. Избранные стихи) Михаил Соколов. **Выход из транса** (книжная серия «Лики культуры») **176**

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.

Славное было время **186**

В несколько строк

Рубрику ведет Б. Филевский **189**

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимается государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ**.

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина**.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 28.11.96. Подписано к печати 20.12.96. Формат 70x108^{1/8}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 15 720 экз. Заказ № 1329. Цена 14 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1790 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Дело Матюшина

РОМАН

Часть первая

I

Вжилах его текла, будто по дряхлым трубам, тяжелая, ржавая кровь, так что вместо прилива сил, только начиная жить, осиливал он усталость, что бы ни делал, и растрчивал беспробудно дни, как в порыве отчаяния, вспыхивая вдруг жарким, могучим желанием жить, добиваться всего лучшего, но и угасая потихоньку в буднях. Всю эту жизнь он точно бы знал наперед: в ней случится то, что уже случилось. Потому пронзительней вспоминалось прожитое и памятей всего было детство. Хотя скитание по гарнизонам за отцом, однообразная неустроенность и его, отца, вечным комом в горле немота и безлюбовь могли лишить чувств.

Дети, а их в семье было двое братьев, не ведали ни дедок, ни бабок, живя спертым духом и слухом взаперти. Мальчики родились и выросли в разных городах, не в одно время, а точно разломанные разными десятилетиями, так что и братья были чужими, друг дружке не сродни. Гнегущий дух сиротства гнезился в отце. Кто родил его на свет, тот и подкинул, сбежал, сгинул бесследно в просторах, не желая отныне видеть его да знать, к умершим — и то на могилку ходят люди. Эта обида выжгла душу отца и обуглила. Отныне сам он не думал о тех, кто его родил, даже как о мертвых. Он ребенком выжил войну. Выжил после войны. Путевку получив в жизнь, сын народа, не двинулся с места и работал в городе Копейске на угледобыче. Хотел в техникум, жажду имея выучиться на горного инженера, но позвали служить, откуда уж не смог вырваться, не вернулся из армии, обретя себя в служении отечеству.

Все ему хотелось, Григорию Ильичу, чтобы как у людей, но и чуточку больше хотелось, ведь обиду-то вдохнули в него, а не выдохнули. Когда швырнуло служить в Борисоглебске, то пригнулся в доме своего ротного командира, который его отличал да и любил, простой человек, все одно что сына. У командира-то своего такого не было, хоть густо, да пусто, одних девок нарожал. Так что и матери, которая вечно с животом, на всех не хватало — старшая, Сашенька, командовала в доме и сестрицами. Молчком сошлись они с Григорием Ильичом — тот помогал командиру по хозяйству, навроде работника, а выходило, что Сашеньке всегда и помогал, был при ней работником, она же его и кормила. Было той Сашеньке шестнадцать лет, школы еще не окончила. Григорию Ильичу год службы оставался. Командир дочку берег и с усмешкой, но говаривал солдату: «Ты, Егорка, гляди, глаза-то не пьяль, гол ты, как сокол, Сашке такого жениха не надо, да и сгодится в хозяйстве, пускай матери поможет, сестер на ноги поднимет, а потом невестится». Но вышло так, что сговорился Григорий Ильич с Сашенькой, и Сашенька решилась. Вот пьют они вечерком чай, все в сборе да в командирском доме.

«Я за Егора выхожу, у меня от него ребенок будет», — говорит Сашенька.

Командир чуть со свету не сжил Григория Ильича, а думал и пристрелить, много чего было. Но делать нечего. Срок был родить Сашеньке, а Григорию Ильичу был срок увольняться из Борисоглебска — и командир смирился. Родился у него внучек, в котором он уж души не чаял, в его честь нареченный, Яков. Зятька у себя пристроил служить, как смог, на хлебную складскую должность. Сашка опять же под рукой. Живут, что птички в гнездышке. Но говорит Сашенька, двужильная, будто очнулась:

«Егору на офицера надо учиться, я поеду с ним».

Григорий Ильич выучился, и с того времени, как получил он самостоятельное назначение, никогда они в Борисоглебск ни с внучком, ни поодиночке, ни как-нибудь проездом не заявлялись. Только в другие времена ездили хоронить старого командира, а хоронить мать отправилась в Борисоглебск уже одна Александра Яковлевна. Григорий Ильич отпускать упорствовал. Накладно, а еще станут младшие из нее на похороны да на помин вымогать. Да еще если застрянет поминать. Детей оставляет, а Григорий-то Ильич все привык на готовом жить — воротится в дом, кормилец, весь в службе, так и зовет Сашу, чтоб сапоги стаскивала, а то сам устал. Но и обида, глубокая, темная: ему-то хоронить некого, семейства же всего борисоглебского, тех хитрожадных сестер и деток их, босяков — так и норовят проездом на шею его засесть, племянняются, — он не жаловал. Из всех, из борисоглебских, один он, Григорий Ильич, что-то в жизни выслужил, но не так гордился, как боялся их близко подпустить, вечно стонущих да обездоленных, даже проездом. Они своей пусть жизнью живут, а мы своей. Я помощи у них не попрошу, так пускай и у меня не просят. Мы как уехали, так не видели их добра, вон и Якова, и Ваську подняли сами, ничего у них не просили. Они же только и жили за счет отца с матерью, так пускай хоть мать похоронят, будут людьми. На отца-то давал им сто рублей памятник поставить, а ничего не сделали, так и не прислали фотографии, небось сожрали да пропили. К ним ездить только себя гробить, не пуцу. Да накрикнула Сашенька, дала волю не слезам, а гневу, и Григорий Ильич не посмел, отступил.

Этот крик в темном гулком доме, когда отец уж и замахнулся, чтобы ударить мать, но так и не посмел, был его, Матюшина, первой в жизни памятью. Помнил он, что убоился отец тогда детей, оттолкнули его дети, которыми загордилась как щитом мать — старший, подросток, и он, комок в ее каменных неприступных ногах, больно сжатый ею за плечи, точно и не руками, а тисками. И он помнил, что сказал отцу: «Брежнев женщин бить запрещает». И ужас помнил на лице отца от этих слов, страх его и бегство.

Будто и родившись из его памяти, этот крик и вой мучили его потом, никак не находя места уже не в памяти его, а в сознании. Прошлое в их семье находилось под молчаливым запретом, точно и не существовало никакой другой жизни, кроме той, какой все они теперь жили. Брата же Матюшин не смел спросить: как ненужное прошлое, не существовал в его жизни и брат, отслоившись от души его без всякой боли.

Всегда он не любил брата, чувствуя его мстительную нелюбовь. Яков ставил выше всех людей одного отца, хоть никогда отец не был с ним даже мягок, и в том трепете таилась беззаветная какая-то жалость.

Отец, бывало, выпивая одиноко после ужина, засиживался до глубокой ночи, запрещая матери даже убрать со стола грязную посуду. Мать бросала все и тоскливо уходила спать, заставляя и братьев укладываться. Темнело, но росла темнота опустошающе долго. Стены рушила тишина, и делалось страшно. Тем страхом веяло и от кровати, где недвижно лежал в темноте брат, и обжигал ледяной страх матери. Никто не спал. За стеной, где остался с бутылкой отец, чудилось, давно его нет. Но ждали, не спали, знали, никуда он не уйдет и должен наступить конец, до которого, мучаясь от водки да пустоты, он яростно и доходит: кончится рыданием или кромешной его дракой с матерью.

Никогда не было слышно, как он оказывался у матери. Всегда он прокрадывался, будто не хотел никого будить. Матюшин помнил, что если успевал за-

дремать, то просыпался от страха. Отовсюду вспыхивал слепящий безжалостный свет. Надрывался, кричал отец. Лаяла криком мать. Потом что-то вырывалось, шибая дверь. И обрушивалась тишина. Свет, как затмеваясь, гаснул. Матюшин обретал память уже в объятиях матери, которая гулко дышала, укачивая и баюкая вздохами. Но брат лежал глухо и мог вынести и этот грохот, и как надрывался в двух шагах от него родной братик. Отец, и тот не мог, видать, вынести, а этот ведь мог, бездушная отцова тень — вот кем он был.

Но рыданиями кончалось обычной, чем дракой. Посреди ночи слышался громкий плач отца. Может, плакал он так громко — оглушенный ночью, а может, этот плач потому был таким громким, чтоб его услышали, и отец, дойдя до конца, боялся сам себя, и были его слезы все равно что слезы ребенка. Мать его убаюкивала, уводила. Жизнь же их не кончалась — продолжалась, будто ничего не было, а если было, то вроде и не с ними, не наяву.

В ту пору Григорий Ильич хоронил себя заживо на службе. Побывки его были редкими, были разве что ночевки. Пропадал с утра до вечера и Яков, так что помнил Матюшин только мать, и хорошо ему было с ней, как хорошо бывает не думать ни о чем и всему благодарно, по-щенячьи, подчиняться. Брат и отец были для него тогда одно и то же. Даже запах у них был один, у отца с братом, табачный, с одеколоном. Яков-то воровал отцовские папиросы и отцовский одеколон, хоть отец — только пожалуется мать — за курение его нещадно бил. Но не помнил Матюшин, чтоб отец или мать хоть раз наказали его, всегда он был такой примерный, что и не за что было его наказывать. Если говорила ему мать сидеть на табуретке, он мог часами и сидеть, все одно что солдатик, материн приказ выполняя. И мать хвалилась подружкам: скажу Васеньке сидеть на табуретке, чтоб не мешал, так он сидит-сидит, воробушек, я все дела переделаю и сама про него забуду, с ним легко мне, не то что с Яшкой, вон уж и пьет, и курит, отцово семья. Зато бил его, да еще как, будто чужого бил, брат, Яков: как никто не видит, так пнет или за руку схватит и жмет, жмет со всей силой, будто и радуясь его-то боли. Он нажалуется матери на Яшку, и знает ведь тот, что нажалуется, а мать отцу доносит. Бывало, отец среди ночи подымал Яшку, другого времени у него не выкраивалось свободного, уводил на кухню и не ремнем, а кулаками бил. Но Яшка будто и жалел отца, вытерпывал его побои. Матюшин слышал от матери, что скоро Яшку в армию заберут. Ему семь годков было, но уже мечтал он, что забирают Яшку в армию и убивают на войне, про войну-то много он слышал да видел.

С уходом Якова по весне стены обросли покоем, явился вдруг чистенький строгий порядок. В тот год все они поехали в Кисловодск отдыхать в санаторий, выслужил путевку двухместную отец. Яков писал письма из армии редко, служил на границе, где-то в теплых краях: мать пересказывала его письма, и о Якове опять забывали. Она же и отписывала ему да открытки слала по праздникам. Писать открытки и слать их родне, даже самой дальней, и с кем служили, очень она любила, отмечая галочками, кого поздравила. Потом сосчитывала, кто их с отцом поздравил в ответ, докладывала отцу, которому отчего-то важным оказывалось это знать. Так что в праздники считали да подсчитывали открытки, будто расходы и доходы в зарплату.

Отец добывал годами звание за званием, должность за должностью, ну и выслугой — все годы он двигался тягостно вперед и вверх. Крутой, волевой человек да с хваткой, все исполняя, он умел добиться своего и не сгореть. Григорий Ильич боролся не для того, чтоб удержаться на шестке своем, он хотел и мог в жизни уже только побеждать. Борьба такая требовала не просто силы воли, но всей этой воли напряжения, которого он достигал, становясь в чем-то уж и не человеком, а сжатым в человека нервом. В нем не сердце билось, а змеился нерв. Слово его было уж не просто слово, даже и не кремьень, как и честность его — чуть не смертоубийством.

Когда спал отец, то нельзя было шуметь, а когда ел, то надо было доесть все из тарелки.

«Это кто хлебом брезгует, кто тут зажрался, а-аа?! Отвечать! Отвечать!»

И недоеденную корку сжевывали у него на глазах. Доедал Матюшин с детства, давясь, но доедал. Это был страх, но такой же трепещущий, зараженный любовью, что и жалость к отцу старшего брата — и любовь, а не страх, делали их души подвластными отцу, грязью в его руках. Любовь эту нельзя было истребить в их душах. Как не постигал отец, что отторгает детей и мстит этой чужой жизни нелюбовью к своим детям, так и дети не постигали, что чем сильнее будет эта нелюбовь отца, эта его священная кровная месть жизни, приносящая их в жертву, тем жертвенней и неодолимей будет порыв любви к нему, точно порывом и силой жизни; что нелюбовь к ним отца, но и любовь их к отцу неистребимы, как сама жизнь, и не могут друг без друга.

II

Яков явился какой-то новый, отчистился, из-под копоты да черноты проступил твердый свет, человек. Потому, верно, возвращение его в семью было неожиданно для всех радостным, светлым. Он был теперь, верно, не тенью уж, а самим отцом, как тот и мог выглядеть в молодости, но и лучше, чем отец, и даже сильнее. По дому он истосковался, может, возмужал, но в глазах, в том, как он теперь глядел, и в молчаливости, несхожей с отцовской тяжелой немотой, было что-то глубже сокрыто: как если бы молчал Яков, весь прежний скрываясь в молчание, в терпение, точно в боль.

Положение Григория Ильича было крепче некуда: полковник, командир свежеиспеченный полка, с пылу да и с жару — так крепко, осанисто выглядел он. Сыном Григорий Ильич не прочь был уже погордиться и собой гордился, что воспитал. Тогда, в те дни светлые, и вздумал Григорий Ильич сделать Якова военным. В таланты его он не верил, да и сам Яков никак себя в жизни не проявил, никаких у него интересов не открылось, желаний. Может, отец решил укрепить сына, покуда не расшатался, а верней службы ничего Григорий Ильич не знал. Может, не так он думал об Якове, как исполнял свое хотение украсить еще и сыном-офицером, были б они двое в погонах офицерских, как иконка. Но загадал Григорий Ильич сыну Москву — так сразу и родилась у него мысль о Москве, что есть там лучшее высшее на всю страну погранучилище, Яков-то и отслужил в пограничниках. В один час он высказал сыну, какой видит его судьбу, но Яков будто к тому и готовился. Эта покорность в сыне, неизвестно откуда родившаяся и сильная, заставила Григория Ильича дрогнуть, решил он всерьез поспешать.

Из столицы отец воротился отдохнувшим — и налегке, без сына. Отец жил в Москве в гостинице, а Якову дали место в казарме при училище, но столовались они вместе, отец водил кормить в ресторан. Он приехал не в мундире, как уезжал, а во всем вызывающе новом, даже и с красивым новым чемоданом. С которым ехали, старый, он оставил Якову. И купил еще себе часы и Якова наградил за старания. Себе отец давно уж привык не отказывать, холил кость полковничью, но вид его вызывающий, трата вызывающая не просто денег, а сбережений ожесточили мать. Он будто обратился к другой жизни, без нее. Хозяйкой денег всегда была мать, выдавала и тратила, и в том обнаруживалась непонятная ее над отцом сила, хоть служила ему чуть не по-собачьи.

Вместо радости за Якова, будто и отреклась от сына, вцепилась она сукой в отца — грызла, выла, скулила. Испугавшись, Матюшин убежал тогда из дома. А вернулся в пустой, разоренный дом. Кругом все было побито, изрезано, вспорото. Он забился в изуродованную кровать. Среди ночи объявился отец и вырвал его из обморочного холодного сна: не помнящий себя, запойный.

Вломившись, отец обшагал дом, и узнал Матюшин в этом кромешном человеке отца только по костюму — по яркой тряпке от того, что было костюмом. Ткнулся и он в сына, узнал его, утихомирился и пошагал спать, тем и довольный, что сынишку отыскал и что жены нет. Утром объявилась мать, не одна, а с подмогой, с чужой незнакомой женщиной, которая, всплакивая, добришко не свое жалея, помогала выбрасывать из дома обломки, осколки. Их, пробудившись, отец не тронул. Он сидел в сторонке, угнетаемый похмельем, и курил.

Мать всплакнула над изрезанным крест-накрест хорошим ковром. Глядя на нее, беспомощно зарыдал отец. С той поры, точно выбили прочь несчастье, не мог Матюшин и припомнить драк или слез в доме: будто душевная поселилась в нем тишина. Душа в душу жили мать с отцом с тех пор, в крепости, как если бы срослись душами в одну твердокаменную и не было у них другой своей души, кроме этой, одной. Купила мать другой ковер, другие фужеры, скопила, что заработал отец.

Но Матюшин не находил оправдания: как могла мать забыть тогда о нем, бросить могла одного? И верил в то, что не могла. Боялся одиноким, ненужным быть. Тогда-то родилась в нем тоска по брату, что радуется и живет он другой жизнью, бросил их, живет и радуется, улетел. Отец привез из Москвы цветную фотографию, где они с Яшей парадные, снялись у вечного огня, у кремлевской стены. Ее поставили на лучшее место, с фужерами и офицерским сверкающим кортиком отца, в сервант, будто и для гостей, но фотография сделалась заветной всего Матюшина, ходил он к ней, тайком с ней прятался и мечтал, что вырастет поскорей и уедет в светлую даль, как Яшка.

Так они почти и расстались с братом. Яков наезжал в отпуска, но Матюшина отец с матерью все годы отправляли в лагерь. Чтобы навещать, такого порядка у них не было. В эти годы отец бросил пить и курить, много заботился о своем здоровье, хоть и далеко ему было до старости. Но страшился он теперь умереть. В Ельске, где отец укоренился и командовал, стоя над всем гарнизоном, власть его была непререкаема, точно городок был и не городком, а гарнизоном. Десять лет жизни на одном месте и такое уважение остудили Григория Ильича. Стремясь всю жизнь к лучшему, он теперь лучше и не хотел жить. Покой местечка, где он как хозяин, уважение да почет — вот с чем ему было невозможно расстаться. Ради того он и боролся, не жалел ни себя, ни попавшихся на пути всех людей, чтобы обрасти вдруг в одном таком незаметном местечке покоем. Чтобы сделаться самому-то незаметным, спрятаться от жизни, и только как укрытием окружить себя таким вот городишком и подвластным, где пикнуть не смеют без его слова, гарнизоном.

Страстью отца была охота, потом — рыбалка, когда запретил себе выпивать. Ведь один не поохотишься, заодно с людьми и приходилось пить, а на рыбалку ездил он одиноко — машина его увозила неизвестно куда, и спустя время, какое он говорил, из гарнизона за ним приезжали. Оружие тоже было его страстью, и два ружья, немецких трофейных, оставались в доме, при нем, хоть и отвык охотиться. Ружья, сколько помнил себе Матюшин, тайлись зловец в их квартире — уже потому в комнату отца никто не смел без спроса заходить, что стояло в ней это бюро. Живого дерева, а не фанеры, сработанное в давние времена позабытым солдатом-умельцем. Сильней всего в доме хотелось Матюшину заглянуть, что там скрывается внутри. Отец каждое лето доставал ружья, прокаливал зачем-то на солнце, потом их чистили, смазывали. Так как в грязи мараться он не любил, то чистить стволы шомполами, смазывать все же доверял. Матюшин исполнял эту работу с усердием, так как знал, что отец позовет принести вычищенные ружья, станет их обратно чехлить и отопрет ключиком своим единственным ореховое бюро. Из бюро, что закрывал он нарочно от сына спиной, текли грубые, злые запахи кожи, оружейного масла и чего-то еще, каких запахов Матюшин не ведал. В бюро было множество полочек, ящичков, коробочек — и Матюшин только успевал увидеть их темные краешки, как отец захлопывал дверцу, запирали хозяйство свое на замок и, оборачиваясь, уж прогонял его прочь. Оттого ли, что прогонял, Матюшин полюбил тайны, а еще крепче полюбил рыться в вещах, к примеру, в материных пуговицах, или сам что-то прятать. А когда отец занялся здоровьем, то в тайник его превратился в их доме еще и сервант, шкафчик в котором также стал запирается и отпираться только его ключом. Это был тот сервант, где стояли парадно хрусталь и фотографии. Отец, бывало, подходил, отпирал дверцу, засовывал руки в щель, подпирая дверку грудью, чем-то звенел, что-то наливал и доставал наружу маленькую зеленую рюмочку, полную до краев, которую, морщась, выпивал и тут же прятал. Так как комната, где стоял тот сервант, была все же залой и вхо-

дили в нее все без разрешения, то Матюшин не раз пытался вскрыть железкой этот шкафчик, нюхал в щелку, пытаясь учуять, что там таится. Раз на глазах его отец достал оттуда деньги, целую пачку — это когда ездили они отдыхать в Kisловодск. И хоть дух в шкафчике покоился от лекарств пряный, добренский, но Матюшину чудилось долго, что так пахнут большие деньги, пачки их, сберегаемые отцом в серванте.

Матюшин рос по произволу судьбы, куда ветер дунет, что в голове чертополохом произрастет, так он и рос. Учение давалось легко, без труда, он был умный, но потому маялся он от скуки, не трудился учиться. Отцу хотелось, чтобы кто-то в семье сделался врачом, но не просто медиком, а по военной медицине. Ему нужен был не иначе как личный врач, только такой врач, родной, и только военный, точно другой в его здоровье и не смог бы разобраться. Сам он лечился всегда, и все лечились в лазарете, даже младшего водили в лазарет, иначе отец и в болезнь отказывался верить, а может, ему нравилось, что одна его семья лечится особо, будто для него весь лазарет и существовал.

В раннем детстве у Матюшина болело ухо, и военврач, ничего не смыслящий в детях, делая промывание и продувание, верно, повредил ему барабанную перепонку. Что слышать он стал на одно ухо туго, тому значения тогда не придали. Но через много лет на первой своей военной комиссии, подростком, Матюшин был неожиданно по слуху забракован. Признали тугоухость его неизлечимой, но в жизни-то давно свыкся он с ней и вовсе не страдал, был как здоровый, не по годам даже и здоровее, крепче сверстников. Тот факт, что сын его признан был негодным к военной службе, потряс и чуть не состарил отца. Да ведь и мог же он стать просто врачом, но такой щадящей простой мысли отец не допускал. Если не может быть военным, значит, окончательно никчемный. И отец мог сказать:

— Какой из него врач? Служить он не может, а что он может тогда, инвалидка.

Теперь, когда в мыслях отец с ним покончил, когда больше в него не верил, он и вовсе расхотел учиться. Ему было безразлично, куда его занесет. Он поступал как легче, но и потому еще, что готов был просто трудиться, не боясь замараться и занять не первое место, как боялся всю жизнь отец. Учебу и путь в будущее ему заменила работа, но ремесло выбрал он себе первое попавшееся, замухрышное — слесаря. Отец позволил ему молчаливо стать недоучкой, но презирал сильней, насмехаясь даже над той денежкой, что начал приносить Матюшин в дом и отдавать на питание. Якову, тому мать высылала в Москву по тридцать рублей в месяц, может, и те тридцать рублей, которые Матюшин ей на хозяйство сдавал.

Яков последний год вовсе не заезжал в Ельск, он докладывал письмом отцу, что в отпуск уедет в стройотряд на заработки. В деньгах он нужды не имел, да и много ли надо в казарме, но не докладывал он отцу, что хочет жениться. Известно об этом стало, когда молодые уж сыграли свадьбу. Яков выслал фотографии со свадьбы и письмо, что не хотел отрывать от дел отца, втягивать его в расходы, беспокоить. Будто и не обручился, а заболел и выздоровел. Отец в душе-то был доволен, что не втянули в расходы. Он полюбил не тратить, а копить деньги на сберкнижку, так что даже мать не знала толком, сколько скопилось их. Через ту сберкнижку, где пропадали полковничий его оклад, жили в семье скромненько на материну зарплату, на копейку, что начал добывать в училище Матюшин, на отцовский паек — отец член обкома был — да выручаясь картошкой и овощами с огорода. Отец заставлял их с матерью горбатиться, а солдат использовать настрого запрещал.

Но летом вместо медового месяца Яков с молодой женой приехали гостить в Ельск, почтили отца.

Людмила явилась как бы и сама по себе, без Якова. Это была уверенная в себе, в своей красоте, безродная гордячка, но и крепкая, светящая округлым желанным телом, будто и не девчушка, не было ей и двадцати лет, а зрелая, в соку, женщина. Даже и у матери не повернулся язык назвать ее доченькой, видной была сразу и любовная ее над Яковым властью, хоть Яков казался сильнее и

тверже, не отходил от нее, томился, но держался хозяином. Людмила уважительно отстранялась от отца, как бы уступая ему место, и, как чужая, равнодушно слушалась матери, как им устроиться в комнате, с постелью. Отец не проникился к ней теплом, смирял себя, не желая замечать, какая она женщина, и говорил в ее присутствии только с Яковом. О ней ему довольно было знать, что она не москвичка, и он, верно, полагал уже так, что ей, хохлушке безродной, большая честь породниться с человеком государственного масштаба, каким он себя считал, хозяином порядка в Ельске. Ему же она не ровня, не родня, а приживалка, что и борисоглебские. Пропала Москва задарма: что учился, что нет. Такого добра везде хватает, и в Ельске таких, что навоза, мог и тут жениться. Раз ты из грязи в люди выбился, так чего же опять лезешь-то в навоз, нет, видать, не доучился, судьбу на судьбишку меняешь, сгниешь на своей границе.

Начинались летние полевые учения, и, беря себе передышку, отец отбыл подальше от дома, пострелять. Для молодых все было устроено. Так как в Ельске поедом ела тоска, каждое утро к дому подкатывал газик, им устраивали такую же охоту, рыбалку, что только мог выдумать отец. Младшего брата Яков с Людмилкой возили за собой. В первые дни ездили как семьей, с радостью детской, отправлялась отдыхать с ними и мать, вырвавшись без отца будто на свободу.

Нарадовалась она, да и подустала ездить. Матюшин тянулся к Якову, гордился, что есть у него такой брат, но и робел перед его счастьем. Тяжеловатый, Яков хоть и ездил отдыхать, но мог только спать да есть.

Поездки их втроем, одинокие, томящие (ездили уже только купаться и загорать на речку), осветили жизнь Матюшина такой радостью, которой он больше не смог испытать: хотеть сделать все для другого, простор, вновь обретаемая вера в себя, в жизнь свою, в распахнувшийся огромный мир. Сама того не ведая, только скучая да играясь, новорожденная эта женщина, вспыхнув лаской, сделалась вдруг кровно родной, непререкаемо-единственной. Будто мать. Рождаясь наново и вылезая из холодной своей лягушачьей шкурки, Матюшин и не постигал, что может любить. Он жаждал и мог только подчиняться ей. Ему чудилось, что Людмила теперь всегда будет жить с ними, что не может она уже исчезнуть — и не любовь, а такое яркое, ясное возшло в тот год лето, земное и неземное, как из-под земли.

Нежась на бережку, усталая от купания, а плавать она любила одна и подолгу в покойной воде, Людмила ему позволяла мять и гладить ей спину, плечи, что было ей приятно и усыпляло. Эти ее штучки опротивели брату. Но, бывало, Яков с Людмилкой отлучались — Яков брал покрывальце и уводил ее далеко, в кукурузное высоко стоячее поле, ничего не говоря брату, не думая ничего объяснять. И ждал Матюшин покорно, понимая, что Людмила принадлежит брату и должна пойти с ним. Это делалось так буднично, будто ходили они в кукурузу справлять нужду. Яков тяготился им все больше, презирал его, и как-то отвращение его вырвалось наружу, он громко выговорил жене:

— Ты чего не понимаешь, что делаешь, дура, он же тебя лапает!

И, когда прибыли домой с речки, Людмила бросилась собирать вещи, уезжать. Яков насмеялся над ней, все из чемодана расшвыривая, материл. Ничего не понимая, вбежала мать, кинулась к Якову и вцепилась ему в глотку, не давая опомниться. Точно пружина стальная, обретая разум и силу, ее обхватила со спины Людмила, отгаскивала как могла от мужа, — Яков испугался, оцепенел. Мать будто сошла с ума, и спасала ее, а может, и всех-то спасала, одна Людмила, не ведая ни страха, ни жалости, точно должно ей было спасать. Сила ее, какая-то страстная, но и холодная, без борьбы, обездвижила бьющуюся в слезах мать. С той же страстью, холодом Людмила вжалась в мать, уткнулась губами в затылок ее, твердя что-то о прощении и что все у них с Яковым хорошо, что сама виновата, а он не виноват. Мать утихла, маленькая да сухонькая, с виду как старушка, убралась обратно на кухню, уплелась. Ей довольно было, что не порушился в доме покой, но дом и вовсе опустел, точно опустошился. Людмила увела Якова гулять, и пропадали они где-то допоздна.

Потом нагрянул отец с учений, чуть не на следующий день. Донесла ему мать или нет, но молодых услали одних на дачку, отсутствовали они с неделю,

а к приезду их уж заготовили обратные билеты. Больше они на речку не ездили. Матюшин сбегал рано утром из дома и прятался весь день, приходя домой к темноте, запираясь в комнатке спать. Его загрызал стыд, но и мучило горе. Никто не подумал в те дни о нем, никому он не был больше нужен. Людмила им брезговала, он даже не удостоился от нее презрения, как от брата, хотя Яков после дачки скорей равнодушно не замечал его существования в доме, а не презирал. Здоровые, зубастые, гогочущие, обсуждая будущее, сживали они вечерами бочком с отцом. Отец наставлял Якова, как надо держать себя, чего надо от службы добиваться, щедро и с охотой вспоминая случаи из своей жизни, когда и он начинал служить. Замолвить словечко за сына он не мог, погранвойска состояли по другому ведомству, и Якову предстояло биться за то, на какую границу пошлют. Григорий Ильич наставлял, что начинать надо с мест глухих и дальних, непожженных, откуда легче выбиться, где народишко устает служить, не борец, но и есть риск — значит, и есть где себя заявить. Дальний Восток или Север. Если же с запада начинать, в Прибалтике или в Белоруссии, где сытней, то сожрут, подомнут, не дадут вырасти, такой народишко служит, боров, одной тушей задавит, ученый, только место свое сытное и сторожит.

В день отъезда молодых не провожали. Отец попрощался еще утром, а мать должна была обслужить его, когда воротится со службы, — и порядка этого ничто не могло нарушить. В их семье заведено было провожать только до порога. Переступил порог, точно уж пересел в поезд, выветрился. Зато снаряжали в дорогу торжественно, долго, будто похоронный это был обряд. Весь день мать заставляла приходить коробками с вареньями, компотами, соленьями. Никто ей не помогал, да она и не звала помогать, по своему усмотрению и разумению громоздя эту тяжесть из банок. Груз коробок никак ее не пугал. Запасая Якову впрок, не думала она, каково будет ему коробки тащить. Кое-как, с помощью солдата, загрузили их в газик, присланный напоследок отцом. Тому же солдату велено было подождать на станции до прибытия поезда и помочь им погрузиться, но Яков сказал, что газик на станции отпустит, а поможет им погрузиться брат, проводит их. Мать не могла взять в толк, отчего нужно всем набиваться в машину, трястись в теснотище да с коробками, если есть солдат и доедут они удобней. Яков, не споря с ней, молча кивнул брату — и Матюшин полез в утробную темноту газика, чувствуя только, что куда-то падает.

Они стремительно быстро достигли вокзальчика и выгрузились на пустой, безлюдной платформе. Станция в Ельске состояла из двух вкатанных в землю асфальтовых платформ и живущего своим тихим мирком вокзальчика. Людмила, будто была одна, отошла в сторонку, принялась ждать. Яков обыскал глазами вокзальчик и, ничего не говоря, пошагал куда-то внутрь.

Пойдя вслед за братом, Матюшин вдруг оказался в тускло-светлой гулкой по-вокзальному рюмочной, где никогда в жизни не бывал, пахнущей пронзительно лесом. Яков спросил сигарет, водки, с полстаканом которой, бесцветным, точно пустым, встал у первого попавшегося столика, закурил, уперся стало в стакан.

— Ну ты как, не куришь еще? — проговорил тягостно он.

— Курю, — не ответил, а сознался Матюшин, чувствуя легкость, осиливая немоту.

— Давай покурим... Кури, со мной можно... А может, пива взять, или чего хочешь, может, водки? — взгляделся в него.

— Хочу! — выпалил Матюшин. — Водки.

— Гляди, давай, значит, водки. Тебе решать, я тебе не отец.

Матюшин смолчал, и Яков пошел за водкой. Взял он салатца на тарелочке. И бутылку.

— Не допьем — останется, я не жадный. Что, может, раздумал пить? Давай тогда на прощание, будь здоров!

От того, что в словах Якова он почувствовал в тот миг чуть не усмешку и Яков точно бы говорил ему, мы-то с тобой чужие, и никогда не станешь ты мне родным, Матюшин, лишившись вдруг от водки разума, ударом ее потрясенный, принялся тягуче изливать Якову душу, будто раздвоился в воздухе рюмочной и

видел себя как в отражении зеркала. Он хотел сделать Якову добро, не дать замерзнуть, чувствуя его холод, но еще ему хотелось красоты, и, думая о брате, он видел себя точно в обнимку с ним.

Яков молчал, налил себе разок водки, ему ни горячо было, ни холодно, но он хотел слышать, что еще скажет братишка, что наврет. Матюшин жаловался, как жилось ему одиноко после отъезда Якова в Москву, как страдал он от отца с матерью, как и он, и Яков от них пострадались. Но говорил это Матюшин так, точно и отец с матерью были хорошие, а он с Яковым их простили. Яков напрягся, сжался, стоило вспомнить Матюшину их детство, а нужно было вспомнить Матюшину, чтобы знал брат, помнит он и его, и себя до сих пор, хранит. Яков не хотел понимать этого, а может, не мог, он не верил в памятьливость эту. Но не по себе ему сделалось, когда сознался Матюшин ему в том, чего и не помнил Яков толком: что мать пряталась за их спины от отца, что они с Яковым мать от отца защищали, что он Брежневым его пугал, и отец убежал, испугался.

— Дурак, про отца так не смей говорить, не дорос еще! — не стерпел Яков. — Это мать во всем виновата! Все они виноваты! Таким надо запрещать детей иметь, они же мне жизнь изуродовали, и ты вон не поймешь кто, говоришь, помнишь, любишь. А как же ты меня любишь, если я тебя всю жизнь-то ненавидел? Как ты родился, так я и стал тебя ненавидеть. Я даже ночь ту помню, когда отец с матерью е...ись, чтоб тебя родить, я-то с матерью тогда на кровати одной спал, а потом с тобой она спала. Ты того не знаешь, что я знаю, что я видел. Отца таким мать сделала, а он ее как бил, ставил у стенки и бил, потому что не любил, потому что всю жизнь они друг друга ненавидят.

— Яша, они ж тя любят! — пьяно заскулил Матюшин.

— Себя они любят, может, тебя еще, ты ж сыночек маменькин, как для себя растили, ты им нужен.

— Яя... Да няня никто... Это ты у них гордость!

Матюшин одолел отвращение к водке и выпил свой стакан до дна, не умея ее просто проглотить, бросаясь в пропасть ее бесцветную за братом. Он неизвестно когда убедил себя, что брат несчастен, а может, это была его, Матюшина, потребность видеть в брате существо не сильное, а сквозь силу большое и несчастное и жалеть его, как жалел и себя. Он даже и понимал, теперь-то понимал, что не может любить брата, но и заставлял себя его любить и слушать Якова, как если бы он его не любил, то есть и не видеть его, как пустое место, и не слышать, ничего больше не чувствовать.

Но Яков без всякой боли, злее и злее, отравлял Матюшина той правдой, какой и сам был отравлен. Он так верил, что нити всех жизней в его руках, что даже трусил и дрожал в первых словах говорить, рвать их:

— Мать-то вообще некрасивая, вроде не женщина. Она ж на серую мышь похожа, не пара она отцу. У него баб ведь было, как говна, какие хочешь. Но никогда он не любил их. Она знала, поэтому ей дела не было, не боялась, давала гулять. Бил он ее, довести хотел до развода. Зубы выбивал за это. Но у них как сговор был! А когда влюбился отец и мать ему нужной перестала быть, как отшибло, то мстить стала, губить — заявления писать, все тыкала меня начальству, щипала, чтобы плакал. Тогда он решение принял с ней не жить, развестись к черту, но не думал, что ребенка лишится. Она ж сказала, что увезет меня тогда в Борисоглебск, что больше в жизни не увидит сына-то... Так отец ведь подкидыш, она ж знала, на что его толкает! Для него дети — святое! Его подкинули, бросили, на это она толкала, чтоб сам бросил? Чтоб жизни лишился?! Но он же лишился жизни, и когда любовь в себе прикончил, когда тебя они родили — им не дети, гири им пудовые нужны были, что друг с дружкой жить... А разве это жизнь, как мы жили, как теперь они живут? Что у них в жизни есть-то? Детки? Так я их ненавижу, тебя, себя, всех — что я видел, что я думать о них могу, что я такое? Сын, а может, сукин сын, подкидыш? Знаю, подыхать буду, не придете, такой у нас порядок, сам подыхай. Так я к вам тоже не приду, подыхайте здесь! Я без них проживу, без тебя — никто мне не нужен. И это вот правда, другой правды нет, нет правды...

В тот миг под ногами у Матюшина шатнулась земля, посыпался меленький осколчатый звон, так что рюмочная вьюжкой закружилась в его глазах, дрожали бесцветно стаканы, огромная, чудилось, и пустая страшно бутылка — ударами надвигался из ниоткуда дальний неживой гул. Гремел уж воздух и катился, давил выше голов, по недвижно-мертвому вокзальчику. Матюшин впился в Якова — и Яков кинулся опрометью, схватил брата, рванул, поволок.

Не останавливаясь, тягуче прибывал поезд, катился по острию рельс тяжеловесные вагоны, мелькали окна, плыла зеленая пыльная твердь. Остолбенело стояла Людмила у складика одинокого коробок. Состав растянулся вдоль серой зыбкой полосицы платформы и встал. Яков матерился, тащил, гнал брата к коробкам, а Матюшину чудилось, что летит он, не чуя под собой ног. Все схватили коробки, сделавшись вдруг уродливо похожими, побежали, а Яков оторвался от них, убежал вперед. Коробки болтались, бухалили под самое колено, так что Матюшин сгибался, волоча их. У вагона, где сбились они стайкой, было пусто, у задраенной высоко наглухо двери. Нигде у вагонов не было видно проводников, ни души.

Брат вскочил на подножку, кричал, колотился, но гробовая плита двери не сдвигалась. Казалось, все они погибают. Их не пускают дышать, жить. Яков устремился бежать вперед и вперед, по стене кромешной, отыскивая дыру. Выдыхаясь, но страшась отстать, цепляясь за него, отыскивали тот спасительный вагон, сверху весело глядел снизошедший проводник, мужичишка примерный. Яков швырнул в тамбур коробки, исчез в черном проеме. Из проема торчали одни его руки, будто отрубленные. Руки взваливали коробки, вещички. Стараясь поспеть, не отстать, Матюшин толкался с коробками у подножки, дохлый от водки, дыша в снежную полотняную Людмилину спину. Она подавала свою коробку, выхватила коробку у него из рук. Но состав дрогнул — и Людмила метнулась, испугавшись, к вещичкам, к отвалившейся вбок дорожной сумке, подобрать. Вагон вдруг дернулся, и тихонько потащился шагом, и покатился... Яков вырос из черноты, кричал, свесился на подножке, выхватил сумку, потом бегущую за вагоном жену подхватил — вырвал свободной рукой, бескрылую, от земли.

А он бежал, бежал с оставшейся на руках коробкой, бился об нее, будто об камень, старался, толкал. Какие-то мгновения он еще цеплялся взглядом за их вагон, видеть мог брата, но Яков канул глухо в проем, и вагон утонул в быстром мутном течении вагонов. Еще он стремился вперед, топтал асфальт, но, точно сбитый поездом, пролетел — и метра через три рухнул на платформу.

Когда пришел Матюшин в сознание, то еле различил вдали чугунную полукруглую иконку поезда. Под ним, из-под коробки, вытекал бурый компот. Он отлип виновато от асфальта, куда-то пополз, ему хотелось уползти домой. В далеке платформы, осанисто, размашисто шагая по ней метлой, возникнув, будто прыщ, выметала-сеяла пылицу здоровая баба, точно поезд проходной навредил чистоте. Баба обмерла, присела, взмахнула наотмашь метлой и с ором, так и приседая, полоща выцветшим желтым флагом путейки, понеслась на него с кровавой мордой, от нее рванулся Матюшин неведомо куда.

Болтавшийся живот рубашки, брюки были свинцовыми от бурой компотной мокроты. Баба орала вдгонку еще истошней. Где обрывалась платформа, мирок пустынный вокзальчика, пестрели уж тропинки, лесочки заборов, светились теплые улья домов — это был пригород Ельска, он же и город, приземистый да широкий, как и сама здешняя местность. Двое тверезых мужиков, местных, которые шагали себе по улице, тоже заорали и отважно погнались за ним. Пугая встречных людей да и шарахаясь от них, Матюшин кидался во дворы да проулки, куда не потерялся, очнувшись неизвестно где, в сумерках, на каком-то диком пустыре.

Отлежавшись в репьях, домой он добрался с тем чувством, будто совершил кругосветное путешествие. Довез его с окраин автобус, который трудился дотемна, и уж полупустой, долго блуждал светлой точкой по мглистому городку, точно по небосводу. В душе его было также светло и пусто. Он не сидел, а стоял у дверок в углу, как наказанный. В автобусе поглядывали на него, кто сер-

дито, кто с жалостью, видя пьяненького никудышного паренька, грязного да в заблеванной одежке. Он отчего-то не боялся идти домой. Ему чудилось, что он больше не пьяный, а про одежду не подумал да и утерял времени счет.

Дверь открыла мать. Простоволосая, в рубахе, будто уже спала. Такая, она походила на младенчика — спеленутая, морщинистая, и волосы, распущенные, жиденько покрывали голову, точно не росли, а лежали на ней.

— Ты что, одурел, до полуночи-то шляешься! — взметнулся петушино ее голосок.— Доехали? Проводил их? Сели в поезд? — Еще она сослепу его не разглядела.

Матюшин, не зная, что отвечать, топтался у порога.

— Да ты что?! — поволокла его в дом и тут вскрикнула, разом забывшись.— Сыночка, сыночка, что это с тобой?.. Ох, Васенька... Что... Что... Ах ты, зара-аза... Пил, пил? Ты пил! А рубашка, брюки, ты что, что наделал-то?!

Мать вцепилась в него и глядела железно в глаза. Матюшин не мог выговорить ни слова, не мог стерпеть этого ее взгляда, но и не желал больше молчать — он сжался, точно его ударили, и хрипло задышал.

— Яшка, зараза, Яшка, он это, он наливал, а ну говори! — взревела мать.

— Яя..шкааа... — постанывал, давился Матюшин.

— Он тебя бил, отвечай, что он с тобой делал?

— Неее...нет...

— А кровь, кровь откуда?

— Это из коробки... Разбили... Компот...

— Сели в поезд? А ты? Пьяный валялся?

Но больше он ничего не отвечал, глаза на нее тупо. Смолкла и мать, выдохлась. Думала уже о другом, погнала:

— Иди умойся, скидавай там все. Живо, а то отец придет. Твое счастье, зараза, что отца нету. Чтоб духу не было твоего, чтоб спал. Проспишься, я с тобой устрою разговор, я те дам, дурь-то из ты повышибу. Будешь помнить Яшку, будешь.— И хлестнула в сердцах рубахой уж по голой спине.— Всю жизнь будешь помнить!

Отмывшись, он валялся в огромной пустой кровати, будто в бреду, думая истошно об отце, которого нет. Отец нагрянул: громыхал в прихожей и отдавал уже матери указания, потом мыл руки и шагал есть. Было слышно, как он спрашивает что-то устало и как мать согласно мирно отвечает. И потрясло Матюшина, что правды не говорит. Он мучился, не мог уж слышать их, потрясенный, что ложью живут, будто едят ее да пьют. Хоть мать и не врала, а его молчком покрывала, отца берегла, но все равно твердил он себе и мучился, что мать с отцом врут, врут... И сам трусил издать хоть звук, потому что кружила в кровати, точно под пыткой в колесе, и душила водочная муть. Но и пытку эту вынес, и дышать смог, да себя же, водкой отравленного, усыпить — все смог. А утром, когда мать допрашивала о Яшке, то и сам врал ей, отвечая небылицами, что всего-то глотнуть у Яши в рюмочной выпросил, а про другое — молчок. Так что ругала мать поезд этот, отца поругивала, что билет им в плацкартный вагон взял подсадной, а надо было довести их машиной в Градов, посадить в купейный вагон, оттуда ведь свой поезд до Москвы ходит. И все помнила, огорчалась, какую коробку разбили — одну такую она и отделила им, с компотами.

III

Спустя полгода аукнулись, отписали, что Людмилочка ждет ребенка. Отец не то что обрадовался, а дрожал над тем письмецом, по сто раз заставлял мать перечитывать это известие, торжествуя, что продолжился род, веселясь, что пригодилась-то его дачка. Яков служил в местечке на польской границе, устроился как не советовал отец и помощи не просил. Но как стал подходить срок, отец командировал к ним с деньгами мать, чтоб всем обеспечила, какое нужно приданое, дежурила при Людмилке, за порядком следила. Долго у них мать жила. Дождались девочку, о которой, о внучке, отчего-то отцу и мечталось. Але-нушку эту, не видя еще, зная только, что на свете есть, любил он даже и не ра-

зумом, и не душевно как-нибудь, а кровью. Увидеть ее поехал в тот же год, после матери, лично. Это он считал своим долгом еще и потому, что Яков жилья в местечке не добыл, а прозябали они в общежитии. Погостил он так, что все им сделал: с кем-то сдружился, где-то выгнулся, кого-то пугнул, кого-то одарил — и смог устроить Якову, что было пределом его сил, отдельную квартиру. Но больше Аленушки этой не увидел.

Яков хоть не погнушался сесть на готовенькое, но будто оставил себя в квартирке, а отца — в Ельске. Год, а потом и другой связь держалась на открытках да письмах, которые Яков писал скупо, все реже. Но и отец, вырвавшись раз в чужие далекие просторы, больше такого усилия совершить не мог, забота о себе, желание привычных удобств и, главное, покоя — были сильней. Аленушкина фотография, где держал он младенца на руках, сам в мундире парадном, при медальках, а Людмила с Яковым стояли, как часовые, побоку, глядящая на него всегда дремотно из серванта, убаюкивала да усыпляла. Много раз порывался он ехать, но не ехал, не отпускал и мать. Ждали все, что навестят их летом. Отец придумывал, как возьмет отпуск, как поживут на дачке, как поест внучка малинки с клубничкой и возьмет он ее на рыбалку. Мать, точно по привычке, иногда прикупала то игрушку, если самой понравится, то красивую распашонку, шерстяные рейтузики, уж на семилетку, а то по выгодной цене — юбочку, ботиночки. Но никто не ехал. Потом и открытки с письмами подозрительно затихли, точно и некому их писать стало. Думали, если плохих известий нет, то хоть живы-здоровы.

Яшка объявился в Ельске в апреле тысяча девятьсот восемьдесят второго года, но тогда далеко еще было до смерти. В тот день Матюшин опоздал, подгулял — и застал разгром какой-то незримый в доме, запустение, будто кого-то похоронили. Отцу было плохо, мать кружила вокруг него, отпаивала. Он лежал в креслице, откинувшись головой, будто глядел в потолок. И первое, что сказал безжалостно, даже с похвальбой, было:

— Все. Нет у тебя брата. Если сунется, не открывать, сразу мне сообщить, приеду — так его, собаку, вышибу, что забудет дорогу, больше не сунется! — Мать всплакнула, и он, свирепея, крикнул: — Заткнись, сказал! Ты по кому слезы льешь? Кто все просрал, что ему в жизни сделали?! Пьянчуга, подонок, дезертир, сволочь... Чтoб он сдох, собака, ноги его в моем доме не будет!

— Да как же, Егорушка... — редела потихоньку мать. — Пожаалей, простиши... Сыночек наш...

— Все. Конец ему. Дам приказ в комендатуру, в милицию, ловят пусть его и сажают на хрен дезертира. Нет у меня такого сына.

Но так опозорить себя отец не мог. Он ждал, понимая, что Яков может прийти опять, готовился его встретить, то есть и не выставить уж, а не впустить. Ждал тягостно и Матюшин, хоть не мог понять происходящего. Но не пришел Яков. Отец остался дома и никого не хотел выпускать, точно боялся. Не пришел Яков и на второй день, и на другой, когда отец опять остался сидеть дома. Матюшин же понемногу узнавал, что было.

— Со службы Яшенька сбежал... Бросила Людка его... Увезла от нас Аленушку, внученьку мою единственную увезла... Запил Яшенька... Прогнал Яшеньку отец... Проклял... — уж будто и с облегчением проговаривалась мать, но помалкивала при отце.

Мигом исчезли все фотографии, сдуло их, и Матюшин с удивлением подглядывал за отцом — ничего с ним не делалось. Что так жить, что без этой Аленушки было ему едино. Только и важно было — стереть из памяти, чтоб не лезло в глаза, точно если не стало фотографии, то и человека не стало. Права не имела и мать ничего вспоминать, и он, Матюшин, должен был все забыть. На третьи сутки отец выздоровел, даже и поздоровел, отоспался, отъелся. Он так уверовал, что Яшки больше нет ни в жизни его, ни в Ельске, что о нем и не стало разговоров.

Дела, что накопились в гарнизоне, верно, задержали его, так что не приехал к ужину и ужинать сели без него. Но раздался звонок, пошла мать открывать, был это Яков. Может, слыша, что пахнет из кухни едой, ввалился по-хо-

зайски и уселся в чем был за стол. Матюшин затих у своей тарелки и не мог наглядеться на брата, в котором и следа не осталось от того, которого он помнил. Тянуло пьяной вонью, щетина делала его синюшное, засушливое лицо грязным, даже отвратительным, точно он покрывался шерстью. Одет он был в гражданское, щеголял, важничал, ехал будто куда-то на праздник. Шляпа, пальто, ботинки, верно, одни-единственные, кроме которых ничего он не имел, выросли, даже старили его, но и делали пронзительно жалким, будто и нищим. Из-под пальто выедал глаза ношенный костюм, откуда вывихнутым крылом торчал ворот рубахи и пылал оранжево, кричаще толстенный галстук.

— А ты все жрешь... — только и сказал он уныло брату, уставившись в недоодевшую его тарелку.

Тут опомнилась боязливо мать:

— Может, положить тебе, Яшенька, борщика будешь?..

— Наливай, мать, люблю я твой борщ, никто в мире борща такого не делает, наш, настоящий! Отец где, почему дома нет?!

— Да не пришел еще...

— Ишь, старый, все служит, никак не угомонится! Ты мне погуще, погуще, не жалей, всем хватит, я три дня не жравши!

Мать смолчала, а он забылся и врылся в борщ. Хлебал его, точно землекоп, налегая на ложку, будто на лопату. Вырыл ямищу в тарелке, сказал:

— Давай, мать, еще наливай, добавку мне!

Она ответила ему, с места не двинувшись:

— Нету добавки у меня, Яшенька, только отцу осталось. Уходи, а то щас вот придет, не волнуй, знаешь отца, не хочет он тебя видеть.

— Это что значит — не хочет, что я, не у себя дома, у чужих людей сижу, борщ чужой жру?! — вскричал он, столбенея.

— Ты к себе домой поезжай, вот и все, поел на дорожку и поезжай, а потом, глядишь, и простит отец, уладится.

— Так вот что, значит, на х.. меня посылаете, сына своего? — вскричал он, и тонюсенько заплакал, и стал вдруг бить по тарелке пустой, крошить, дробить ее кулаком. — Вот тебе! Вот тебе! Пошел! Пошел! Сдохни! Сдохни!

Брызгала кровь. Он держал руку, протягивал, показывал, как ребенок показывает свою ранку, и незлобно, тихо приговаривал:

— Что же я такого сделал, кого убил, что такой мне приговор, всего лишили?.. Я ж люблю их, отца ж люблю, всех люблю, что ж все-то меня убивают! Учиться она хотела, а я не пускал, а этот пустит, этот умнее, не родное дитё-то, ему ж не жалко... Труба у него есть, а у меня нет, он дудеть умеет, а я нет! За что, мама, за что?! Зачем ты родила меня, зачем вы с отцом не развелись, у меня б другая жизнь была, я б другой был, все бы другое было!

— Яшка, слышь, не начинай, хватит, докричался уж, а то и я знать забуду, кто ты есть! — ожесточилась мать. — Ты вон доразводился, что сидишь мычишь, пьяный. Что сделал, то сделал, понимать надо, и мычать нечего, не воротишь. Надо жить как есть, как вышло. Куда, куда ты за ней рвешься, ты что, сдурел, раз обжегся, так что, сгореть хочешь? Живи, никто тебе не мешает, только ведь живи, а сдохнуть хочешь, так и сдохнешь, ни отца тебе, знаешь, не надо, ни матери для этого дела, уйди с глаз, не мучай, я уж за тя намучилась.

Яков плакал теперь, совсем согласный с ней, даже и просветленный. Мать отыскала бинт, почистила и перевязала молчком разбухшую его руку. Он только спросил ее:

— Чего делать мне? Теперь засудят, я права не имел бросать службу...

— Ну что ж, перед законом все равны, а ты часть самовольно оставил, понимать надо, — рассуждала всерьез мать. — Вернешься, повинись, так, мол, и так, вину свою осознаешь, больше не повторится такое. Только отца не позорь, не заставляй, чтоб весь город знал, а то не уедешь, он сам тебя сдаст, а так добровольно, с повинной, простят, никто и не заметит, все ж не солдат, а офицер, не станут позорить тебя. Денег-то не пропил, есть на билет? Ну, гляди, дам на поезд, а пропьешь — не приходи, не открою...

Вид этого затравленного человека, который назывался его братом, рождал в Матюшине насмешливое неверие, как если бы он знал, что человек этот притворяется и ему вовсе не больно. Уже он простить не мог брату тех его брякнувших слов и окаменело ждал, когда не станет в доме, за столом этого ненужного слюнтявого человека.

И не стало Якова в том дремотном их безвременье. Через три года прибыл хорониться в Ельск с чужестранной неслышной войны цинковый гроб, только так и стало известно, что Яков был, жил, воевал. Других родных, чтоб хоронили, у него не заимелось — Людмила пропала без вести, о них с Аленушкой не слыхивали в семье с тех пор, как приезжал в Ельск и был проклят отцом Яков. Когда получили похоронную весточку, Григорий Ильич потрясенно подумал, что сын у него оказался герой. Но труп его пришел без наград, даже посмертной не дали, будто наказание отбывал или прятался, а не воевал. Хотя и писалось, что при исполнении, но не писалось, что героически. Убивалась горем мать, но сквозь цинк не чувствуя тела родимого, не зная, а потому так и не веря, что он лежит в той цинковой обертке,— казалось, что смолкнет, прекратит плакать и, одумавшись, отойдет в сторонку от гроба. Матюшин понимал, что случилось горе, что погиб его брат, но ничто не шевельнулось в его душе, отчего даже было ему и страшно — душа была сама по себе, гнетуще холодная в нем. Все делали кругом какие-то люди, точно Яков им-то и был родной: таскали гроб, рыли могилу, заискивали перед отцом. Матюшин стоял у гроба и чувствовал только усталость, что тяжело ему было да тоскливо стоять. Отец же хранил суровую строгость, стоя у гроба, и не мог подойти к нему ближе двух шагов, будто и теперь какая-то сила отталкивала их друг от друга. Гроб ему привезли, показали и должны были, после короткой этой остановки, тут же закопать, но Яшка, хоть и промчался мимо глаз их в могилу, но оставался-то уж навсегда, врзался со всей скоростью в могилку, из которой торчал теперь хвост стальной его обелиска. И надо было ухаживать за ней, как за домом своим, ходить к нему да и памятник ему ставить.

Его хоронили на советском кладбище, как называлось оно в народе, где хоронили партийных да тех, кто служит. Похороны должны потом были оплатить от военкомата, но отец не унизился, отказался брать. Да и не мог унижить святой той гордости, только и оставшейся: что сын его, офицер, погиб, исполняя долг. Он жаждал не столько себя уважать, сколько сына, то есть жаждал полюбить его теперь, не живого, но мертвого, который и остаться должен был с ним до конца дней.

С тех пор Григорий Ильич старался уединиться, чтоб никто ему не мешал. Если прежде Матюшин с ним виделся хоть за столом, то завелся вдруг в доме такой порядок, что отец столовался в одиночестве, будто есть ему мешали. Сначала мать накрывала ему, а потом, когда он уходил, за отцом словно доедали. Все у него стало отдельное, но ведь и Матюшин давал деньги в дом, а обходился отец с ним, как с иждивенцем. И, голоса не повышая, как бы ласково, сталкиваясь с ним, сам придумывал, напевал:

— Мой миленок сто пудов, испугался верблюдов, верблюды все кто куды, а миленок ни туды...

Матюшину чудилось, что не живет, а погрузился с каких-то пор под воду, где все мутно, зелено, как сквозь стекло бутылки. Тоска теперь могла месяцами душить его, всякое занятие или мысли делая тоскливыми, лишеными смысла. И он жил, ничего не делая, сам не зная, куда девается время. Он откуда-то помнил неизъяснимый жизненный свет, радость от жизни и ясность, но когда вспомнить старался, откуда ж этот свет был, то выплывала муть перед глазами, и знал-то он другое, и в той жизни их задраенной наглухо не было и щели, чтобы свет в ней взялся. За ним точно гнались, обкладывали со всех сторон, и он убегал изо всех сил — чудилось, что бежит; но ведь некуда ж было ему из четырех стен убежать, и ведь только и жил в этих стенах.

Этой же весной, когда исполнилось Матюшину двадцать три года, вызвали его вдруг повесткой в военкомат, на медкомиссию, будто призывали в армию. Стоя в очереди таких же ельских пареньков, сживаясь с ними, но и самый

крепкий, здоровый из них, Матюшин уж и подумать не мог, что его выкинут. А его оставили на глазах у всех, как заразного. Когда отбраковала не спеша из двух пожилых врачей комиссия, он только то и понимал, что признается окончательно негодным — что выкинули его. Из военкомата он вышел, но пойти домой не смог. Занесло его блужданиями на вокзал, и очутился он в том буфете, где прощались они когда-то с братом, узнал его, буфет этот, заказал, как тогда, бутылку водки, выпил сколько смог, опьянел. Потому что дороги домой пьяному ему и вовсе не было, пошагал он туда, откуда выкинули, — в военкомат. С порога разорался, что хочет служить, а пьяного-то не впускали — и ринулся громить, крушить, что было перед глазами. Все, кто дежурил, сбежались хватать его, дошло и до военкома. Сама собой обнаружилась его фамилия. Военком, услышав, кто он такой, распустил своих людей, обрадовался Матюшину и пригласил в кабинет. У военкома сорвался он снова на крик от страха, что на веки вечные тут останется, начали его упрасивать да утешать, все больше к нему проникаясь. Майор военком знал, чей он сын, как знал и судьбу брата его, и если бы он знал еще, каким решением угодит, а каким не угодит, то решил бы и не выходя из кабинета.

— И правда, вон какой отмахал, неужто такой богатырь и пригодиться не может? Направим его хоть в артиллерию, зачем там тонкий слух? — бодрился он. — Семья-то геройская, гвардейская, можно сказать, династия, а мы парню дорогу перешибаем. Я улажу, улажу... Сиди дома и жди повестки.

IV

Матюшин поверить не мог, что это случилось, что вырвался он на свободу. Думая, что отец ничего не узнает, он решил дома молчать, потому ведь, что бежать он задумывал из дома. Все те дни жил он с легкостью нетерпения, даже спешки, дожидаясь всякий день этой повестки, прячась от отца. Раз тот пришел со службы усталый, молчаливый и, не переодеваясь еще, только разувшись, сидел в креслице, вытянув ноги в носках, позвал его через мать, зная, что прячется от него в доме, сказал:

— Я слышал, ты там у военкома... Ну, и дурак.

У Матюшина оборвалось сердце — отец схватил его, настиг.

— Слышала, мать? — пропел отец тем ласковым, полным безразличия голосом. — Дождались, нашего-то в армию забирают, признали годным, повестка ему пришла! — И он вынул из кармана листочек, припечатав к столу: — Получай...

В оставшуюся неделю Матюшин уволился с опостылевшей работы, сидел дома, ждал. Мать себе места не находила, то всплакивала одиноко, то набрасывалась на него, чтоб обратно шагал в военкомат. Отец отказался ей помогать и днями отсутствовал, сам теперь прятался ото всех, не хотел никого видеть, но вечером последним вместо проводов имел место у них даже и душевный разговор. Он все рассказывал, что был сиротой и что все, чего достиг, дала ему советская власть, что не будь этой власти, то не выжил бы он и ничего бы в жизни не достиг. Расчувствовался и подарил тут же, с руки, на память свои золоченые часы, что и Якову он купил когда-то. Оставшись без них, он поскунел, а утром Матюшин часов не нашел у кровати и понял с тоской, что отец забрал их назад, пожалел.

Отец остался дома, чтобы его проводить. И не поехали они, а пошли, как уж отвык он пешком ходить. Он был одет в гражданское: серый, мягкотелый в плаще, сам себя не узнавал, робел. Отправка была такой ранней, что шли они одни по вымершему бледному городку. Мать исчисляла, что лежит в вещмешке его, что есть надо первым, и, путаясь от неловкости, сама себя веселила, но молчать не могла. Отец послушно шагал сбоку, при матери, с застывшей головой. Легко, уверенно глядел в нежно-сумеречную глубь улочек. Матюшин, которого мать бесплотно, все призрачней, отделяла от отца, чувствовал сквозь себя эту покорность, уверенность и светился душой. И шагал он все тяжелее, зная только, что нет пути назад. У военкомата толпились уже пьяные паренки, гро-

мычала музыка, все прощались. Отец прогуливался в сторонке, сам по себе, с кем-то даже заводя разговор из провожающих, и ждал. А мать обняла Матюшина, слегла головонькой на грудь да от себя не отпускала, будто слушала, так они и стояли. Потом она шепнула, спохватившись, радостная, что даст ему отец от них двадцать рублей, чтоб не забыть взять. Радушный, что баба, прапорщик выскочил с объятиями да пригласил начинать посадку в автобус. Все тут сбились кучками, точно сугробики выросли из людей, и все матери, не унимаясь, в тех сугробиках-то плачут. Отец, ничего не говоря, обнял его, дал себя неловко поцеловать, втиснул поспешно деньги, стыдясь двух бумажек, и облегченно отпрянул. Не зная, что говорить, боясь говорить, только все испортил, произнеся в последнюю минуту:

— Служи, сынок, служи, будь достоин такого брата!

Часть вторая

I

Места было с лихвой. Радушный с виду прапорщик скоро начал входить в права и подзывать к себе по одному человеку, сидя вразвалочку у захлопнутой дверки, точно здесь был его пост, куда он дальше не пропускал. И заводил душевный разговор, удостоверяться в личности, а потом давал совет не стесняться и высыпать напоказ, для проверки, содержимое котомок да узелков, шутейно обыскивал да охлопывал, не спряталась ли за пазухой или в штанах бутылка. Он проверял на водку, не пропускал ножей. Возился с каждой вещичкой, рылся в каждом свертке и похихатывал. Очень смеялся, найдя у кого-то чистые трусы. Похмыкивал, нюхая чей-то одеколон. Удивлялся жратве, разной колбасе, говоря, что не видел и не ел такую или вот такую. Просил по-свойски дать отпробовать. Начал угощаться, радуясь, что так много кругом жратвы, может, от избытка, и разыгрался в нем зверский, ни на что не похожий аппетит.

Вдоль дороги проплывали пустынные спящие просторы. Еды не хотелось, при виде жующего с удовольствием прапорщика воротило с души. Те, кто пьянствовал в ночь проводов, с полдороги беспробудно спали, счастливо не вида, куда их увозит автобус. День становился жаркий, летний. Солнце пронзало льдистые и темные еще поутру стекла, высвечивая в них какие-то скелеты от старых дождей, покрытые замшелым слоем копоти, будто кожей. Текло дремотно в духоте ненужное, уж и чужое теперь, а не свое, кровное, времечко. Жара не отлеплялась. К ночи автобус прибыл неизвестно куда. В темноте было видать разве что зыбкие слезливые огоньки. Сидели за забором распрепункта, разбитого на комнатухи, как общежитие: в каждой — койки с пустыми матрацами, посередине стол. На столе были рассыпаны белые костяшки домино, в которое никто здесь не играл. Даже не своровал.

Прапорщика из ельского военкомата пропал и след, верно, тронулся давно в обратную дорогу, домой. Все кругом холодаще новое, отчего и забывалось, не могло удержаться в памяти, точно соскальзывало по ледку. Вошел бодро дежурный офицер с красной повязкой на рукаве — таких, похожих на дружинников, расхаживало тут много, — сказал из одной комнаты перейти в другую. В коридорах же полно толпится ребят. Сидят вдоль стенок, стоят очередями у каких-то дверей, курят без продыху, галдят — и не поверишь, что ночь. Повели на медосмотр. Потом, среди ночи, на кормежку. Каши не тронули, но выпили жадно весь жиденский чай, точно и водили не есть, а пить. Старались уже не потеряться, жались в кучку. Ожидание измучивало, хотелось ехать, только б не ждть. Воздухом подышать не выпускали. А в башке все вертелось веретеном. Со всех сторон галдят, где ни встанет, заводятся плесенью разговорцы. Когда неожиданно раздавался клич: «Кто из Кузнецка, подъем! Строиться! На выход!» — все смолкали, толпа не двигалась, и каждый в ней тупо осозна-

вал, обмирая душой, кто он, кузнецкий иль нет. Наставала-то последняя минутка... И вот долго в тиши подымались от стен, схлынывали обреченно в никуда, провожаемые сотнями уже безразличных глаз.

В комнату их заявился офицер, но без красной повязки, пожилой и усталый, похожий в своей зеленой форме на лягушку, капитанского звания.

— Ельский призыв тут располагается? — огляделся он, будто сам не знал, что ему делать, угадывая.— Кривоносов Константин Владимирович, есть таковой?

Послышался откуда-то недовольный голос:

— Ну, я... Тут...

Капитан ободрился и заглянул опять в бумажку, в которой выискивались, точно блошки, неизвестные шустрые фамилии.

— Матюшин Василий Григорьевич присутствует?

— Я...

— Ребров Иван Петрович!

— Я...

Вздыхнул облегченно, сказал спокойным, даже равнодушным голосом:

— Теперь, которых я назвал, следуйте за мной с вещами. Остальные отдыхайте, товарищи, мне надо этих троих.

Матюшин распрямился, встал, слыша, как подымаются другие. Подымались, уходили, не веря, что это всерьез, как бы и не веря в силу пыльного лягушачьего мундирчика. Но теперь надо было встать и шагать за ним, за этим маленьким чужим человеком. Тотчас, не отдавая себе отчета, куда скажет. Все они теперь старались не отстать от явившегося из ниоткуда капитана. Но всего-то прошагали десяток метров. Отобранные неведомой волей, но и как по расписанию, оказались они в другой комнате, где находилось с вещами человек двадцать, чего-то напряженно ждущих. Вербовщик озабоченно мелькал, то исчезая и выныривая из коридора с уловом, с добытым призывничком, то навеваясь с пустыми руками и устраивая для успокоения нервов переключку. Тяжко дышалось бумажной волокитой, все стремительней надоедало ждать. Но распределенно, верно, близился конец — капитан, не иначе чтобы все теперь ему доверяли, назвался по имени-отчеству и сказал готовить к осмотру вещи.

Чуя долгожданное, в комнатке оживились разговорцы, куда их команду отправят. Слышал кто-то, что поездом, в какую-то Азию. Матюшин узнал, что находятся они в Пензе, и душу его залило теплом, веселей стало от одной ясности, где он. Хоть никогда в Пензе он не бывал.

Рассвет они встречали на вокзальчике. В полупустом зале ожидания их стерег остаток ночи приутихший капитан. Ждали поезда, но упрямо не говорил вербовщик, куда сопровождает, даже в каких войсках будут служить. Опаску имея, так как одному сделалось все же не по себе, но и не желая отступить, будто в шутку, по-свойски загадывал загадки: будет вам жарко в тех краях, но и холодно, служить при оружии, может, придется и стрелять.

Отпросившись по нужде, тайком выбирались наружу. Глядя на других, отпросился и Матюшин. Островок вокзального очернело-пустынного строения утопал в ночи. То с площади, то из-за угла, будто рыбины из воды, блеща красками, как чешуей, выплескивались лупоглазые машины. Лучились высоко вдали пензенские огоньки, шаря прожекторами по безбрежной ночной глади. Стоя у стены вокзала, затаившись под громадной пятой его тени, Матюшин упивался ночью, глядя в неизвестный холодный простор. Мысль, что никто в том просторе не знает о его существовании, заставляла тихонько млеть, не дышать — так сладостно ему было сознавать, что есть только он один. Больше не в силах стоять на месте, Матюшин бродил у вокзала, без продыху курил. Но устал шататься в темноте, озлился и пошагал в зал ожидания, будто и не к вещам своим, а за вещами.

В зале ожидания, не видя под утро порядка, встрепенулся капитан:

— Товарищи призывники, внимание! Ходить в туалет по несколько человек я запрещаю, только по очереди.

Пронесся недовольный, смешливый гул. Волнуясь, а может, боясь, что от него разбегутся, капитан позабыл про только что отданный приказ и сказал всем строиться. Была дремотная толкотня, с обрыдлой поименной переключкой — яканье на разные голоса уже сверлило башку. Когда кончилась эта самодетельность, то увел он строй из обжитого зальчика на пустынную платформу, где дышалось полной грудью и нечего было делать. Приказал сесть рядом вдоль стены, а сам принялся вышагивать часовым вдоль рядочка, ждать поезда. Сидеть ему здесь было не на чем, сделал он хуже только себе. На платформе было светло как днем, но еще не слышалось птичьего щебета. Кто-то сонливо покуривал, слушая эту мертвую утреннюю тишину. Кто-то дремал, привалившись спиной к стене, и, точно оторванные, раскидались на асфальте его ноги.

Из чистого белого утра слетелись на платформу, что воробьи, люди, все пришло в движение, ожило расписание поездов. Матюшин не помнил того, как прибыл их поезд и он очутился в вагоне, — верно, его несло со всеми, сдавленного телами. Впекся в память какой-то телесный огонь. Пробудился он от гогота в плацкарте, которую, услышал, все отчего-то называли кубриком. И тут же почувствовал, что взмок весь горячим потом. В густо набитой людьми плацкарте было как в топке. Обливаясь потом, полуголые, незваные дружки его гоготали. Тут выяснилось — это над ним, что спит как неживой. Все уж притерлись, пообвыклись, запросто друг с другом, вот и с ним запросто. Куда едут, осталось для всех неизвестным — капитан не выдавал тайны, молчал. Пункты следования являлись как с того света и умирали опять в не знающих таких названий головах. В кубрике их, оказалось, везли бутылку водки. За день крошечной этой езды ее успели распить, но Матюшина ждала его доля, так как все теперь стали делить на четверых, сколько попало в плацкарту. Один паренек держался смелей, горлопанил — и его Матюшин помнил, ельского, их вместе отделил тогда в распредпункте от своих и увел вербовщик. Вытянутый, сутулый, уже стриженный под ноль, с голодными диковатыми глазами, одетый совсем в рванину. И водку он провез, может, потому теперь и командовал, что не побоялся да провез, что это его бутылочку распивали.

Осиливая маревную слабость в голове, слыша про водку и понимая, что находится уже в пути, в поезде, Матюшин сполз с верхней полки. В кубрике смолкли. Ельский протянул бутылку, тыча в руку Матюшину. Тот перевел дух и молча взялся за водку, мучаясь, как жаждой, желанием забыться. Горячеватая от жары, пила она, точно кипяченая вода. Или почувдилось ему, что как вода, а сам же, забыться желая, ничего-то уже не чувствовал. В голове миглом помутнело, гремел в ушах гогот, и он заодно со всеми что-то выкрикивал, гоготал.

— Мужики, а может, тут вагон-ресторан есть, давай еще возьмем, угощаю! — вздумалось Матюшину, потому что все теперь стало ему маленьким, даже этот ихний вагон.

— Шутишь, землячок... — ухмыльнулся ельский. — Это с двух часов, по указу...

— Какой указ, давай пить! Достать нельзя, что ли, я плачу!

— Ну, плати, сколько не жалко?

— Да на, тут хватит! — Матюшин разлегся, чтоб удобней рыться в штанине, и швырнул на стол две смятых красненьких бумажки. — Бери на все!

Ельский ловко сцапал червончики. Упрятал к себе в карман. Исчез. Вернулся не скоро, так что успели о нем позабыть, с двумя бутылками гнилого вина. Встретили его будто героя, пошли бутылочки в круг. Кто угощал — про то забыли, даже отпить первому дали не Матюшину, а ельскому. Вина же таких денег не стоило, не могло стоить. Матюшин, которому уже было жаль денег, ведь отдал последнее, умолк и дожидался, когда получит сдачу. А ельский его никак не замечал. Развалился, отдыхая, будто потому и умаялся, что выложился в копеечку. Заводить теперь разговор о деньгах было не с руки — и Матюшин терпел. Чтобы хоть не пропадать вину, он отнял из круга бутылку, упился, никому после себя не оставил. Тут ельский, отдохнув, заговорил с ним:

— А ты не того Матюшина сын? Мой батя у твоего служит... Мой батя твоего уважает... А что, теперь и мы будем вместе служить. Ты просись со мной, а я с тобой. Ребров моя фамилия!

— Обознался. Нет у меня отца такого! — загоготал Матюшин, и ельский стих, не стало его слышно.

Но в то мгновенье и Матюшин испустил дух. Ему сделалось тоскливо, трудно даже сидеть. И пьянка, и жара, и людишки казались одним злом. Куда-то они бессильно тащились — зло тащилось. Мучимый этим злом, как ему чудилось, он полез наверх, где так и пустовала полка, и забылся, уткнувшись лбом в казавшийся ледяным простенок. Остыл. Уснул.

Растолкал его Ребров, но чуть не с преданностью, как если бы Матюшин сам ему приказывал. Мерцал тусклый свет. За оконцем уплывали ровные небесные сумерки. Поезд мчался прямо, бесшумно, как по воздуху. В кубрике доедали. Ребров разбудил его поесть.

Доедали все, что везли. Жрали и пили не продыхая. Столик был завален колбасами, курятиной, консервными банками, майскими хилыми овощами. Тут же вино, пиво, водка — и не прятались даже, не прятали бутылок. Верно, безумие это началось в пути еще днем — с той припасенной водки и того винища началось, а потом все запасы, все деньги пошли в расход. Голодный, спросонья не разбирая, что хватает, Матюшин накинудся на чужую еду, глотая кусками что-то теплое, нежное. А Ребров ему уже наливал, уговаривал:

— Выпей — за наш родной Ельск! Водочку, водочку, а вина этого кислого мы пить не будем. Пусть они пьют, слышали, пейте сами свою кислятину! — крикнул он кому-то, размахнулся бутылкой, спяну не удержавшись и повалившись на чьи-то тела.

Пьяный вагон гудел, веселя Матюшина. После жратвы, водки теперь захотелось курить, и Ребров взялся вести его в тамбур, прокладывая дорогу, хрясь:

— Расступись! Пришибу!

Команда их занимала полвагона, смешавшись с гражданскими, с нерусскими. Тут ехали те, которых Матюшин и не знал, как называть, с копчеными скуластыми лицами. Много было стариков и старух, опрятно одетых, что сидели, забившись в уголки, и пугливо, улыбочиво глядели на него снизу, задирая костистые круглые головки. Бегали и орали на своем языке, точно хрипели, ихние дети: бритоголовые, голые, а кто повзрослей — в трусах, похожие смуглостью на чертят. Никто детей не одергивал, не запрещал им орать и бегать, будто ехали они сами по себе, без родителей. Пройдя узкой стежкой, чудилось, по-над пропастью этого народца, зашли они в тупик вагона, где занял место и бдил у дверки в тамбур капитан.

Причесанный, точно зализанный, он сидел за пустым, без еды, столиком, читая натошак не первой свежести, читанную уж газетку, а с ним томилась, тихли подле него трое попутчиков-призывников. Тут, в его углу, царил укромный строгий порядок, какого не было и духа в кишащем людьми, распахнутом настежь да пьяном остальном вагоне: висели по местам вещи, сидели по местам люди. Верно, есть капитану было нечего, порастратился. Домашний, помолодевший, уже не задраенный в китель, а вылезший из него на свободу, в летней офицерской рубашке, но в дорожной неволе, выглядел он командировочным, точно и посторонним человеком.

— Товарищ капитан, Федор Михайлович, мы перекурить! Разрешите выйти в тамбур? Вот земляка встретил! — притворно радуясь, чуть не придавливая, ринулся грудью на капитана ельский, от которого и так, верно, несло за версту.

— Иди кури... — буркнул капитан и уткнулся сердито в газету, замечать не желая пьяных рож.

Ельский попятился, угодливо лыбясь, спиной. А за спиной, не видимая капитану, торчала заткнутая под ремень бутылка. Так он умыкнул ее в исчадь грохочущее плацкартного вагона — в тамбур. Разогнулся, выдернул и, блаженной, потрясая ею, загоготал в черноту:

— Купился, капитоха, купился! Налетай!

В тамбуре сгрудилось народу видимо-невидимо. Надрывали глотки, кричали, братались, радовались, что везут в теплые края служить, хоть в тамбуре было черно да одиноко, как в глубокой яме. Матюшин вслушивался, не видя в табачном дыму лиц. Но вдруг распознал ясно, что все тут боится. Потому и не могут молчать, что боится. Потому никто здесь не мог и заснуть или хоть прилечь на нары отдохнуть, а шатались, бились в бессонной жорной горячке, что боялись. Отняв у кого-то бутылку, Матюшин глотнул водки, но сколько ни вливал он потом в себя, опьянеть не мог — все куда-то испарялось. Даже и весело ему было не от выпитого, а потому что все кругом орало, не спали, жрали — с ума посходили от своего страха. Точно видишь толпу голых и смешно, что голые они да еще и скачут.

В тамбуре прилепился к Матюшину нерусский мужик, из этих, братались ведь и с ними. Он тоже что-то принялся вспоминать, спросив сигаретку. Был он безликий, гладкий, точно сострогали лицо. Матюшину виделся ярко только его рот, который вспыхивал багряно, когда затыгивался сигареткой. Маленький, детского росточка, но крепенький, широкогрудый. Одет небогато, но светло, в светлых рубаше и брюках. Но подумалось Матюшину, что ничего у него, кроме рубашки с брюками, нет в жизни. Что он так всю жизнь ездит на поездах да снашивает их — пропащий человек, без места в жизни.

— У меня два шрама на теле от армии осталось, зубы спереди выбили. Но я не держу на армию зла. Я считаю правильным, что меня били. Во-первых, я узбек, а узбеки многие тупые бывают, без кулака не понимают, поэтому и отправляют служить в стройбат. Во-вторых, если бы меня не били, то я бы ничего делать не стал. Кто меня бил, я тех уважаю, я сильных уважаю людей.

— Узбек! Узбек! — смеялся Матюшин, довольный, что теперь знает, и хлопал его по плечу. — Ну давай рассказывай мне! Я тебя слушаю! — Ему приятно было слушать, его как ветерком обдувало.

Мужика никак не смущало, что Матюшин им завладел. Ему этого и хотелось — быть нужным, за кого-то зацепиться. Говорил он ясной речью, что изливалась из него ручьями, откуда-то изнутри. Но лицо его, каменея скулами, молчало в хладнокровном напряжении, даже не человеческом, и оплывало воском встречных огней, блесков, что виделись в прозрачно-сумеречном, еще не зеркальном оконце тамбура, вскруженные по ту сторону мчащимся во весь дух поездом.

Матюшину делалось все теплей, как давно ни с кем из людей не было. Добрый с узбеком, от ощущения этого добра в себе и обрел он такой душевный покой, что даже в тамбуре вонючем теперь укачивало его, будто в колыбельке. Раздобрившись, потащил он узбека за собой в кубрик, где вывалил ему все свои припасы. Но узбек ничего не хотел есть, он только говорить, рассказывать про себя хотел — и кивал заунывно головой, все вспоминая да вспоминая, точно клевал что-то иль бился лбом о незримую стену.

Полночи шатались они из тамбура в вагон, из вагона в тамбур. Да и не одни, никто не спал. Ходили уж толпами, потому что многие пропили все деньги и облепливали тех, кто мог угощать, — и не знали, что станут есть, пить завтра. Только курево грошовое не перевелось. Кругом витал голодно табачный дым, будто сам вагон тихонько тлел, искуривался. Ночь выходила неизменно длиннее дня, какой-то кромешной. От ее громады и все казалось Матюшину громадным — вскрытые зазубренные консервные банки, что разинутые пасти; мелькнувший как через лупу человеческий огромный глаз; махина-тамбур; огромные двуногие люди — и с гулом срывались, неслись, падали, будто глыбы, все произносимые слова.

Он давно устал глядеть на узбека, различать его и слышал только его голос, то далекий, то близкий. Какая-то ночь, но другая, чужая. Загашенная темная казарма, зима. Надо стирать гимнастерку, надо быть в чистом. Выстиранную тайком, за полночь, узбек раскладывает сыроватую гимнастерку под простыней и спит на ней, сушит ее телом, уютжит — он говорит, что зимой надо сушить только телом. Подъем. Со всех сторон вскакивают, сыплются с коек го-

рохом спящие люди, одеваются на скаку. Гимнастерка еще сырая, но гладенькая. Главное, что чистая и гладенькая, а что сырая — никто не видит. Их гонят строиться на мороз. Мороз страшный, лютый. Но узбек отчего-то рад. Матюшин его уверенный, спокойный голос слышит — он говорит, что скоро гимнастерка вымерзнет под шинелью, и тогда перестанешь чувствовать ее, и даже не заметишь, что за день она будет уже сухая. Так же сушат белье на морозе, вспомнилось Матюшину, хозяйки многие — постельное, рубахи, панталоны, ведь сушат, развешивают на веревке, но неужто оно и вправду высушивается, становясь твердым, как доска, и его потом не надо больше сушить? Значит, мороз действовать может, как солнце, ту же силу иметь, значит, жара с холодом — что ж, одно и то же? Узбек не ведает того — молчит, не знает, но гимнастерка-то на нем и вправду сухая. А подшиву он придумал сделать из белой клеенки, и никто не заметил. На ночь он только и протирал ее тряпочкой, и подшива была как новая, где-то отыскал он кусочек такой непрозрачной белой клеенки, как бумага. Он говорит, в сорокаградусный мороз им запрещали ушанкой пользоваться, вроде не такой сильный мороз, чтоб шапку развязывать. Это узбек говорит — уши отморозишь, будут гноиться, прилипать. Ох, холодно, ох, холодно! Самое страшное, говорит, что делает зима. Он из шинелки вырезал, где незаметно, пару крылышек и подшил их изнутри в шапку, чтоб можно было их отгибать, когда надо, и греть хоть кончики ушей, и никто не заметил. Еще говорит, что когда в кухонный наряд ходил, то от голода прямо из кипящего котла рукой хватал жратву. Зазевается повар — так он в котел, хватается, быстро сует в рот, глотает, прячет в живот. Поджидает. Хватает. Сует. Глотает. Главное — не бояться глотать кипящий кусок, потому что если срыгнешь его или промедлишь, то повар обернется, заметит, и тогда они, повара, накинутся и половниками побьют насмерть.

Так он жить хотел, крылышки вырезал, клееночкой подшивался, это он так жил, твердит и твердит себе Матюшин, не в силах понять: жить, чтоб никто не заметил, что живешь?! Но узбек не молчит: если даже кружку воды попросят принести, отказывайся, по-доброму ничего людям не делай. Который упал, того не поднимай, пусть валяется, тебя зато меньше уже трогать будут. Думай, как не упасть, а не о том, как влезть, выше других быть. Если ешь хлеб, то считай так, что говно ешь, а если говно ешь, то считай, что это хлеб. Работу исполняй добровольно, какую скажут, терпи, но не допускай, чтоб ту же работу тебя исполнять заставили, — слышит все зыбче Матюшин, — не имей много вещей, трать все деньги, только попадут в руки, все раздавай-отдавай, чтоб никто у тебя силой ничего отнять не мог, не мог заставить отдать. Уважай сильных, признавай, давай себя бить, а не будешь уважать, жить не захочешь или убьют. Главное — не бояться смерти никогда, боли не бояться, но хотеть жить. Надо жить, думать только о жизни и днем, и ночью.

Хоть чудилось Матюшину, что постиг он целую жизнь, слушая узбека, а не про какие-то крылышки — да и те всплывали картинкой в его мозгу как-то эдак, вширь, будто птичьи крылья, но все это так и осталось ему чужим, ненужным. Он жалел узбека, только и мог, что промолчать, зная преспокойно, что у него-то все будет иначе, как ему захочется, а по-другому и не может быть, — не постигал Матюшин, кого да чего должен он бояться, прятаться, потому и чувствовал блаженный покой.

Узбек исчез, точно умер, и не хранил Матюшин о нем даже минуты памяти. И тамбур, и кубрики опустели, много было людей, которые уже спали. Так что стоптанная дорожка, которая вела сквозь вагон, распахнулась и вытянулась далеко реченькой, с берегами тех, кто спал по обе стороны, и покрылась тонким ледком. То есть ходили теперь по ней, как по тонкому ледку. Казалось, люди долго будут спать и не просыпаться — долго не растает ледок. Кто не спал, чего-то ждали и ждали, хоть давно уж нечего стало ждать, не было ведь и душевных сил. В ту ночь поезд проходил по множеству мостов, катился по-над реками. Чуть не каждый час являлся этот воздушный гул, щемящий сердце, будто б не ехали, а улетали высоко в небо.

Следующие сутки пути прошли по странной земле — по степям. Люди в вагоне после разудалой пьяной ночи глядели потерянно в оконца и не узнавали этой земли. Кусты сохлые, серые да холмы из глины, холмы из глины да серые кусты. Капитан молчал, куда придут да когда, будто важной не выдавал тайны. Загадки загадывал:

— Когда надо, тогда и приедем... Куда надо, туда приедем...

И сила одного этого человека становилась все крепче — так страшило его молчание. Ночь прошла тихо, но в третью ночь пути устроилось снова пьянство. Речек за сутки не проехали ни одной. Тем, кто берег еще деньги, стало страшно их беречь, да и сводила с ума неведомая безжалостная жара, от которой кому-то в вагоне уж делалось плохо. Падали люди как замертво ни с того ни с сего. На них лили водичку, они оживали. Говорили, что надо больше пить воды, и вот бросились пить, но не воду уж, а водку, бормотуху, и не до веселья было, а только чтобы забыться. В ту ночь дошло до драк. Побили спянку стекла в вагоне — чтоб дышать. Побоище началось, но капитан не встал — крепился, молчал. Скопившись курить в тамбур, трое или четверо оставшихся на ногах, утеравших сон удивлялись доброте капитана, отчего ж терпит он, ничего не замечает, только раз и ходил к проводнику, который пойло продавал, да и того не смог запугать. Постелился пораньше — лежит, спит. А доложит все по приезду в часть, ведь за пьянку теперь могут и осудить, но смогут ли всех судить?

И тогда Матюшин вдруг понял с облегчением: вербовщику было спокойно и отсыпается он, потому что место назначения близко, — он проснется, и они придут, ехать им осталось до того места считанные часы! А уже светало, разжигался в оконце тамбура какой-то далекий, как через подзорную трубу, свет. Тогда, поняв, что времечка не осталось, Матюшин потащился в свой кубрик и залег покойно на полку, хоть и не желая спать. Но забылся всего-то на миг — и очнулся уже, когда в проходе и в кубрике толкались с вещами, торопились, а поезд замедлял и замедлял ход. Рвались крики по вагону, пугали друг дружку: — Ташкент! Ташкент!

Было прохладно, даже холодно, солнце еще не вставало, и в млечном парном воздухе трепетал нежный, будто пенка, ветерок. Свой мешок, пустой, без жратвы, Матюшин бросил в вагоне, хоть оставались в нем бритва, зубная щетка, мыло и многое такое, что должно было жалко бросать да и бездумно. То, что видел он кругом себя, сойдя с поезда, перенесясь на многие сотни километров, не казалось даже чужим и разве только не обволакивало со всех сторон, а как-то отстояло, точно намагниченное. Одинокие деревья с пыльной, серой, будто слоновьей кожей. Стоящий в отдалении весь белый, как марлевый, вокзал. Люди, узбеки, что проплывают сторонкой. А спустя всего час их везли в крытом армейском грузовике по ровной и чистой, как дыхание, жаре.

II

Выгрузились они где-то на задворках — в углу дощатых, беленых заборов, поверх которых, блистая, вздувалась колючая проволока, а с боков напирали приземистые, будто вбивали их в сохлую землю удар за ударом, без окон строения, похожие на склады. Пятачок этот выжигался солнцем. Они стояли толпой подле грузовика. Замелькали свежие офицеры, которые расспрашивали глядящего на них уважительно капитана, ожидавшегося, верно, когда его отпустят. Скоро на пятачок согнали откуда-то с десяток сержантов, и те стали охранять, а сквозь жиденькую их охрану, только отлучились офицеры, потекла грязными ручейками солдатня. Панцирные, загорелые до черноты лица глядели нагло, но приглядывались они не к русским, а к вещам на них и уж знали, чего хотели. Офицеров, чтобы навести порядок, не хватало. Будто подневольные, не очень они старались и пропадали потихоньку да поодиночке, прячась от палящего солнца в тени за бараками, где стояли навряд часовых пряменькие зеленые деревца и начинался плац, выжженный до песчаной белизны, точно пустыня. Там, за бараками, сбегавшаяся отовсюду на плац орала на знойных островках асфальта полуголая диковатая толпа, которой офицеры дозво-

ляли глазеть на новоприбывших. С плаца было видно то, от чего закрылись по ту сторону бараков офицеры: как запугали охрану и орудовали на задворках, не упуская минутки, чтоб поживиться, и накидывались все смелей на одетых побогаче, пугая в отмахку кулаком и урывая кто что мог. А из толпы на плацу доносился радостный вопль:

— Мавры, вешайтесь!

Стали отдавать с себя вещи, кидать пачками сигареты, но с них требовали еще, вовсе уж без шиканья, как свое. Один, которому досталась рубаха, закинул ее на крышу барака и принялся опять что-то выманывать, отнимать. Из щелей забора дыхнули чьи-то рожи, кишела уж и там солдатня. Страха не ведая, пролезли на волю. А может, давно было обговорено, как офицеров обдурить. Сержанты из оцепления натужно пыхтели — теперь их подгоняли зверскими криками с воли, отыскались хозяева и у них. Поверх забора полетели рубахи, майки, ботинки, сигареты, в которые вгрызались уж неведомо кто, заколоченные от земли до неба досками, и остервенело, визгливо дрались, слышен только был в том визге коверканый мат.

Потом явились русские — искали земляков. Белозубые, пахнущие слащаво одеколоном. Их офицеры пропустили, верно, зная каждого в лицо, по знакомству. От них веяло покоем и уверенностью в себе. Подсаживаясь, выспрашивая грубовато, откуда родом, заводили они разговорцы, угощались сигаретами, хоть земляков и не отыскивалось. Сказали, что служат в каком-то спецвзводе — один русский взвод в полку, больше русских нету, только в лагерных ротах служат еще с прошлых призывов украинцы, пораскидало их. Что полк какой-то конвойный. Жизни в полку никому не будет. И если в спецвзвод кто попадет служить, то пускай веревку намыливает, так и говорили они, ухмыляясь, в первый день не будем бить, обычай у нас такой, а потом вешайтесь, конец вам, братишки. Очень разумно стали они втолковывать, что деньги лучше отдать теперь им и что они-то их могут потратить с умом, что у них-то никто отнять не посмеет. И кто-то, раскисая, отдавал им деньги, а они себя хвалили, что никого не стали бить, хоть и могли, будто б совесть имеют.

Голова ныла от пьяного кружения, и мучила жажда, такая, какой никогда Матюшин еще в жизни не испытывал, так что мерещилось журчание воды. Он только забылся, как откуда-то сбоку прокрался ему под плечо какой-то оборвыш — весь загаженный с головы до пят, угольный, так что и круглые белые глаза его с красными разводами дышали жаром, будто уголья.

— Хлопец, дай кроссовочки. Дай, тоби ж не сгодяться бильше, усэ у вас поотымлють. Слухай, ну дай, ну хлопец. У мене ничего нема, а в кочегарке уто по углю хожу, ну хлопец.

— Да не ной ты... — выдавил из себя Матюшин и сковырнул выдубленную пылищей, превратившуюся в глиняную кроссовку, а за ней, чувствуя вдруг облегчение, избавился от другой и закрыл глаза, чтоб ничего не видеть. В нечувствующую душу входила легкость. Слышно было, что шепчутся все о бане, но не мыться хотят, а пить. И мерещится, будто заперто в бараке море студеное, но откроют барак и они в нем-то захлебнутся. И вроде только утром ветерочком обдувало, а теперь полдень, стоит в небе солнечный столб да цепями к себе приковал. Вот оно, вспыхнула и угасла мысль, все уж думают об одном, жаждут одного — но полился откуда-то шепоток, дыхнуло угольком:

— Хлопец, хлопец...

Матюшин открыл глаза. Будто чертенок, сотворился на глазах его из стены банного барака уничтожившийся уж в памяти оборвыш. Изогнувшись костлявой спиной, с угольками сверкающими позвонков, он вытащил из-под живота так пугающе, будто печенку свою, тусклую, трепещущую от влаги то ли кружку, то ли жестянку, весь теплясь радостью:

— Визьмы, попэй водыци, у мэнэ богато, у мэнэ е в кочегарке цилый кран. Ну, хлопец, визьмы, тожь нэ заразная!

Матюшин долго глядел, будто не верил, но глотку сдавило от блеска чистейшей воды, и он дрожаще потянулся к жестянке, глотнул из нее, потом еще сделал глоток — и будто ожил, чувствуя уж твердый камешек холода, сжатый

в руке, тяжелящий и пронзающий острой жгучей силой. И тут протянулись к нему палками руки:

— Дай попить! Оставь водички!

Глотку сдавило, но глухо, будто простыла. Он оглянулся — оборвыш вмиг исчез, спугнули его. Глядя в жестянку — чудилось ему, полную еще до краев, — Матюшин заставил себя сделать это одно движение, отдать ее в чьи-то руки. Жестяночка шумно, радостно переходила от человека к человеку и затерялась.

— Вода, вода! — слышалось все глуше Матюшину. — Вода! Вода...

Звоня связкой ключей, будто осеняя ею серый каменистый двор, пришла хозяйкой животастая, крепко сбитая женщина в белом нечистом халате — и принялась орать. Успокоилась она, когда разогнала всех мародеров. Ей нравилось показать свою строгость и приезжим. Махая у лица связкой ключей, отмахиваясь со звоном от мух, она покрикивала у отпертого барака:

— Будет вам банька! Вот попарю вас, блядских детей!

Всех новоприбывших столпили, собрали, а потом сказали заходить в этот барак. Из предбанника кисло дыхнуло квасом. Будто спускаешься в погреб. Холод мелко, ощупываясь, пробирал по коже. Было пусто и гулко. Вдоль стен тянулись низкие лавки, насест из досок. Женщина, не иначе завхоз или завскладом, а может, банщица, чуть отдышалась у порога и нагрянула, заполняя все собой:

— Все с себя сымайте, скидывайте! Все до голых мест скидывайте. Так что без трусов! Оно вам не будет нужно, что нужно, то выдадут.

Раздевались, сидя в тесноте, а иные стоя, потому что на всех не хватило лавок. Толкались, терлись друг о дружку. Одежду не складывали, потерянно сбрасывая прямо под ноги, и кто стоял — уж голые, топтались на ней, подле сумок и мешков. В предбаннике стало от наготы будто и душно. Женщина глядела бодрыми хмурыми глазами, тяжело дышала и вскрикивала, когда замечала, что кто-то прячется от ее глаз:

— Ишь, гоголь! Да я столько мужиков видела... — И уж рыскала глазами по полу, где стелились цветасто вещи.

Что-то углядела, шагнула, обернулась задом, нагнулась, так что вздулась огромной пуховой подушкой, а из-под задратого халата вывалились пышные, округлые, что груди, телеса. Но вспорхнула пушинкой и обратно приняла форму, только послышалось надсадное, даже и тихое:

— Татьяна, не трожь.

Окликнул ее худой, невысокого роста человек, неприметный, в казавшейся изношенной офицерской рубашке, что остановился на пороге.

— Да уж, Сергей Львович, вы сразу... Да ничего я там не взяла... — заохала по-старушечьи женщина.

Офицер посторонился, ничего не говоря, встал сбоку у стены. Показались солдаты, но в белых исподних рубахах, точно и не солдаты, а повара, увешанные бубличными связками свеженьких сапог, тащущие на животах охапки портянок да трусов, связки новеньких ремней, тряпичные ворохи. Вносили все впопыхах — и складывали кучами, куда приказывал офицер, то и дело будто звывший жалобно:

— Коновалов, а подшивочный матерьял?

— Да есть на всех... — отвечало ему из толкотни гудение.

— Коновалов, а табуреты где?

— Твою мать, Измаилов, урою, где табуретки?! — взывало то же мужиковатое гудение.

Солдаты рылись молчаливо в своих кучах, занявшись тут же и брошенной гражданской одеждой, сгребая все для начала прямо из-под голых людишек.

— Коновалов, давай начинай...

Откуда-то появился табурет, и, раздевшись до трусов, чубастый безликий солдат посадил на него первого человека. Встал ему за спину, схватил пятерней шею, как в клещи, а другой рукой заработал, сжимая и разжимая, машинкой. Тот сидел на табуретке, голый, точно труп, волосы сыпались из-под лязгающей машинки на его тело. После стрижки, непохожий сам на себя, обреченный, он

стоял у всех на виду, потому что от него пугливо отступились, и спросил, надо ли брать свое мыло с мочалкой. Но этот солдат, Коновалов, взял его молча за руку, подвел к дверке, распахнул ее, оттуда дыхнуло на них гулом да паром — и пнул дураком, всем на смех, в парилку.

Солдаты хозяйственной obsługi да и сам офицер, который долго выглядел напряженным вдобавок к болезненной худобе, как будто ослабились и занялись каждый своим делом. Солдаты неторопливо разбирались с амуницией. Женщина вертелась рядышком, подле тех вещей, которые отпихивались тайком, как годные для носки. Офицер не примечал этого. Солдаты ее прижимали, не давая ходу, когда тихонько подминала собой вещицу, но толкалась и она локтями, покуда не выдерживала и запросто у них из-под носа не хватала. Те обозлились, стали орать:

— Куда рубаху потащила? Ты, сука жадная, возьмешь, потом по кругу выдерем!

— Ах вы, развыехивались! — отлипала она скорей от вещицы и громко возмущалась: — И не стыдно, я ж вам в матери гожусь? Ну, подобрала рванинку, ну, думала, ненужная вам, вот придете ко мне, мыльца-то попросите!

— Подавись своим мылом, у нас у самих полно! Вона ненужная валяется, а в эту кучу не суйся.

Но, выгадывая случай, выхватывала она в банной суматохе из этой кучи и прятала за пазуху. И уж скоро у нее вырос под халатом ком. И пройдясь вразвалочку подальше от солдат, подседа она украдкой к офицеру, вздохнула, положила руки на взбухший живот, и лицо ее вытянулось от покоя.

— Нахапала? — устало сказал офицер.

— Где там, разве самую малость, думаю, может, халат пошью из тряпочек...

— Заму по тылу скажу, чтоб увольнял тебя, надоела ты мне воровать.

— Увольте, Сергей Львович, поделом мне, обворовала я советску армию, сама без подштаников хожу... Вы вон здоровье надорвали, я извиняюсь, а увольт и вас без штанов...

Предбанник пустел. Достригали. Коновалов работал даже не с усердием, а с любовью. Так любил он машинку, будто свою дочку, называл засерей, когда выдувал и утирал, справившись с еще одной головой. Из парилки доносились шум воды, гул голосов, которые глушило неожиданно безмолвие. Кто-то уже выскочил из парилки, мокрый с головы до пят и красный, будто только родился на свет, и вставал в очередь к солдатам, получая сверху донизу всю амуницию.

Матюшин давно ждал своей очереди. Его настигла теперь и била похмельная голодная дрожь, но дрожал он так, будто ожидал суда за все, что было в беспамятстве содеяно. Все у него было отнято, и чудилось теперь, что и дома нет, что и место родное отняли — и только могут убить. И он с дрожью той голодной думал: за что же меня? Ведь нужен я кому-то, ведь родился жить, как и они, пускай им станет дорога моя жизнь, пускай пожалеют...

И вот все будто растворилось, а он сидел в углу, голый, но будто и обрубок, без рук, без ног. Табурет пустовал. Солдат Коновалов обернулся с машинкой в руках. Он ждал, кто сядет, а потом обернулся, не дождавшись.

— Чего насиживаешь, как на жердочке? — Но крик его не заставил Матюшина подняться.

— Шагай сюда, чудила... — удивляясь, простодушно уж позвал Коновалов. Но вдруг прозвучало, будто гулкий всхлип мокроты:

— Не пойду.

Стало тихо, и все бывшие в предбаннике посерьезнели. Один Коновалов сокрушенно опустил руки.

— Да как же это?.. Вот чудо... Стричься садись, я сказал!

— Не буду.

И вот поворотился офицер, лицо его было равнодушно, глаза полнились тоской и скукой.

— Да он пьяный... — пригляделся нехотя. — Рожа пьяная...

Но вдруг офицера затрясло от хохота, будто пронзила своя же мысль: что человек мог столько времени оставаться пьяным, не протрезветь, а может, и не понимал до сих пор происходящего. Потом и все солдаты, и женщина, и Коновалов засмеялись, выпучивая до слез глаза, не в силах унять себя. И никто не заметил того, что офицер уж не уморялся со смеху, а задыхаясь, кашлял, корчился, харкал в кулак. Матюшин только на него и глядел, им-то затравленный, и все это происходило на его глазах, когда офицер сломился, давась уж не смехом, а кашлем, сжимаясь в трясущийся комок,— и опрокинулся ничком с табуретки. Тогда спохватилась первой женщина, бросившись его подымать. Офицера подхватили, усадили на место, и он беззвучно дергался, затихая, скрученный солдатскими руками. Ему еще не хватало воздуха, разинутый рот чернел дырой, алые губы обвисли, а он что-то силился проговорить. Губы напряглись и обмякли, будто надорвались, слова оказались тяжелы.

— Вот так...— смог он проговорить, силясь обрести прежний серьезный облик.— Вот так... Кху-кху... Что надо, чего ждете? Коновалов... Кху-кху...— И кивнул, будто боднул головой.— Давай этого, хватит...

Матюшин еще не очнулся от увиденного. Но, когда ринулся раздосадованный Коновалов и схватил его могуче за волосы, тогда он остро себя ощутил, то есть боль свою: голый, полз на карачках, уползая от боли и видя все до рези ясно, даже выщербины в черном глиняном полу, слыша над собой пыхтение тяжелое Коновалова, точно сам и пыхтел. Тот протащил Матюшина по предбаннику, может, не соображая от ярости, что с ним сделать. Но Матюшину вдруг стало все равно, куда его уволочут, что с ним захотят сделать. Он только изнывал, чтобы все скорее свершилось.

Боясь, что нестриженный освободится, вырвется, Коновалов придавил его голову к табуретке, будто умывал силком в тазу. Но придавил коленом, так что и самому сделалось неудобно лязгать по ней машинкой, и кулак его стригучий шерстенел, обрастал комом сбритых волос. Офицер прятал глаза, успокаивался. Солдаты злее выдавали белье, а отмывшийся народец, которого все прибывало, становился в очередь и молчал. Женщина забылась от расплывшейся по душе истоме и глядела участливо на Коновалова, любуясь его красотой: как он замер, склонившись над работой, и все тело его изогнулось, отчего явило как бы потаенную нутряную силу — покрылось мышцами, будто ознобом, и напряглось, сделавшись твердокаменным. Матюшин мерно хрипел, добывая воздух, так и не поднимаясь с колен, вдавленный щекой в табуретку, и шарил невидящим, пустым взглядом по толпе полуодетых, полуголых людей, которых то ли восхищал, то ли пугал.

— Ой, уморюсь!.. Ой, ну будто с кабанчика щетину сдирает!.. Да ты кожу с него не состриги, Петенька! — веселилась женщина, и лицо ее от веселого этого волнения делалось светлым и благостным.

— Здоровый кабан! — кряхтел ей в ответ, точно жалуясь, Коновалов.

И, слыша это, Матюшин испытывал радость, даже гордость за себя и про все забывал, не чувствуя, что стоит на коленях, и не чувствуя, как выдергивает машинка волосы. Ему чудилось, что и он из камня, как и каменная, твердая сила рук Коновалова. Голове стало холодно, но и не больно, точно боль заморозило. Коновалов остриг, но не выпустил. Кромешный удар, от которого вмиг он издох, сшиб его тушу под сапоги набросившимся, того и ждавшим солдатам. Посыпались градом тупые, глушащие удары сапог. Матюшин давился, ничего не постигал и звал, упрашивал:

— Ребята, по ушам не бейте... Ребята...

— Прекратить! Коновалов! — раздалось вдруг, и удары смолкли.

Солдаты, которые били, отошли, а Коновалов, ничего не боясь, но и послушный подавшему голос офицеру, помог Матюшину подняться и сопроводил в баню, приговаривая чуть слышно:

— Ну, кабан, ну здоровый, я б ты зарезал такого, те хрен-то не отбили, а то все про уши? Отмойкай, братишка... Тащись, сука...

Ошпаренный солдатским битьем, будто кипятком, Матюшин теперь как с ледяной горки скатился в банный барак, где оглоушило его падение воды из

кранов. Обжившись в этой теплой банной утробе, кто-то расхаживал с шайкой, переходя от крана к крану, и выплескивал на себя воду. Когда вода глыбой опрокидывалась из поднятой над головой шайки, он весь сжимался, а когда схлынывала, как бы освежившая тело, то не мог надышаться — и выдыхал так глубоко, будто стонал, а потом млея от удовольствия и оглаживался руками. Повсюду зияли ничейные пустые шайки. Текли бесцветные голодные и горячие ручьи. И от гула этих потоков несметных воды, точно рыба, из жаберков, затрепетала его душа. Матюшин растворился в том гуле, тычась ртом в студеную воду, разлетавшуюся в брызги, хлеставшую из-под крана, так что онемели губы. И напиться не мог. Пить уж хотелось из жадности. Он додумался глотать воду прямо из шайки, которую залил до краев, прильнув к покойному гладкому озерцу, едва удерживая эдакую тяжесть в руках. Напившись, но не жажду утолив, а обретя покой и волю, Матюшин бродил с шайкой по зыбкому от лужиц и ручьев бараку. Отыскал дерюжку, брошенное мыльце. Отмылся. Облился из шайки, закалившись холодом до синевы. Устал.

После парилки в предбаннике дышалось так стремительно легко, что захватывало дух. Тут царило копошащееся бодрое веселье. Смеялись друг над дружкой, хоть не узнавали, поглаживая с непривычки лысые свои черепа. Радостно влезали в просторные казенные, а теперь свои портки с гимнастерками, чувствуя новую в них свободу. А выдавали все великое, не по росту, кроме сапог, только в сапогах соблюдался размер. Половина ходила с обвисшими мешками на задницах, похожие на обосранцев, и жаловались. Солдаты из хозобслуги гоготали, глядя, какой творится парад. Матюшин в давке получил все самое большое, а еще выдали вещмешок. Он протиснулся, отыскал себе место на лавке и оделся по порядку. Только портянки мотать не был обучен — только они казались ненужными. И он комкал эти две тряпки в руках, застегнутый уже на все пуговицы да босой, не зная, куда их девать.

Такие же незнающие, как и он, отсиживались без сапог по лавкам, но начинали подавать голос. Офицеры крикнули застоявшихся на дворе сержантов, чтобы поработали. Учить им отчего-то было в охотку. Одни подсаживались к понравившимся им парням на лавку, другие вставали над кучкой босых людишек и командовали свысока, что надо делать. Матюшина тоже заметили: подсел, вынырнул из банного морока в выжженной до белизны гимнастерке, с заткнутым за ремень вылинявшим красным флажком. Он улыбался, глядя на Матюшина, и весело мудрил — каким углом портянку раскладывать, куда затыкать концы. Когда ж Матюшин обучился, добрый этот исчез так же незаметно, как и подсунулся, только оставил после себя, что пустое место, это насущное, ничего не стоящее знание.

Во дворе, где отдыхали от пара, перекуривали, офицеры и сержанты смешались с ними уже как с солдатами, рассказывая, что будет с ними дальше — пойдут маршем в Дорбаз, военно-полевой лагерь, до которого из города полдня хода, а воротятся уж через месяц. Офицеры тоскливо жаловались, что за толпы заволокли полк. Один сообщил доверительно, что есть приказ менять тут сложившееся положение и потому второй год кряду призывают служить русских да хохлов, а то командирам не на кого стало опереться, хоть белугой вой. Все слушали офицера, будто понимая, что доверяют им тайну. Чувство это горделивое, глуповатое даже сроднило всех на миг, чего никто не испытал дорогой, где только орали, не разбирая лиц друг друга, да пили. Настроение было праздничное, веселое. На всех красные погоны. А у них и того наряднее — бархатистые, еще новенькие, с желтыми крендельками букв, похожие на испеченные к Первомаю флажки. Сержанты, которые паслись подле них, оказались сами навроде чужаков в полку и тоже не знали о дальнейшей своей судьбе. Они только прибыли из какого-то Каракимира, из учебки далеко в горах, на другом краю света, где вымучивали из них сержантов. Держались они крутенько, храбрились, но было понятно, что в полку им пришлось туго. Офицеры доверительно выспрашивали, есть ли жалобы, хочет ли кто по нужде. Потом прибежал вдруг офицерик, объявил, что он комсорг полка, собрал, запыхиваясь, билеты у комсомольцев, убежал. Откуда-то принесли мешок с хлебом, горячие

пахучие буханки пошли по рукам. Отламывали и живо поедали, так что мешок растаял будто под солнцем.

Пустынный ташкентский полк прошли уже свеженькой зеленой армейской колонной, старались быть похожими на солдат. Охраняя колонну, с боков шагали сержанты с флажками, а в голове колонны бодро вышагивали два офицера и болтали, дружки. На пропускном пункте, открывая уходящей колонне, орал напоследок и корчил грозные рожи опущенного вида часовой, чумазый и драный. Горбатые крыши казарм и заборы становились все дальше. Колонна раздавливала тишину грохотом сапог. Шагали они по тенистой, казалось, без конца и начала улочке. Дома из кирпича скоро оборвались глинобитными дачками — пыльный, рыхлый пригород взошел будто б на дрожжах. Тут бегала, игралась в придорожной пыли вольная, чудилось, бездомная ребятня. Из болотных темных дворов с низкими заборчиками, распахнутых настежь, глядели похожие на цыганок женщины. Выходили белобородые старики, а за спинами их взрывали жаркий воздух сады, которыми щедро были убраны покойные и ветхие глиняные дома, и клали на плечи стариков свои легкие пахучие ветви. Скоро старый город скрылся в мареве, открылась на всем просторе сереющая травами голубизна степей — и по той степи, развалившись уже по человеку, они шагали куда-то к горизонту, куда уходила и череда огромных железных разлапистых вышек, тянущих по небу высоковольтные черные нити.

Фляги, о которых теперь узнавали, выдать должны были в Дорбазе, потому шли без воды и к вечеру приползли в лагерь по шею грязные, задыхавшиеся от жажды. Дорбазом были три долговязых свежевывкрашенных фанерных барака. Засохшая в степи, перекатистая ленивая лужа асфальта перед бараками — лагерный плац. Было пусто, мертво, но оказалось, что лагерь ужинает. Их же выстроили на плацу, куда вышли к своим отлучившимся на день дружкам и отужинавшие сержанты. Они были в лагере, верно, даже важней офицеров, которые сразу исчезли. Старший из сержантов, которого все называли в глаза Молдаваном, ходивший в шлепанцах, в трусах и в армейской панаме, как по пляжу, устроил обыск вещмешкам.

Сержанты стояли кругом и мирно глядели, какие разности прибыли с вещмешками в их Дорбаз, но не покушались хоть что-то отнять — это все своровали они той же ночью, вплоть до уже исписанных адресами и тертых книжиц, поэтому и были такие добрые. Старший изъял только консервный нож и разгуливал с ним вдоль строя, играясь, перекидывая мячиком из руки в руку, и объяснял свои законы — и был такой добрый, потому что объяснял эти законы единственный раз. Матюшин ничего не слышал. Ноги жгло такой болью, будто сунул их в топку. Стоять было еще нестерпимей, чем шагать. Матюшин думал, что должен терпеть эту боль, — так думал он и все другие дни, мотая в минутку отдышки, когда отпускали с плаца, истерзаннные язвами ноги в кровоточащие уж портянки, а потом раздавалась разудалая любимая команда Молдавана:

— Рррот-тааа, стройсь! Шагооо!..

III

Когда вышагивали часами на плацу и солдаты послабее — а то были еще и не солдаты, а полусолдаты без присяги — валились с ног от солнечных ударов, не выдерживая сорокаградусного азиатского пекла, то подымали их в строй нашатырем, которым военврач снабжал сержантов. Питьевая вода была завозная. Котел воды заваривался верблюжьей колючкой, что собирали в степи, и этого вязкого тошнотного чайка давали каждому полусолдату по фляге на день. Много выпить его было нельзя, разве глоток, да к тому же кипятком только чуть остывал, а горячее пить не было охоты. За бараком, у кухни, швартовалась цистерна с технической водой, которую брали из степных скважин, и была она для питья заразной, желтушной. Многие, то ли из желания заразиться и очутиться в госпитале, то ли от непонимания, прокрадывались по ночам к цистерне и утолялись этой водой.

Кроме русского призыва, в карантине содержались армянский, грузинский и украинский призывы, человек сто. Днем офицеры уходили в поселок, он-то и назывался Дорбазом, напивались в чайхане, так что, воротясь к вечеру в лагерь, замертво падали спать. Месяц карантина для них был каторгой вдали от семей, от городской лучшей жизни. Ночью в поселок уходили сержанты. Покупали у местных анашу, самогон и до рассвета веселились в казарме. Обкурившись, выпытывали они себе полночи деньжат на похмель, а другие полночи пытались да судили виноватых перед их законом, позволяя тем, кто им понравился, остаток ночи курить с ними анашу, пить самогонку. Самым здешним зверством был откуп, наложенный на полусолдат Молдаваном. Все должны были встать в шеренгу, и Молдаван бил каждого в левую долю — в сердце.

Сержанты рассказывали, что ударом этим Молдаван давно прославился в полку: после его удара сердце могло остановиться, и только его же удар мог обратно заставить сердце работать. Хоть и без того на груди оставалось клеймо Молдавана, которым он гордился, отметина синюшная от кулака. Он еще и говорить любил, что сердце, оно такое и есть, размером с кулак. Но однажды ночью это случилось, что видели все и Матюшин видел.

Молдаван дошел до середины строя, где стояли грузины, — и вдруг человек после удара упал замертво. Тишина ужаса явилась. Молдаван, шагнувший было к следующему, бросился к обвалившемуся телу, взревел и заорал, будто не человек он был, даже не зверь, и бешено заработал кулаком, так что вмиг сделался багровым и взмок. Кто бы знал, сколько народу взмолилось тогда про себя, чтоб грузин не ожил и спалился б Молдаван. Но вдруг грузинишка дернулся и дико принялся дышать, с распахнутыми уже глазами, а Молдаван приказал перепуганным сержантам налить ему самогонки и пошагал, пьяный от пережитого, долбить куда попало оставшихся, давая выход своему страху... Десять таких ударов, десять ночей, довелось испытать и Матюшину — у него меркло после них в глазах.

Хоть называли учебный пункт концлагерем, дисбатом, но было что-то гордящееся в этих разговорцах, точно, сами того не замечая, умудрялись гордиться собой, гиблым этим местом. Потому-то глухо грызлись друг с дружкой за все лучшее, а обидь русский грузина или наоборот, и в казарме или на плацу тут же вскипало побоище и грызлись уж толпы народа. Матюшин не успевал понять, отчего вспыхивали эти драки, как и многие не понимали, хоть бросались толпой давить чужих. А его жизнь кончалась в каждодневных муках на плацу. Портянки да пара кирзовых сапог были как у всех, но только успел, чудилось, сделать шаг — пройти первым тем маршем от Ташкента до Дорбаза, — как ноги его превратились в незаживаемую рану. Все началось у него не так, и Матюшин не понимал: что он сделал такого, чего другие не сделали, отчего у них с ногами хорошо? А с первых дней объявили, что, у кого раскроются ноги, тех будут не лечить, а наказывать. У Молдавана был еще и свой закон: хочешь в медпункт, значит, будешь ночью расплачиваться, если воротиться в казарму. Матюшин терпел. Командовал в медпункте зубник из полка, посланный в Дорбаз на летние месяцы, и работал не покладая рук — что ни день, спроваживал в полк желтушных и таких, которых не подымал уж в строй нашатырь. Но сила терпения Матюшина или здоровье были сильней желтухи, сильней солнечного пекла. От мучений своих он расхотел есть и жевал только хлебную пайку, по три ломтя хлеба в день, но и голодал без обмороков, будто б здоровея. Ни-что его не брало.

В одно утро погнали их на зарядку, как обычно, по степи да кругом лагеря. Матюшин отстал, как ни старался. Сержанты развернули убежавший далеко вперед взвод и погнали всех обратно, к Матюшину — и стоило тому отстать опять метров на сто, все повторялось. Солдаты волочатся, строй стонет да хрипит, но никто на Матюшина не смеет взглянуть, хоть он чувствует их душевный гремящий гул, ударяясь больно об их залитые потом, грязные немые лица, об их глухие, горбами вздувшиеся спины. Матюшину казалось, что он быстро бежит, он в том себя убеждал и, убеждая, даже к себе вдруг ожесточился, как если б жестокость к себе была вторым дыханием, давала из ниоткуда силу. Но, по

правде, он чуть тащился, шатаясь из стороны в сторону, наваливаясь на чьи-то спины, прячась в этой куче выдохшихся, измученных людей, которые были все же сильнее его, потому что еще могли бежать, — и бежали, бежали... И он вдруг их возненавидел. Ему почудилось уже, что это есть их молчаливый стговор — что они надрываются, чтобы бежать, и так ему мстят. А ему нельзя было остаться одному или хоть позади всех, только бы со всеми. Свои же, измучившись, стали на него материться и орать, хоть он ничего не мог с ногами поделать. Это веселило сержантов. Матюшин терпел, понимал, что бегают по кругу из-за него, но вдруг какая-то неведомая сила все в нем перевернула. Это случилось, когда один сержант, которому надоело веселиться, бросился пинать его по неповоротливым ногам.

Никогда в жизни Матюшин не бил так человека по лицу, как ударил этого паренька, — со всей силой, даже и неведомой ему, но данной от природы на такой случай, чтобы мог он калечить, а то и убивать. Сержант взлетел и грохнулся наземь, с пронзительным ором катаясь в пыли, сжимая то ли голову, то ли рот. К нему кинулись свои. Матюшину показалось в тот миг, что сделал он что-то страшное и непоправимое, будто и вправду убил человека. Но забыл он, что это был сержант. Не понимал, что нарушил бесповоротно, страшно другой закон, вовсе и не человеческий, а всей этой толпы, — он ударил сержанта, смел поднять на одного из них руку.

Но сержанты начали успокаиваться, опять повеселели. Того паренька подняли, повели в лагерь — говорить он не мог, только орал от боли. Было понятно, что Матюшин его изувечил, но начать с ним расправу перед всем строем, перед толпой свидетелей, они все же не могли, да и не сознавали еще, каким способом расправятся. Матюшину только и приказали, что встать в строй. Опять раздалась команда бежать, как если б докончить решили зарядку. Но сержанты, замыкавшие, погнались взвод сапогами, так что задние напирала на передних, гнали уж их сами, чтоб не быть битыми. И теперь-то не бежали, а гнались. Матюшин понял, что с ним делают, — его гнали всем взводом, такие же, как он сам, с отчаянием давя кулаками в спину, уже не расступаясь. Сержанты не уставали. В самую страшную минуту, когда почудилось, что сорвется и упадет, Матюшин вдруг ощутил, как с боков кто-то не дает ему упасть и, сколько есть сил, помогает, удерживает. Это был Ребров, молчком, сцепив зубы, тащивший его вперед, и еще один, кого он не помнил и не знал, маленький рыжий солдатик, который сдерживал собой, как мог, натиск тех, что напирала, битые сержантами. Матюшин держался, но потом у них уж не осталось сил его тянуть, и он сорвался, поплелся в хвосте взвода, где его футболили по ногам уже до самого лагеря.

И на оправке, уже в лагере, когда взвод разбрелся по команде у нужника, и весь день на плацу Матюшин чувствовал кругом себя глухую стену. Свои боялись его, сторонились, а сержанты, как сговорясь, не глядели в его сторону. Молдаван командовал, спокойно расхаживая по плацу, и казался уверенней обычного. Но весь лагерь знал, что полусолдатишка ударил сержанта, да не просто ударил, а изувечил.

Свершилось только одно событие — Матюшина приказал доставить к себе командир учебной роты, и он под молчаливым конвоем Молдавана приковылял в офицерскую палатку. Офицеры жили в Дорбазе не в фанерном бараке, а отдельно, в палатках. Матюшин увидел под сумрачным палаточным сводом незаправленные койки, жадно — заваленный живчиками обедков бесхозный стол. Сумрак голодно дышал перегаром. Командир валялся на койке как есть, в сапогах, спасался от жары. Еще офицер, не разглядеть, кто такой, дрых в своем углу, беспробудный. Молдаван уселся на пустую свободную койку, не спрашиваясь, а Матюшин остался одиноко стоять.

— Ну что, сил много, некуда девать? — подал голос командир, глядя на него с койки. — А ты знаешь, что тут делают с теми, кому сил некуда девать? Я к тебе обращаюсь, товарищ солдат, отвечать!

— Никак нет... — доложился в беспамяත්стве Матюшин.

— Молдаван, чего он у тебя такой непонятливый? Ты вообще, сучара, я тебе роту доверил, а ты куда смотришь?

— Сделаем, товарищ капитан. У меня есть порядок.

— Сделай, сделай... Я про эти дела знаю, притон из казармы устроил, так что думай, если что, шкуру спу́щу, пропадай — ты мне без разницы.

— Не пропаду,— оговорился Молдаван.— То у меня шкура дубовая, ей хватит.

— Встать! Пшел отсюда... И гляди, не зарывайся, а то зароешься мне, в зону зароешься, уразумел? И орлу своему разъясни, куда все дороги ведут, завтра им подробней займусь, буду карать!

Когда вышли из душного сумрака офицерской палатки, Молдаван не спешил — огладился, подтянулся. Приказал Матюшину шагать вперед, в нужник. Сараюшка глинобитная горбилась на отшибе, далеко за бараками, такая же серая и сохлая, что и степь. Матюшин помнил только громкое жужжание мух, которых было, будто чечел в улье. Молдаван крепко налег на него грудью, придавил к стене, но не ударил, а сказал сильным шепотом:

— Ночью позову, то приходи, не рыпайся. Лучше-то по-тихому. В полку таких много, хорошо живут. Им хавать хорошо дают. Если мне глянешься, то другим не отдам, мой будешь.— И отшагнул, встал грозно над очком, облегчился, вперед приказал шагать.

Верно, сержантики прознали, что за суд будет этой ночью, какой приговор вынес Молдаван. Они-то и пялились хитро, покрикивали кому не лень:

— Вешайся! Вешайся! — Но Матюшин не в силах был понять, что же хотят с ним сделать.

Ему чудилось, что командир-то его простил, отпустил. Он думал, что его пугают смертью, грозятся этой ночью не иначе как убить. Но мысль, что могут убить, не страшила, а теплилась, была теплой. Ему думалось в бреду, что если Молдаван его убьет, то потом убьют за это Молдавана — это он, Матюшин, для того и родился, чтобы убить его.

Тогда он уже бредил, уже пожирал его неведомый огонь. Лагерь устало доживал день в голодном ожидании вечерней поверки, помня съеденную за ужином пайку, а не о долгой грядущей ночи. Неизвестно откуда взявшийся, подле него присел на скамейку Ребров и, как бывалый, сквозь зубы покуривал сторонкой добытую где-то целиковую сигарету. Он ничего не обсуждал, молчал, будто и чужой, что было по-своему правдой, потому как с самого поезда Матюшин отшатнулся от него. Хоть земляки, чуждались они друг друга и в лагере. Будто потерялись, но этим утром нашлись.

— Так вот выходит, могли бы вместе в сержантскую школу податься. Говорил же, держись меня, а ты без меня захотел, теперь прости-прощай,— цедил, оглядываясь, Ребров.— Еще есть время, рви из лагеря...

Куда делся Ребров и что произошло с ним потом, Матюшин не помнил. Очнулся он от кромешной боли. В холодной, где тархтел ящик кондиционера, комнатушке, залитой желтушным светом голой лампочки, в медпункте. Он вжат был в кушетку, лицом — в потолок, военврач тужился стянуть с разбухшей ноги сапог.

— Ну, чего орешь? Живой? Терпи, раз очухался! — прикрикнул зубник.— Нет, резать надо сапог... Что у нас есть режущего?

— Нож есть,— отозвался буднично чей-то голос.

— Тащи... Распори ему там сбоку, да не дергай, а то будет орать.

— А чего с ним такое? — потек с потолка другой голос, любопытствующий.

— Это с вас надо спрашивать, что с ним такое, отбивная вместо ног, делать больше нечего, зверье!

— Его хоть тронули? Да его никто не тронул-то... Порубал небось ноги да обоссал — косит, сука, в больничку захотелось, масло хавать.

— Кто его обоссать научил? Ты, сержант? Надо было портянки учить мотать!

— А он ученый сам, вона какой борзый.

Что-то шлепнулось по-крысиному на пол. Боль утихла, он услышал сквозь дремоту:

— Хватит с меня... Тащите в изолятор...

— Так заняты все койки, куда его класть?

— Оставишь на носилках, полежит до утра, только не в проходе бросай, дурак, найди там в сторонке место.

Он ощутил тяжесть свою — подняли его, понесли, пыхтели.

— Уууф, сука... Тащится... А ну, подъем! Подъем!

— Заглохни ты... Старлей услышит...

— Да он же тащится, тащится, что мы несем...

— А донесем и бросим, небось из мяса, наплачется...

Носилки бросили в темноте и заготовали, потому что Матюшин, чего и хотелось им, заорал. Койки кругом закрипели, шевелились в них, ожили какие-то туловища.

— Проснулись, жрать хотять, думают, кормить буду! — гоготал медбрат. — Ни дня им, ни ночи, желтушникам!

— А ну, подъем, суки! — веселился сержант. — Вспышка справа! Газы, вашу мать! Лечь! Встать!

Довольный, веселый, что нагнал страху, он прошелся, слушая скреб своих сапог, отдал команду в гробовую темноту:

— Ладноть, отбой. А ты, безногий, не спи, наведем ночью, ой, наведем... — было слышно Матюшину в черной своей дыре.

Все смолкло, он же мучительно не верил, что сержант с медбратом убралась. И ждал. Дышала, затайся, мгла, покуда не явилась в ней стеклянистая прозрачность, — тогда, не отыскивая этих двух, Матюшин заплакал от беспомощности, что бросили одного на голом полу, далеко от облачков коек. Но слез его не слышали, и некому было его спасти. Чудилось, что голо чернеет ночь, а не доски пола. Облачка таяли, таяли... Он сполз с носилок и, волоча бездвижные ноги, не ведая, что делает, забился под одну из коек, как в щель, и там затих.

Ночью они приходили, он слышал их топот, их бухое бычье сопение, шепотки. Верно, так они с перепоя и не взяли в толк, что с ним сделалось, куда он исчез, а шмонать да шум поднимать вышло им не с руки. Утром же Матюшина искали по всему лагерю, потому что приехала за грузом скорпомощная машина из медсанчасти, а его не отыскивалось, будто пустился в бега. Но понятно было, что уйти такой далеко не может, разве уползти. Зубник допытался у медбрата, что ночью солдатика навещали, а потом выбил правду и о том, кто ж его навещал. Машина стояла, не отправлялась. Молдавана и еще троих сержантов вызвали в палатку, где офицеры, очнувшись от пьянки да обозлившись, лупили их нещадно до потери сознания, чтобы сказали правду, что сделали они ночью с солдатом, — могли ведь убить и зарыть. Молдаван крепился, хоть его-то и гнули, ломали офицеры, не боясь даже, что сдохнет. Сержантики дрогнули, не выдержали и, зная всякую правду, порассказали о Молдаване, что творил он с людишками, сгубили его поскорей. Так что в горячке того утра открылись колодцы темные правды, начали допрашивать всех солдатиков, все сержантье, не выпуская Молдавана из палатки на свободу, — и народец, не видя больше его, сознавался.

Обнаружили полуживого, спящего у них под койкой человека желтушные, но когда обнаружился Матюшин, то начальникам уж не было до него дела — выволокли, свалили на носилки, погрузили в машину.

IV

Погрузили в скорпомощную еще одни носилки, с тем изувеченным сержантом, и легли они бок о бок. Неслась машина по разухабистой степи, и мучились они в трясущемся, ходившем ходуном кузове. Матюшин стонал. А сержант, которому невозможно было стонать, шевельнуть челюстью, глухо ныл, цепляясь за носилки. С него ручился пот, он изнемог от боли, задыхался. Прибыли они в полк стремительно. Матюшина отгрузили в лазарет, и в носилки кинули из машины вспоротые, похожие на жабу болотную сапоги — и сидели те

жабы у него на груди, стерегли до самой приемки. Сержанта не выгрузили, с ним дело было потяжелей, везли его дальше, куда-то в госпиталь.

С носилок Матюшин сам перелег на кушетку и смог раздеться, когда сказали скинуть с себя всю эту грязь; сам обтер себя, замшелое чужое тело, смоченным под краном полотенцем, как сказал сделать медбрат. Он отвык, чтобы люди так говорили, с покоем в голосе, и эти покойные ленивые голоса будто спускались с неба. Он слышал, как о нем говорил добренький военврач:

— Ну что у нас за бесхозьяйственность на каждом шагу, скажите, Верочка, взяли в армию человека, а портянки не научили мотать... Ведь не похоже, что-бы он мостырил, как на ваш взгляд, Верочка?

Однако во что одеться не дали. Сказали лечь на каталку и повезли вперед головой, так что все кружилось в глазах и плыло. Каталку везли два солдата, лица их не запомнил. Но осталось в памяти, что эти его не материли. Что было им легко, будто забавлялись, катить его на колесиках, рулить.

У врачей на столе он уснул без наркоза и проспал сутки, даже больше, а в то время капали ему взаймы из бутылка кровь, удобряли уколами со сладкой водичкой. И спал-то он сладко, таял кусочком сахара, и растекалась по жилам ничейная кровушка. Но ночью, когда день напролет проспал, будто чувствовал, что ночь настала, вкралось накрепко вбитое ожидание окрика. Дремотно он из-готовился вскочить, пробуждался, себе отчета не отдавая, что лежит не в казарме, а в лазарете.

Все должны были в лазарете работать, обслуживать самих себя и военврачей. Матюшину выдали костыли, приказали вставать. Ноги были забинтованы по колена, будто обули в белые валенки. Стоять на костылях давалось тяжело. Первое, что сделать сказали,— сдать на анализ мочу. Медбрат выдал ему майонезную баночку без крышки. Впихнув ее в карман халата, Матюшин поковылял в нужник. Силился он справиться с банкой, да никак это не выходило у него. Все, что смог,— сдернуть трусы, а подставить банку — на это не хватало рук, выскальзывали из-под мышек костыли. Он поставил банку на подоконник, подковылял к параше железной, потому что и терпеть-то после возни этой не хватало у него сил. В нужник забежал какой-то облегчиться, опущенный с виду, бритый, как в издевку, лесенкой. Матюшин пролалял хрипло, держа в руке банку, точно камень:

— Слышь, браток, ты не заразный, помоги на анализы мне...

Опущенка послушно все исполнил — и исчез. У Матюшина отлегло. Надо было теперь донести мочу эту чужую до медбрата, она пролилась в кармане, покуда он скакал да тащился, и медбрат не смолчал, видя мокрое пятно у него на боку:

— Ну, чего, браток, никак обоссался?

Народец лазаретный строился в садике; командовал, расхаживая перед строем, лазаретный старшина — важный усатый солдат, ничем не больной, а как раз самый упитанный, здоровый. Все звали его кто «бугром», кто «бригадиром», как на стройке. Он всем давал работу, сказал и Матюшину, не глядя, что тот на костылях, дорожки выметать в саду. Матюшин тут же в строю отказался это делать. Подумал, что бригадир над ним потешается. Тот подошел к нему и ударил по одной, потом по другой щеке наотмашь, а Матюшин и руки поднять не мог, от костылей оторваться, чтоб хоть укрыться. И хлестал его бригадир по щекам, покуда не вступился соседний паренек — заслонил Матюшина собой, упробил усатого, что возьмет работу на себя.

Назавтра бригадир снова приказал Матюшину подметать дорожки, но Матюшин теперь смолчал, хоть и не понимал, как сможет держаться на костылях и работать метлой. Дорожки обсыпала сгоревшая под солнцем листва со скалистых, возвышающихся яблонь. Чтобы мести, надо было не иначе, как встать на ноги или хоть на одну ногу опереться, и он, обозлившись уж не на бригадира, а на себя самого, на поганые костыли, оставил себе один костыль, взял в свободную руку метлу. Управляться одной рукой было все одно, что ковыряться метлой, но потихоньку да полегоньку листву он с первой дорожки смахнул.

На другой день Матюшин увидел, как это бывает, когда выписывают из лазарета. Выписали одного, который долго здесь жил, работал посудомойкой. Он был приметный, задиристый, о таких тут говорили, как на зоне, что он бла-тует. При котлах он, верно, и отъелся, вольный стал, а когда шикнул бригадир, что приказал начмед манатки собрать и шагать в роту, то весь он превратился на глазах в жалкий комок. В обед еще было видно его вспухшую, багровую рожу в окошке раздатки, но это не понравилось бригадиру — что еще не ушел. Он спокойно отобедал и другим дал свое доесть, а потом зашел в ту укромную полутемную комнатку, в которой работали повар с посудомойкой, — и все услышали грохот да истошные крики. Но смертоубийства миг тоскливо покрылся только что взъярившейся грызней, стали доноситься шумы и пыхтение, будто двигают что-то тяжелое. Все дожидались, не расходясь, чья возьмет, никто не встревал. Минут через десять возня в пищеблоке смолкла. Из тишины явился целый и невредимый усач, волоча по полу задыхавшегося, будто пробитого гвоздями, скрюченного посудомойку.

— Я тебе сказал, тебе, чтоб к обеду духу не было? Тебя как, по-хорошему просили? Ты решил, что ты умней? — допрашивал его, свирепея от своих же слов, бригадир.

— Убьютасукааа! — визжал тот.

— Ты... Ты из себя психоватого тут не корчь!

И зашевелились стоящие без дела, желающие поскорей кончить, опустить уж никому не важного своячка.

— Что сказали? Ты не поял, не поял, падло! — посыпалось из всех ртов, и его уж не стало слышно.

А через неделю на перевязке с Матюшина сняли вдруг бинты. Ноги зажили. Но этого и невозможно было Матюшину постичь. Зачем они нужны ему такие, здоровые, он теперь, когда отнимали у него костыльки, не понимал. Здоровый, а не скрюченный на костылях, Матюшин казался сам себе ненужным, обреченным. Было ему так одиноко, будто войдет в перевязочную кто-то, какой-то человек, который его отсюда навсегда прогонит. Всю эту неделю он работал — подметал дорожку в саду, дежурил на людском нижнем этаже, был на побегушках у врачей, таскал по зову их лекарства да бумажки. После перевязки, когда сняли бинты, отобрали костыли, он ушел на этаж и затаился, не зная, что с ним теперь будет. Бригадир разгуливал по этажу, не замечая его, и Матюшин мучительно гадал, есть ли приказ выписывать его, что скажет начмед. Но вечером усатый подозвал его, добрый, что прожил в покое еще один день, и дал работу:

— С утрачка ты дуй в хозблок, будешь ты вместо этого... Я повару обещал, что человека дам, а ты вроде без костылей стал, ходячий, но гляди у меня, заблатуешь — враз на берег спишу! И плакала мама!

Повар встретил Матюшина поутру с ножом в руке и долго не пускал на порог хозблока, заставляя стоять среди пустых столов. Этот худенький узбек, походивший на подростка эдак лет четырнадцати, казался безвредной змейкой, ползающей, но не могущей жалить. Снизойдя, он впустил Матюшина, сказал сесть и сунул ему в руки миску с кусками холодной свинины, выуженной, верно, из щей обеденных, рубанул полбуханки хлеба. Так он показал, что он добрый, если захочет, и жратву ему не жалко. Есть же Матюшин не хотел, но стал волей-неволей жевать, больше оглядываясь вокруг. Узбечонок был доволен им, думая, что приручил. Он же был Матюшину по грудь, и, только когда Матюшин сидел, они становились одного роста. Хозблок был изнутри именно каким-то блоком — квадратура, обложенная от пола до потолка водянистым кафелем, будто по стенам стекала вода. Здесь было как в бане, а воздух стеклянисто стоял у распахнутого настезь оконца, так что внутрь проникал только жаркий солнечный свет. Узбеку жара была нипочем. Решив, что службе хватит жрать, он показал, какой может быть злой, и, выхватив ни с того ни с сего из рук у него миску, твякнул, ощерясь, чтобы становился у раковины.

То была даже не раковина, а огромный медный чан со сваленной в него алюминиевой посудой. Узбечонок подпрыгнул, уселся на высокий подоконник,

глядя свысока на его работу. Когда посуда и котлы были перемыты, он сказал Матюшину мыть полы в столовой комнате и опять глядел на него, ползающего с тряпкой, из оконца раздатки. Когда были помыты полы, он сказал мыть в хозблоке, а после хозблока сам подустал и показал опять, какой он может быть добрый, возвратил Матюшину миску, сказал есть. Матюшин уж чувствовал откуда-то голод, а может, был это и не голод, а сосущая нутро злорада. Сколько прошло времени с обеда, он не распознавал. Узбечонок натянул на сухое змеиное тельце белую поварскую робу и погнал Матюшина в дорогу — пора было брать тележку и везти ее в полк за пайком.

За оградкой лазарета было ему шагать так же чудно, как по улицам незнакомого города. Повсюду, куда б ни устремлялся его взгляд, стояли глухой обороной казармы, тянулись неведомой связью асфальтовые дорожки, тропиночки из асфальта, росли одинаковые деревца. Никто им не встретился, только при подходе к столовой набрели они на толпу солдат. Узбечонок приосанился, стал понукать да покрикивать. Чугунная тележка на трех колесах туго поворачивалась, Матюшин тащил ее спереди, а потому, верно, если на кого и походил, то на лошака. Пищевые канистры бились друг о дружку, издавая медный звон, из-за которого толпа уставилась на них, так что Матюшину сделалось не по себе среди той толпы, а повар еще подбежал и огрел его по спине кулаком. Солдатня одобрительно заушала — карантинщика живого они еще не видели, а узнать такого в Матюшине было нетрудно по чуть обросшей ежистой башке. Ему стали кричать, чтобы он вешался, но так же одобрительно, довольные, что эти уж при тележках, что тащат службу. Матюшин видел их штампованные, с медный пятак, лица — будто их жизням цена была с пятак.

А в огромной поварской, в которой бы утонула дюжина их хозблоков, где торчали три похожих на колодцы варящихся котла, сошлись поглазеть на карантинщика все, кто обретался при столовке. Все сплошь похожие на его узбечонка, так что Матюшин утерял его из виду. Он таскал канистры с лапшой, а заливал ему из колодца, взгромоздясь на табуретку, опущенный ихний служка, в грязной до коричневы солдатской робе, который поспешал тараканчиком и радовался, что оказался заодно с ним у всех на виду. Он что-то командовал Матюшину на их языке, а узбеки-повара смеялись, глядя на то со стороны. Никто ему не сказал и слова по-русски, а вся потеха была в том, что он не понимал, чего ему кричат, верно, делая наоборот, а может, и как хотели они. Он изготовился к тому, что станут бить, но, когда все сработал, утихомирившиеся узбеки отвернулись и разошлись. Уж со двора получили они хлеб, и хлеборез, здоровый жирный узбек с бычьей шеей, которого Матюшин выделил еще в поварской, смеялся над ним тут, сидя на перине ржаной из хлеба, а потом подозвал, спросил, как зовут, а узнав, что Василием, сказал про себя, что он Вахид. И сказал, довольный, что делает его, по ихнему-то, Вахида, своим братишкой, даст ему отныне, если надо, помощь в полку, а тот пускай называет его братом. Брат с братишкой, если встретятся, должны обняться — и он показал, как это надо делать, гулко рассмеявшись.

Узбечонок затаился, когда служка побратался на его глазах с полковым хлеборезом, с самим Вахидом. Молчком воротились они с груженой тележкой в лазарет. До ужина держали лапшу готовой на плите, а после ужина опять взялся Матюшин за работу. Узбечонок злился, курил и ничего не делал, а Матюшин так и работал, все одно что служил ему по команде. Так долго и тяжело он еще никогда в жизни своей не работал. За окошком уж смерклось, лазарет отходил ко сну, но Матюшин должен был свезти на той же тележке бак дневных отходов в столовую. Узбечонок, шатаясь со своим тесаком в стихшем, что яма, и пустом от чистоты хозблоке, сказал ему про то, улыбнулся пьяной, неизвестно откуда взявшейся за день улыбкой и ткнул воздух, давая тычком понять, что посылает его одного в ночь, а сам остается.

И той дорогой, что едва помнил и почти не различал в потемках, он вывез тележку к столовой, где сонливо копошились какие-то подневольные солдаты и не было уж видно, будто вымерли, поваров. Эти солдаты, которых, верно, пригнали сюда тайком делать грязную работу, облепили его со всех сторон да

хотели заставить работать на себя. У него ж на них рука не поднялась — в каждой роже мерещился ему сержантик, это был страх ударить да ненароком убить. Он их убить боялся, а они-то его пинали, терзали, покуда не заявился из ночи какой-то сильный человек, от одного взгляда которого они расползлись по работам, по углам.

Матюшин притаился в лазарет, загнал тележку в стойло, поплелся на этаж, в свою палату, где уснул крепким натруженным сном. А рано утром, когда все еще спали, его отыскал по палатам и разбудил, похоже, глаз не сомкнувший, еле ворочающий языком узбечонок — пора было ехать в полк.

Три раза на дню он брался с Вахидом, возил в полк тележку, мыл посуду и котлы, таскал наверх пайку каптерщику. Каптерщик не отпускал без того, чтоб не пнуть в спину. В полночь, когда свозил в столовую отходы, поджидали голодные, забитые солдаты из кухонного наряда. А с утра до ночи томился он в хозблоке, лишившись чего-то большего, чем свобода, оставаясь один на один с узбечонком.

Тот был туповат, плохо умел соображать, так что на него все обычно орало. Но крики никак не действовали на него, оставался он глух. Работы у него в лазарете было с полпальца, потому что ничего он не варил, не жарил, разве что для дружков да для себя, а получал паек готовым из полковой столовки — сам же он нарезал хлеб громадным тесаком, с которым не расставался, всегда носил его в руках, точно он был частью его. А если не в руках, то в сапоге. Весь день сидел в хозблоке, выходил наружу только ночью.

Оказалось, что повар был мстым, родиной его был какой-то колхоз под Ташкентом, к нему ездили через день жена, младшие братья, привозили ему из дома еду. Но и солому эту привозили, он прятал в мешочке под печкой и давно сошел с ума, высыхал да умирал на глазах от этого курева. Повар улыбался тупо да отмалчивался с лазаретными, но хитро так прятался в нем сумасшедший, молчком да с улыбочками. Если ж он что-то чувствовал, к примеру, начинал бояться, то страх овладевал им всем, вываливался грыжей из души, а испугать его так, насмерть, могла брякнувшая на полу пустая кастрюля. Работать он и вправду не мог, его уж и нельзя было даже заставить работать. По ночам он не спал, потому что не мог спать, как человек, если только не обкурился до бесчувствия. И то, что ножа не выпускал из рук, имело особый смысл — хлебный тесак был той ниточкой, что единственно связывала его с жизнью, иначе он вообще ничего не чувствовал, не понимал. Он убивал себя, но будто бы играл со смертью, ставшей для него безлично чьей, а никто этого не ведал. Он подстергал Матюшина, когда они оставались в хозблоке наедине, дожидаясь мига, чтобы тот нагнулся или присел на табуретку, и тогда подскакивал сзади и хватывал его горло тесаком. Когда случилось это в первый раз, Матюшин только и успел растеряться от неожиданности его прыжка. Подумал он, что повар петушится, попугивает, хотел откинуть его руку. Узбечонок же весь задрожал, сдавил горло тесаком, ничего не говоря, и тогда, выпучивая глаза, Матюшин, как и он, задрожал. Этот его страх смерти потихоньку успокоил повара, а может, и спас жизнь.

Тронуть его Матюшин тогда остерегся, но после второго такого раза, пережив то же самое, выждал, что опустился нож, и с маху об стенку пришиб. Узбечонок и сделался как пришибленный, забился в угол. Но через день все повторилось. Обкурившийся повар уж заставил Матюшина осесть на пол, заполз с ним в угол, не отнимая от горла тесака, готовый чуть что полоснуть. Никто б не пришел на помощь. Спросонья добежали разве до сортира, в остальных частях здания даже не положено было гореть свету — хозблок погружался в ночь, будто с дырой в днище, захлебывался ее черными водами и тонул. Узбечонок, пьяненький от курева, требовал поминутно ответа, хороший он человек или нет, гуляет на воле или нет его жена. Матюшин сказал, что хороший он человек и, получив отдышку, ответил и про жену его наугад, что хорошая она женщина, но тесак впился в его горло. Повар взвыл дико, давая ему какой-то миг, и Матюшин вскрикнул, цепляясь судорожно за слова:

— Да блядь она, блядь!

Узбеценок опустошенно замер, потом заплакал и жгуче принялся спрашивать то же самое, слыша уж только этот ответ, который отчего-то завораживал его. Забывшись, он стал рассказывать про жену, жаловаться, что она хочет его убить, приносит отравленную еду и что у нее уже есть другой муж, который тоже хочет его убить. И пытал он Матюшина, как если бы тот мог знать правду. Матюшин твердил вслед за ним, будто эхом, что жена хочет его убить, и это длилось полночи, так что и он уж отвечал узбечонку как в бреду, а стоило шелохнуться и замолчать, повар тут же взвизывался и начинал дрожать. После до того он забылся, что выпустил наконец тесак. Желание им овладевало покурить свою сигаретку, другая уж мучила дрожь. Матюшин, думая, что сбежал от него чудом, остаток ночи не спал. Но узбеченок утром пришел за ним полуживой, будто до утра кто-то его самого пытал да мучил в хозблоке. А пора было в столовую, получать паек. Повар сказал ему вставать, а сам свалился на свободную, пустую, уснул.

Узбеченок припелся в хозблок под вечер, когда в лазарете давно отуживали, и полез голодно под плиту. Он покурил, забывшись в тот угол, где отсиживали они вдвоем ночь. Матюшин, стоя к нему спиной у мойки, почуял гремучий душок травы, что змейками расползлся по хозблоку. Чуял он каждый миг, что повар оживает, уж таится молча в углу. Потом он выкарабкался и стал бродить без дела, так ничего и не говоря, сам по себе. Крадучись, вышел в пустую столовую, ходил там, и шаги его то были слышны, то пропадали, будто вышмыгнул из столовой. Извелся, воротился в хозблок и раскричался на Матюшина — был им недоволен, а в руке его уже болтался тесак. Но тут Матюшин встал как вкопанный и обрушился на повара не криком, а возмущенным шквальным ором, в который вложила вся его душа. Узбеченок съежился и глядел на него тускло слезливыми, злыми глазками, как если бы тот не орал, а ударил. И он ударил по руке, выбил тесак, а потом схватил узбечонка, поволок, разбрасывая с грохотом посуду. Матюшин бил его, думая, что убивает, упиваясь каждым звуком, вырывающимся наружу из этого хилого, гнилого тельца.

— Я тебя убью! Убью! — вопил Матюшин, чуть не теряя сознание от пронзающей мучительной сладости, волоча его, полудохлого, да швыряя об стены.— Убью!

И от этих же слов пришел он в себя, образумился. Но вовсе не пожалел. Повар был живой, живуч, и стоило бросить его, как он стал сам двигаться, а скоро и взобрался на табурет.

— Вот так и сиди. Сидеть! Поял?! — крикнул отупело Матюшин, будто собаке.— У меня отец армией командует, танками, самолетами, у меня брат Герой Советского Союза, а ты кто такой, ну, кто ты такой? Ты чурка, чурка... А ну встать! Вста-а-ать!

Оглушенный узбеченок встал через силу и беззвучно заплакал. Прошло сколько-то времени, за окном смерклось, Матюшин бросил его и пошagal за тележкой. Забыл о поваре и думал всю дорогу, что в столовке его поджидают, а пройти-то их нельзя и надо будет с ними сызнова биться. Но уборщики из кухонного наряда, что каждую ночь прохода не давали, слили сами отходы и ничего не посмели ему сказать, хоть Матюшин просто стоял с опущенными руками, глядя на них, и молчал. Когда же он воротился в хозблок, то повар успел обкуриться и валялся пьяный, похожий на собаку спящую. Матюшин пнул его от какой-то обиды, посидел с ним в тишине подвальной хозблока, а потом пошagal на этаж, надо было спать.

Повар без труда мог разделаться с русским чужими руками, отомстить ему так, что и следа б его не осталось в лазарете, но стерпел. Все повторялось изо дня в день — и унылое, на двоих, заточение в хозблоке, и одурение беспробудное повара, и эти побои. Но бил его Матюшин уже с расчетом, зная ту минуту, когда надо было его пришибить, и становился он тихий. После битья повар и вправду успокаивался, хоть чуть не всегда плакал, будто со слезами и источался из него какой-то яд. От слез этих сделался он Матюшину противным, как

что-то склизкое, и обращался Матюшин с ним как со своим служкой, вот только всю работу сам делал, за двоих, брезговал его заставлять.

Он отнял у него тесак и прятал у себя, больше не давал в руки. Но узбечонк равнодушно терпел и это. Чего не мог Матюшин у него отнять да и боялся — это анашу, но потому ли, будто желая все же отнять, он приноровился курить задарма сигаретки. Повар давал ему дурь по первому требованию, будто под плитой тарилась и его доля, но трава Матюшина не пробирала и частенько, для своего удовольствия, крошил сигаретки или выбрасывал. Узбечонк злился, но терпел — не иначе как и он прожигал-то анашу не свою, а дармовую. К нему ходили тайком солдаты из полка, гладкие, похожие на зверей. Приходя, они высылали посудомойку прочь, говорили о чем-то тайно с поваром, а иногда и били. За что они его бьют, тот не говорил. Так же понуро, глухо ходил он, когда вызывали на свиданки, встречался с женой, братьями и еще с кем-то — с кем, он не говорил. Что приносил от них, к тому не притрагивался, отдавал не глядя Матюшину: фрукты, лепешки, какое-то мясо и огромные ихние пельмени, которые, отварные, были еще теплыми в банке и всплывали из бульона всплывшейся рыбешкой.

Скоро Матюшин стал ходить повсюду с узбечонком, а узбечонк не отпущал ни на шаг Матюшина, они будто срослись. Стали у них одни и те же дружки. С каптерщиком Матюшин повидался еще в первые дни. Тогда он узнал, что это был за человек. В комнате без оконца, тесной от стеллажей, где от пола до потолка возлежали простыни, наволочки, пододеяльники — снежными громоздкими стопами, будто на вершинах, — он расхаживал преспокойно как по краю пропасти и все знал в том одноцветном пахнущем прахом нагромождении, похожий своим видом на библиотекаря. На нем был лоснящийся одиноличный халат, не чета тому переходящему линиялому тряпью, что donaшивали в лазарете другие; невысокого росточка, хилый, даже плюгавый, он в нем сыто, важно утопал. Казался самому себе плечистым да рослым. Каптерщик разъяснил поважней лазаретного старшины, кто такой Матюшин перед ним — доходяга, вонь ходячая, срань; но испытывал при том удовольствие. Матюшина он до тошно помнил по той и вправду вони из вспоротых лопауких сапог, прелой чернушной формы, что заняли место в каптерке, заткнутые в матрасный мешок. Но признавать его не желая в первые дни за человека, каптерщик теперь утихомирился. Матюшин пил с ними в каптерке да гулял уже как свой. Плюгавого каптерщика Матюшин невзлюбил еще за старое, но не родилось в нем злости, как если попался по пути не человек, а гриб-гнилушка. Хоть с того времени, как невзлюбил, он чуял дух каптерщика — что есть он в лазарете, сидит у себя в норе. У него в каптерке, а отдельная комната и давала ему в лазарете власть, кучковались такие же гнилушки и, одуревая, слушали один на весь полк знаменитый его магнитофон.

Каптерщик и еще один, у которого по доброй воле не вылечивалась гонорея, которого звали в лазарете из-за клыка золотого Фиксатым, позвали его с ними грабить — и Матюшин за копейку доверия их согласился, пошел на грабеж. По ночам лазили, но не каждую ночь, через забор и сбегали в город; так понял Матюшин, откуда появился в каптерке магнитофон. Вскрыли машину, прямо подле полка, взяли всякой мелочи. Ему досталась пачка сигарет с авторучкой. Было скучно, даже не страшно. В другую ночь, пьяные, залезли в какую-то кафешку, нашли вещи, еще выпивки, денег, жратвы. Жрали там и пили, а что не смогли, то испортили да побили, чтобы не оставлять. Но своей доли Матюшин не взял. От чужих вещей его своротило, как от вшивых. А каптерщик с Фиксатым обросли барахлом и после такого шума решили отсидеться потихому, не рисковать. Каптерщик, оказалось, умел делать наколки, по трешке он брал за узор. У кого-то в полку заметил Матюшин наколку на плече; это была змея, свернувшаяся вокруг меча, который возлежал на щите, похожем на шеврон, а обрамлялся этот щит надписью «служу закону». Думая, что так просто она не делается, Матюшин только по-пьяному спросил у каптерщика такую наколку, но оказалось, что нет на нее запретов. Ему накололи шеврон, как подшутили: сначала каптерщик выполнил старательно работу, а потом все гляде-

ли на наколку и потешались над ним, что дуриком записался в честные — с такой наколкой уж всю жизнь воровать нельзя, да и каждая собака знать будет, кому служишь.

— Краснач в законе! — гоготал каптерщик. — Уу, братва, замочим краснача?

— Замочим! Муха в киселе! — взрывались все гоготом.

Матюшин сторонился тех, кто попадал в лазарет из Дорбаза, будто что-то они ему сделали. Да и были они ему не погодками, а гораздо моложе, по восемнадцать лет. Опущенки из полка и человек десять, которых нанесло уж, что грязцу, из карантина, в лазарете ничего не значили, и шпынять, травить мог их каждый, а еще больше каждый старался сделать себе из одного такого служку. Случалось, он подкармливал их в хозблоке, но только потому, что самого воротило от жратвы. Они ж оплачивали ему за глаза дружной нелюбовью, он был им чужой, ненужный, хоть в глаза заискивали, думая, что иначе ничего не даст. То, что снюхался он с узбеком, считали какой-то подлостью. Стал он занозой в сердце и лазаретному старшине. Когда увидел бригадир не зажившую еще, как расцарапанную, наколку на его плече, остекленел и ударил наотмашь в морду, при всех-то, в столовке.

— В блатные полез! Тебя как, по-хорошему просили? Ты решил — ты умней?

Тогда стерпел Матюшин от удивления, а ночью у каптерщика, глотнув спирта, рвался чуть не зарезать старшину к всеобщему веселью, но надорвался и упился. А после так и терпел от него — боялся, что выживет его старшина из лазарета.

Ночью ушел к девке в город и не вернулся Фиксатый, а без воровства он шагу ступить не умел; каптерщик прибежал с той тайной в хозблок, метался в четырех стенах, будто б уже стучалась милиция, и подучивал Матюшина в спешке, что надо будет говорить, если продаст их Фиксатый. В его каптерке полно было распихано ворованного барахла из кафешки. Вещички связал в простыню, избавляясь даже от магнитофона, побежал к хохлам в кочегарку и в то же утро все добришко опрометью стопил. А к вечеру хватились Фиксатого и в лазарете, пришел на ночь глядя офицер из штаба и допрашивал, кто его видел в последний раз. День прожили, милиция не ехала, но теперь его искали как дезертира, и каптерщик мечтал, чтобы дурак этот только сгинул, пропал, а выдумывая вслух, какие смерти мог найти Фиксатый, успокаивался: утопнуть в канале мог, зарезать могли на улице или на хате, обширяться мог, сгореть, где гуляли, мог в рабы попасть к узбекам, а самое верное — смерть принял от бабы.

Утром вокруг лазарета заварилась неведомо откуда каша. Набежало офицеров, штабных, да и все бегали, кутерьма невиданная поднялась. Слышно было, как подъезжают машины. Топот сапог стены сотрясал, будто оцепляют. Матюшин засел в хозблоке, но пересилил себя и вышел, бежать готовый, на людской этаж. Приемник и весь коридор оказались забиты солдатами — его узнали, а сам он никого не узнавал. Это прибыл целый взвод из Дорбаза. Свои, русские, ребята, с которыми начинал он служить в карантине в одном взводе, иссохли, гимнастерки их шелушились солоно воболкой, а голоса гудели глубоко, будто жар из печи.

— Здорово! Вон ты куда пропал!

— Гляньте, это ж Василий!

— Ух ты! Здоров, как у тебя дела, братишка, смылся под шумок из армии!

А наши кто еще здесь?

Матюшин глядел вокруг слепыми глазами, они же смеялись, обступили его, охлопывали со всех сторон, здоровые да добрые, будто росли из земли.

— Да ты чего молчишь!.. А мы тебя помнили, каждый день вспоминали, так бы и терпели сволочь эту, если б не ты! Да ты ж не знаешь, после твоего отъезда из Дорбаза, как говорят, вылили на тебя сержанты бочку дегтя. Сволочи! Потом обвиняли нас, что ты сострепал дело против Молдавана. Но эти сволочи тоже получили свое. Молдавана, наверное, точно отправят в места не столь отдаленные.

— Присягу мы приняли, теперь в сержантскую учебку нас, в Каракимир...

— Да, братишка, больше не вернешься в Дорбаз, а мы вот дальше в сержанты. Наших много там покосило, поувозили их к вам, встренитесь, а мы осенью нагрянем, с лычками, дадим подмогу.

— Кого наших увидишь, передавай привет, скажи, мы еще вернемся, еще устроим здесь хорошую жизнь! Да не расстраивайся, живи мужиком, ты ж такое дело людям сделал!

Подскочивший офицер окликнул сбившихся в кучу солдат, и они с живостью подчинились.

В пустом, гулком колодце лазаретного коридора, на дне которого один покоился Матюшин, заухал гул высокий, грозовой тронувшихся армейских тяжеловозов, груженных полусотней солдат. Лазарет, чудилось, иссох до человечка и опустел, все из него выздоровели. Сухой, горячий воздух блуждал в его стенах, и Матюшин больше не чувствовал себя человеком — да и никем. С бездушным спокойствием он воротился в хозблок, где ему, будто и не ему, сделалось вдруг весело при виде всего этого брошенного хозяйства — немых котлов, бачков, тусклых алюминиевых черепков мисок, сваленных горой в чане заодно с грудой обглоданных, таких же тусклых ложек. Взялся он хватать их, рыться в них, мыть да вычищать, но проникая в работу, как проникают покрсычьи что-то чужое пограбить. Исполнив на отлично работу, покатился с тележкой за обедом, ничего не узнавая в полку, забывая этот полк каждую минуту и чему-то удивляясь затухающей памятью.

Столовая показалась ему какой-то казармой, муравейником солдат. Попав в хлеборезку, отмалчивался с Вахидом, пронзая взглядом этого узбека, насквозь чужеродного, отчетливо понимая, будто держал камень увесистый в руках, что хлеборез нажрался хлеба с маслом, а кругом него не доедают этого масла. Он глядел молчком на Вахида, почти как на свинью, точно узбек могучий не стоял вровень с ним, заслоняя собой хлеборезку, а возлежал с хрюканьем среди хлеба. Вахид же встретил братишку с простодушной радостью, наделил не спеша хлебным пайком лазарет и, ничего не приметив, обнялся с Матюшиным до следующего раза, но братался узбек с беспризорной тенью, что гуляла, как на свободе в ташкентском полку.

Лазаретный паек он сдал, как обычно, повару, но исчез в ту же минуту из хозблока. Силой какой-то вытолкнуло его на опустевший, стихший без солдатни двор, и он забрел в сад, за огородку глухую кустов, где стемнела на глазах его в тени яблонь и прохладно вечерела поросшая густо травой земля. Шагов через десять, пройдя как по доске, а не по траве, он уткнулся в стену из бетона. Сад еще взлетал над ней зелено вольными ветвями и рос как над обрывом, но стеной тут обрывался не дворик, не садик, а неведомый конвойный ташкентский полк. У той стены, так как шагать стало некуда, он слег на траву и в прохладе, в тенистом сумраке уснул.

До ночи он дожид, потому что спал. Знал об исчезновении посудомойки из лазарета только повар. Он не дождался его в хозблоке, а взявшись искать — не отыскал. Тогда, с полдня, начал он скрывать, молчать, зная, что русский пропал. Тащил сам работу. Поехал вечером с тележкой. Доканчивал день, наводя сверкающий порядок отупело в хозблоке, как после убийства. Никуда больше из хозблока не выходил. Каптерщик, а он вторые сутки чуждался посудомойки, будто за ними кто-то следил, но и стерег его пугливо, имел в виду, успел углядеть работающего, на себя не похожего повара, и заподозрил. После ужина пробрался он в хозблок, обнаружил одинокого узбечонка и, так как тот молчал, принялся выбивать из него правду. Но стало от битья страшней, и узбечонка молчал страшно, бездвижней и равнодушней трупа. Каптерщик, будто себя допытывавший, забивший, готов был чуть не бежать и сдаваться, так страшно сделалось ему при мысли кромешной, что узбек не иначе убил посудомойку и молчит.

Но стоило ему подумать, что нет Матюшина в живых, как тот вырос из ниоткуда бесшумно и шагнул в мерцающий от кафеля хозблок. Сел в закуток у стены, не произнеся и слова. Узбечонка глядел на него горящими темным каким-то огнем, но лучистыми, устремленными только к нему глазами, а каптер-

щик облился багрово потом, как в парилке, и заорал, испуская в немощи злость. Вопли его возмущения, обиды, боли этих двух мертвяков не пробудили. Повар с посудомойкой как сдохли, ничего больше не боялись. Не слышали.

— Мы ж палимся! — орал, не унимаясь, каптерщик. — Нам пучком надо, а ты, ну чего ты дохнешь, куда ты ходишь? Кончить нас хочешь, невмоготу стало, а я жить хочу! Жить! — Весь вид его, дрожащий, мокрый, будто выпрашивал в слезах и в поту, в мокроте человечьей, эту самую жизнь, кричал не страхом, а невероятной какой-то к себе любовью. А страшным было ему теперь узнавать, как ребенку, что может его не быть.

В какой-то миг каптерщику показалось, что эти двое не иначе обкурились. И, найдя неожиданно отгадку, поверив с облегчением, что сидят в хозблоке и молчат, обкуранные анашой, утих он и скривился, будто разжевал что-то кислое. Еще поразглядывал их от безделья, как картинки, помучился и ушел. Ничего так не желал им каптерщик, как смерти. Уходя восвояси, он подумал уже с похотливым трепетом, что надо их отравить, как-нибудь сгубить. И он не так желал им смерти, как жаждал избавиться от мучений страха за свою жизнь, чтобы стало ему возможно одного себя беречь, спасать, и уж он тешился, что вылез бы в одиночку из какой ни на есть ямы. Наркоманы, падаль, думалось успокоительно каптерщику, все одно долго не проживут, да от них, от заразных, давно надо землю освобождать.

Узбечонка не курил весь день. Глядя оцепенело, покорно на возвратившегося неизвестно откуда посудомойку, что-то понимая и чувствуя, пытался он теперь стерпеть и мучился в своем уголке, никому не нужный. Матюшин же чего-то дожидался, змурился и не глядел в его сторону, но вдруг поднялся стремительно, будто изнемог ждать, и двинулся без страха к железной гробовитой плите, из-под днища которой вырвал крепенький невзрачный пакет с травой. Понимая, что делает, он успокоился, огляделся и вытряхнул пакет в полный помоев обрыдлый бачок, попавшийся на глаза, а потом смешал навсегда сухенькую нежную соломку с той болотной жижей и отпрянул, встал столбом подле узбечонка. Повар тихонько на глазах усыплялся, сжимаясь тепловато в комок, как если бы трава эта утопла не в объедках да опитках, а в его душонке, и бродила. Ржавый, порыжевший от затхлости пакетик прилепился эдакой слизью к полу, он только казался ничейным; как и ветерок этот гиблый, легкий — только казалось, что тайлся в нем, в невзрачном пакетике под плитой, а гулял теперь одишешенек посреди ночи в гулких стенах хозблока. Глядя вниз, в пол, где лежал повар, и ясно видя, как с высоты, его покойное гладкое лицо, ощутил и Матюшин дрожь легкую погибели. Но гула одинокого, будто гудели, приближались и приближались чьи-то тяжелые шаги, топали и топали кирзовые убойные сапоги, Матюшин не страшился. Успел он столько пропастей на одного себя накликать, что и чудно было б пропасть. Потому не от безысходности очевидной того, что совершил, а от невероятности Матюшин будто разуверился в смерти, в жизни, опустился к дышащему трупику узбечонка и уснул, обнявшись с ним безмолвно, как с братом. Желтый грязный свет горел до утра в хозблоке, сочась бесшумно с потолка и удушая, будто газ. Матюшин просыпался в поту, открывал глаза, видел одиноко кругом этот свет, ничего не постигал, но засыпал с удивлением, чувствуя под боком твердый ком человеческого тепла.

(Окончание следует.)



Анатолий НАЙМАН

Ранний сбор ягод

* * *

С опережением на добрый месяц проходит лето,
еще июль, а лесá сентябрьское сыплют семя.
Ветер восточный с дождем шумнут, что наложат вето,
но, хлопнув дверью, с опережением умчится время.

Что же спасет? Говорят, простота, в простоте смиренье:
как Иван-дурачок, в июле ходить по бруснику,
не думать о снеге, держать вверх ногами книгу,
снять с ходиков стрелки и спрашивать «скоко время?».

Но время уходит — ух! ах! уходит! —
опережая себя самое и все на свете.
Год в три годика — год, год в 30 — годик,
в 60 — неделька: снег до субботы и мысль о лете.

А лето проходит с опережением на добрый месяц:
и в небе месяц с ножом в кармане, и я бруснику
спешу собрать, к лунному мху головою свесясь,
и вместе с падающей росой роняю ресницу.

Софье полтора года

Из места, о котором
мы ничего не знаем
и называем раем, является дитя,
дух молока и яблока под царским горностаем,
иной природы, нежели кузены и братья:

из шелка и фарфора его состав изваян,
на сотню дней рассчитан двойного бытия,
волной воздушной сплюснут, небесным верен стаям —
а дышит тем, что выдохнут иных природ тела.

И, к ним мало-помалу клонясь, приноровляясь,
дней за сто постигает, что этих тел любовь,
хоть не сравнима с тамошней, не к месту и не в радость,
но не *за так* им, грубым, дается, а за боль.

Ну что ж, любовь убога, но и за ту спасибо —
жить — это жить, таращась, а не в цветах бродя.
Тем более что что там? лицо? — оно красиво.
Ну что ж, давайте пробовать, кузены и братья!

И ты оттуда тоже, творенье Божье Соня:
еще курится ладан и мак вокруг тебя,
еще ты засыпаешь при звездах и при солнце,
но спишь уже по-нашему — вздыхая и сопя.

Здесь все не так. Все тянет обратно, тянет в лоно —
Эдема, Авраама, долины, где цвело,
на поле, где сияло, где жило до излома,
который сердце вылушил и чистое чело.

Откуда же ты, Софья? Чего меня лишает
твое забвенье? Или хоть малого стебля
еще ты помнишь ласку, хоть очерк тех лужаек?
А то с чего гляжу я с восторгом на тебя?!

Софье два с половиной

Зачехлив инстинкт, жизнь пошла на нерве,
все чистоголосей, все пышноволосей,
трепеща, как яхта перед спуском с верфи,—
и все чаще Соню звать охота Зосей:

шаг — как лепет светский, лепет — как купанье
ню; размыта родина, в фокусе Варшава;
у ясновельможной ясноглазой пани
даже и младенчество в меру моложаво.

Я был тоже молод, Софья, ах, как молод! —
как бывает шляхта раз в столетье в Польше.
Жаль, уж не мурлычет твой роток, а молвит,
но и молвь — музыка, помни же и пой же.

Когда восемнадцать, когда двадцать минет,
вдруг мотив привяжется, вальс знакомо нервный,
и инстинкт из груди ту пластинку вынет,
сталью игл изрытую, шарма звук неверный.

Ах, какая прелесть этот хрупкий гонор,
этот зной манеры, все которым грелись!
Гордая ли слабость — ваш смертельный номер?
Нежная ли гордость — эта наша прелесть!

Так давай же вместе ножкой, Соня, топнем
и заплачем вместе, чтоб к тебе вернулось
то, что между «знаем» прожито и «помним»,
то, что, хочешь, мудрость будет, хочешь, юность.

1/13 сентября

Ветер клюнул верхи берез,
лес качнулся, хоть был тверез,
стог качнулся, стол простора качнулся.
Лугу шмель прогудел: «Мон шер,
ветер — лишь весы атмосфер...» —
и заткнулся. И круг года замкнулся.

У природы — один прием:
завернуться вновь в эмбрион,
спрятать в зерна то, что было просторно.
Дунул ветер, и со стола

осень скатерть сняла и все крошки смела
в войлок дерна. Догола — а не порно!

Крылья таза и руль ключиц
продолжают нас жить учить,
но вульгарно — да, мон пти? — без шарма.
А кишочки и слизь зато
поджимаются влезть в пальто
карапуза — не в шинель командарма:

костный остов. В зазор вползла
белоснежная туча зла,
вся амфир из каверн, из гармошек модерн,
вся из впадин, из ссадин-примочек.
Так что, маршал, пардон, малыш,
курс с нуля начинается, слышь?
Чмокай, хлюпай, икай — глядишь,
и не хочешь, а к концу забормочешь.

Речь — лишь голос плюс кислород,
вещь — лишь колос, но прежде рост,
срок для вещи — то, что время для речи.
Чтоб наполнить,
годовой курс
должен сам становиться пуст,
зреть, как печень, распрямляться, как плечи.

* * *

Воду брал на восьмом году
в полынье. Ну-ка: в горку, по льду
да с ведром — а? А вот иду —
шмыг в чулан и дверь на щеколду.

Воздух брал... Стало быть, Урал,
если сливочный, ломтем, воздух
я губой, как теленок, брал
с белоснежных холмов бесхозных.

И так далее. Брал огонь
из печи — чтобы тень плясала.
Землю, ту — как не брать ногой
с ходу, лучше когда босая.

— Эй, опомнись. В тот год война
мир стихий превратила в схему,
вещи — списками, имена —
по алфавиту — в дым и землю.

— Пусть. Но пуп-то земли — дитя:
перед ним золотится прорубь
чашей огненного питья;
счастье бьется в окно, как голубь;

Бог над ним облака пасет.
Между «быть» и «жить» перепонка
тех спасет, кого Бог спасет.
Я — из тех. Бог спасет ребенка.

* * *

О. Димитрию

В лучшей части души, то есть в части, пустой
от чудных интересов и нервного чувства,
к чистой жизни он был предназначен, к святой,
то есть к знанью, сомненью которому чуждо.

В остальной же, больной, худшей части души,
мимолетными фактами мира набитой,
он любил запах сена и даже духи,
то есть мир, но как будто немного забытый,

то есть русские книги, где косят луга,
и немецкий концерт со щеглом и гобоем,

и парижскую живопись, скажем, Дега.
О, как слушал, смотрел, как читал он запоем!

Что ж худого? А то, что — не лучшая часть.
Что, душой от кромешного воя и стужи
отходя, лучшей части он здесь и сейчас
жить мешал, чтобы худшей не сделалось хуже.

Зла, однако, не вспомнит, спасаясь, душа:
худшей частью шепнет неуверенно: «Боже?...» —
и, на выходе свет за собою туша,
лучшей частью поймет и утешит: «Похоже».

Луг

Грише

Конский щавель и пастушечья сумка —
майские, а не в гербарийной папке —
учат меня, знатока-недоумка,
сколь нас древнее гусиные лапки.

Череп этруска, равно как и вилла,
лапками сплошь по фасаду, не лавром,
татуированы. Медь хлорофилла
выцвела в мраморном плаче по храбрым,

но эпитафия справа налево
тем, чья дралась до последнего рота,
переплетает края барельефа
гусьими плюснами знатного рода.

Даль расстоянья, времени скорость —
где они? если до Твери от Рима
Rumex confertus, Bursa pastoris
чтут Potentilla L. anserina.

Простонародье — аристократов
чтит не без гордости в каждом потомке,
бледные корни под слякотью спрятав,
выставив сизый узор на котомках.

Притча о неблудном сыне

Н. С.

Жизнь — это зеркало с отраженьем кого-то,
кем ты не стал, а мог бы, ну, скажем, вбра
или танцора, взявшего твои черты,
твой негатив: ты — анти-он, он — анти-ты.

Он — кем хотел, тем был. Ты хотел быть добрым,
между «нельзя» и «можно» занявшись торгом.
Он же пустился во вся, чуть не спился,
жизнь промотал — «если можно, зачем нельзя?».

Зеркало это — наследство от отчего брака
сыну неблудному с внешностью блудного брата,
чтоб доказать ваше тождество, а не родство.
Не обижайся, что ты не счастливей его.

Не обижайся — зеркало. И не отчайся:
счастье — всегда не твое; твое же счастье —
зрение, нервный к хребту от хрусталика путь,
не на себя реакция, а на ртуть.

Жизнь — это счастье видеть стекло согретым
кровью, дыханьем, просто — внезапным портретом
отца — сквозь линзы влаги, омывшей глаза,
не узнавая его двоящегося лица.

Из рецептов сна

*...by a sleep to say we end
The heart — ache and the thousand natural shocks...**
Hamlet, act III

С сердцебиеньем проснешься под утро — сразу отпей
из чашки, поставленной с вечера в изголовье;
беззлобно в вороний кашель и оттепельную капель
вдышишь, как в ритм, еще не увязший, по счастью, в слове.

А если вчерашний день или близкий друг
придут на память, подумай: «Господи Иисусе»,
и снова: «Господи», и ни на шаг за круг
выдохов этих, вдохов, повторов, глотков не суйся.

В конце концов сердцебиенье — всего лишь дубль
неудающихся сцен, сцен торжества и неги.
Руку на грудь, влаги еще пригубь,
и, чуть не забыл, все это время — сомкнуты веки.

На воду и воздух минимум мышц потратить,
минимум мозга на мысль, ибо ночь — охрана
от жизни. Пить, дышать, повторять —
да. А жизнь, как кадр со слепого экрана,

пусть на глазное плоско ложится дно —
кадр из фильма, в котором так и не снялся,—
бестелесней чайники и перышка, как на сукно
чистое, вверх картинкой, карта пасьянса.

* * *

Все те же двести или сто
стишков, как нам оставил Тютчев,
неважно, все равно про что,
не обязательно чтоб лучших;

свод околичных формул, чей
знал Ходасевич нервный трепет,
невзрачней детских куличей,
какие вдоль песочниц лепят;

колонн руины на плато,
где шли перед царем спектакли,

которых текст писал Никто,
рыдая,— Анненский, не так ли?..

Подбор свидетельств о писце,
не бронзы, а графита хрупче,
крошащегося на конце
карандаша над спорной купчей,—

короче, двести — или сто-
страничное в чужом конверте
тебе, не то твое письмо
о климате, любви и смерти.



* ... Сном, скажем так, мы приканчиваем
Сердечную боль и тысячу естественных ударов...

Три рассказа

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Много раз впоследствии Нина Николаевна пыталась вспомнить, что же так беспокоило ее в тот день, когда случилось несчастье, изменившее ее жизнь. Звуки? Краски? Запахи? Это было последнее воскресенье сентября, когда надо было переводить часы на зимнее время. Чтобы дотянуться до часов, ей пришлось встать на придвинутый к стене стул. Покачнувшись, она чуть не смахнула на пол висевшую рядом с часами акварель — река, отлогие холмы, бледно-желтые перелески, — которая была подписана инициалами П. Р.: Павел Рассадин, ее покойный муж, был живописцем-любителем.

Неяркое осеннее солнце замерло над верхушками облетевших тополей, над тремя черными трубами какого-то заводика, окруженного многоэтажными серыми домами. Обычно эти уродливые трубы раздражали ее, но в тот день даже они не могли испортить «пейзаж ее души», как с пафосом называл это ее муж. Он был склонен к банальной сентенциозности, которую принимал за философию. «Человек — перекресток времени и вечности, — говорил он, — и, как на всяком перекрестке, он может ошибиться путем».

«Еще осень, а время уже зимнее, — подумала Нина Николаевна. — Еще, уже...»

Она попросила сына принести из кухни тряпочку — стереть пыль с верхней крышки часов, и мальчик, перешагнув через свернутый в трубку ковер (в квартире завершался ремонт), скрылся за дверью. Именно в этот миг ощущение тревоги усилилось, вспоминала потом Нина Николаевна. Так и не дождавшись сына, не откликнувшегося на зов, она соскочила со стула и выглянула в прихожую. Кости не было. В кухне же на полу лежал старик в клетчатой рубашке, босой, с прижатыми к лицу ладонями. Нина Николаевна с перепугу метнулась в комнату, принялась дрожащей рукой набирать номер, но тотчас отшвырнула телефонную трубку и бросилась в ванную. Потом в спальню. Кости не было. Он не мог незаметно покинуть квартиру: входная дверь была загорожена отодвинутым на время ремонта платяным шкафом. Окна закрыты. Она выбежала на балкон, и тихое угасание теплого сентябрьского дня с его неподвижным неярким солнцем, голыми тополями и разлитой в воздухе истомой поразило ее, как самый дикий, нелепый, страшный кошмар. Она вдруг поняла, что от этого ощущения ей не отделаться всю жизнь, и закричала...

Рассказывая милиционерам об исчезновении сына, она то и дело ловила себя на мысли, что вся эта история попросту неправдоподобна, и мучилась, едва удерживаясь от срыва в истерику. Следователь пытался успокоить ее. Она показала, где находилась в тот миг, когда Костя покинул комнату. Подтвердила, что не слышала никаких подозрительных звуков. И не знала и никогда не видела этого странного босого старика, каким-то загадочным образом оказавшегося в ее квартире. Не мог же он влезть или взлететь на шестой этаж... Прилететь, чтобы умереть в ее кухне? Абсурд.

Опросы соседей тоже ничего не дали. Никто не знал старика. Никто не видел и мальчика, который неизвестно каким путем покинул квартиру. Он просто не мог ее покинуть, да еще ни с того ни с сего. Обследовав каждый квадратный сантиметр жилья, сыщики развели руками. Судя по всему, получалось, что мальчик исчез на пути из гостиной в кухню. Эти одиннадцать шагов стали для

Кости и его матери роковыми. И спустя годы она иногда безотчетно начинала считать шаги от порога гостиной до порога кухни. Одиннадцать. Всегда одиннадцать. В этой банальности было что-то непостижимо злое. Куда, как пропал мальчик? Ни стены, ни люди не могли ответить на этот вопрос.

Когда Нина Николаевна немного успокоилась, она вспомнила и сообщила следователю о куске сыра, оставленном на столе в кухне. Она вынула его из холодильника к обеду. Сыр пролежал на столе не больше полутора часов, но за это время превратился в клубок пахнущих сыром червей.

Врачи установили, что смерть старика вызвана естественными причинами — сердце, годы, и Нина Николаевна заметила, как облегченно вздохнул следователь с забавной фамилией Ледюк. Однажды он с юмором рассказал ей о своих предках, французских монархистах, осевших в России в 1801 году, постепенно обедневших и сменивших претенциозное имя Ле Дюк на вполне простецкое хохлацкое Ледюк. Сергей Михайлович не скрывал радости, когда выяснилось, что Нина Николаевна не имеет никакого отношения к кончине незнакомца.

Старика, зарегистрированного под номером Е-66, похоронили за казенный счет. Спустя несколько месяцев Нина Николаевна попросила Ледюка выяснить, на каком кладбище упокоился прах старика, и установила скромное надгробие с номером. Теперь у нее было место, куда она могла прийти и положить осенние цветы.

Через несколько лет Нина Николаевна перестала вздрагивать, завидев в толпе мальчика с желтоватой челкой и рыжим колечком на затылке. В последнее воскресенье сентября она отправлялась «к Косте» — на кладбище, где под плитой с номером Е-66 лежал незнакомый старик, словно бы ставший ее сыном. Она думала о страшном разломе, вдруг возникшем на стыке времени и вечности, куда, возможно, и провалился ее сын, вернувшийся семидесятилетним стариком в клетчатой рубашке, босым, с прижатыми к лицу ладонями. Эта глупая фантазия утешала ее. На кладбище она проводила час-полтора. Ледюк ждал ее в машине у ворот. Иногда она, внезапно спохватившись, вскакивала и растерянно оглядывалась, будучи не в силах понять, отчего ей стало вдруг так тревожно. Пожелтевшие деревья, светлые коробки домов вдали, голубая небесная твердь и неяркое сентябрьское солнце лишь возвращали ее к мысли о том, что между временем и вечностью всего одиннадцать шагов, то есть ничего, и эта банальная и явно ошибочная мысль странным образом примиряла ее с жизнью — столь же безразличной, как и смерть.

САН-МАДРИКО

Никогда не забыть мне Сан-Мадрико. Никогда не забыть мне и тот февральский двор, плохо оштукатуренные стены в пятнах сырости, сугробы грязного рыхлого снега, между которыми жильцы протоптали тропинки — от арки подворотни они четырьмя ледяными ленточками вели к высоким цементным ступенькам, к скрипучим дверям, в которых стекла давным-давно были заменены картонками, а одна дорожка, самая широкая и грязная, обрывалась у засыпанной мелким шлаком лестницы в подвал. У входа в котельную на осклизлой скамейке, скрестив ноги в обрезках резиновых сапог, сидел человек в сером ватнике и захватанной шапке-кубанке, с лицом равнодушным, одутловатым, всегда обметанным многодневной щетиной. Оживлялся он лишь при виде кого-нибудь из своих клиентов (он никогда не называл их друзьями или хотя бы приятелями) с бутылкой дешевого вина или флаконом одеколона в кармане. Однажды — уже не помню, по какому поводу, да это и не важно, — я спустился за ним в подвал, беленые стены которого были покрыты дрожащими от текущего жара махрами угольной пыли, поднялся на три ступеньки рядом с котлом и очутился в комнатенке, где умещались два табурета, узкий шаткий столик под клеенкой, железная кровать, застеленная суконным одеялом, и кокетливый желтый двустворчатый шкаф, на котором сохранилась почти вся лакировка. Кочегар угостил меня чаем из «чистого» стакана (от второго резко пахло одеколоном) и рассказал историю своей жизни. По его словам, когда-то он был штурманом на рыболовном судне, потом за пьянство был списан на берег, переменял несколько мест работы, потерял семью и вот уже несколько лет ко-

чегарил в нашем городке. Здесь-то он и получил кличку «Сан-Мадрико» — по названию острова, на котором однажды ему довелось побывать и о котором он норовил рассказать каждому встречному-поперечному: то была земля обетованная, населенная прекрасными мужчинами и женщинами, не знавшими ни детства, ни старости, ни власти условностей. То была Утопия, Золотой Век, Ореховая Гора, Беловодье, и понятно, что такие рассказы создали их автору вполне определенную репутацию. Надо ли говорить, что ни в одном географическом атласе, даже в самом фантастическом, острова Сан-Мадрико не было. И я не преминул намекнуть на это кочегару, стараясь выбирать выражения по деликатнее.

— Атласы! — усмехнулся он. — С таким же успехом можно искать Сан-Мадрико на игральных картах.

Впрочем, добавил он после непродолжительного раздумья, он готов показать мне это чудо, если я не поспею на бутылку вина.

— Что подешевле, — торопливо уточнил он.

До сих пор не пойму, что заставило меня согласиться на это дурацкое, идиотское предложение типичного алкоголика. Ну да ладно, вино было куплено и выпито, после чего кочегар повел меня во двор, под арку. Я брел за ним как во сне. На миг мне показалось, что жильцы нашего дома, и без того считавшие меня слегка чокнутым, глазеют на нас изо всех окон и потешаются, — что же, на этот раз у них было достаточно оснований. Внезапно я содрогнулся: это Сан-Мадрико взял меня за руку и велел встать рядом с ним на плоский синий камень. Я повиновался, ясно сознавая, что схожу с ума. Проходившая мимо красивая женщина на высоких тонких ногах смерила нас презрительным взглядом и громко прошептала что-то вроде: «Надо же так опуститься». Не обратив на нее внимания, кочегар приказал мне смотреть в центр намалеванного мелом на стене треугольника с претензией на равносторонность, и я послушно устоялся на щербинку, обозначающую этот самый центр.

— Вообще-то лучше это делать ночью, — пробормотал искуситель, — когда все дрыхнут, а оттуда светит фонарь.

Он мотнул головой в сторону улицы.

Не знаю, сколько длилось ожидание — скорее всего минуты полторы-две, — но за это короткое время я успел перечувствовать ненависть, злобу, отчаяние, презрение — прежде всего к себе. И вдруг все оборвалось: я увидел. Перед мной была узкая комнатка с высоким потолком. За попитром у стрельчатого окна стоял невысокий человек в сером балахоне с откиннутым на спину капюшоном. Его лицо, освещенное ярким (я и не предполагал, что оно может быть столь ярким) пламенем свечи, показалось мне знакомым. Взяв палочку, он опустил ее в пузатый металлический сосуд и стал быстро писать на большом листе бумаги, бормоча при этом что-то себе под нос. Мне почудилось, что в этом бормотании есть какой-то ритм. В тот же миг видение исчезло. Я стоял в грязной, продуваемой ледяным ветром подворотне, держа за руку Сан-Мадрико, на лице которого застыла смутная полуулыбка.

— Это чудо, — прошептал я, даже не задумываясь о том, что изрекаю банальности.

— Да, — тотчас откликнулся кочегар. — Только я не заставлял бы ее обуваться: без сандалий ее ноги гораздо красивее.

Во дворе мы молча расстались.

Поднявшись к себе, я бросился на диван и уснул. Сон мой был ярок и стремителен, но, проснувшись, я не смог вспомнить ничего, кроме слова «одинадцатисложник». Позже, за ужином в душном кафетерии, вяло поглощая подгоревшие оладьи с лимонно-кислой сметаной, я вдруг сообразил: привидевшийся мне человек бормотал в ритме одинадцатисложника. Это мог быть и Данте, и Симеон Полоцкий... Я задрожал: мне вдруг с необыкновенной силой захотелось вновь пережить приключение в подворотне.

Сан-Мадрико я нашел в обществе двух «клиентов», невозмутимо потягивавших какую-то зеленую жидкость. Хозяин спал, сидя на табурете. Забулдыги уверили меня, что будить его сейчас бессмысленно.

— На остров хочешь поглядеть? — снисходительно поинтересовался один из «клиентов». — Кому чертей, кому остров подавай...

Я довольно подло подхихикнул забулдыгам и поскорее ретировался: отчего-то мне стало невыносимо стыдно за себя, невыносимо обидно, что эти личности оказались причастны к чуду. Ругательски ругая себя романтиком (а в те годы я не знал клички обиднее), я убрался домой и до утра промучился над одной страничкой рассказа, который никак не давался, но, так ничего и не вымучив, все бросил, кое-как перекусил и отправился на службу. Весь день у меня болела голова, читатели не вызывали никакого чувства, кроме раздражения. Даже самый вид стройных рядов книг, обычно действующий на меня умиротворяюще, теперь доводил до бешенства. В тот день я пережил что-то вроде прозрения, какое, вероятно, рано или поздно переживает всякий библиофил: я понял, что книги лгут.

Несколько дней я не видел Сан-Мадрико, и острота впечатления от встречи с чудом пропала. Во мне вновь пробудилась спасительная ирония. Я уже мог думать о том «чуде» только как о внезапном помрачении рассудка, что при моем отвращении к алкоголю и склонности к визионерству было вовсе не удивительно. Мне было стыдно, что я поддался чарам некоего романтического мифа. Рассказ мой пошел веселее.

Но в тот день, когда Сан-Мадрико, вновь занявший свое место на осклизлой скамейке, опять предложил мне «поглазеть на треугольник», я тотчас, без раздумий и колебаний, согласился. Меня даже не покорила его грубость, когда в награду за «угощение» он потребовал бутылку вина. На этот раз я воздержался от спиртного, чтобы потом не упрекать себя за то, что искусственно подогрел воображение.

Поставив меня на синий плоский камень, Сан-Мадрико предупредил:

— И не двигайся отсюда, а то как бы чего не вышло.

— Что?

— Мало ли,— уклончиво ответил он, но не выдержал и пояснил: — Можно туда провалиться. У меня такое раз случилось. Попал в хорошую компанию, выпили, а потом оказалось, что все они приговорены к повешению. Еле выбрался оттуда.— Видимо, почувствовав, что я не очень-то ему верю, он стал словоохотливее: — Потом я еще раза два-три пробовал, хоть и боязно. Надо только не забыть, как стоял перед тем, как туда попасть.

— Как стоял?

Но ничего более вразумительного он сказать не смог, запутался вконец и велел мне молчать. Наконец я увидел угол зала, освещенный камином, перед которым спиной ко мне сидели два человека в высоких париках. Один из них слегка наклонился к собеседнику и проговорил:

— Поскольку знание и разум суть не что иное в нас, как смятение ума, прошедшего в волнение под воздействием внешних вещей на наши органы чувств, не следует воображать, будто нечто подобное присуще и Богу, ибо все это вещи, зависимые от естественных причин.

Его собеседник возразил мягким, приятным голосом:

— Это обвинение представляется мне несколько поспешным и изложенным в чересчур сильных выражениях.

На том все и кончилось, оборвалось, но на какое-то мгновение мне почувдилось, будто я ощутил тепло от камина. Вернувшись домой, я долго размышлял об увиденном и услышанном, но только сейчас, много лет спустя, да и то случайно, обнаружил, что услышанное тогда — целиком, до слова — цитата из трактата Болингброка «О природе, пределах и подлинной сущности человеческих знаний», где он, в свою очередь, цитирует Гоббса.

В тот раз Сан-Мадрико на вопрос, кто бы могли быть эти двое, сурово отрезал:

— Мерзавцы! И оба его предали.— Смягчившись, предложил: — Можешь приходить когда угодно, если захочешь посмотреть. Только не забывай...— И выразительным в своей вульгарности жестом щелкнул пальцем по кадыку.

С того дня и пошло. Вместе с Сан-Мадрико я побывал, сам того, конечно, не ожидая, в Боголюбове сразу после убийства князя Андрея Юрьевича, видел княгиню Улиту, вдруг осознавшую, что она приговорена к смерти; в чьем-то детстве рядом с собакой и тряпичной куклой без левой руки; на острове Сан-Мадрико, где впервые попробовал кислотатый непентес; с очень большого расстояния видел крушение поезда в Андах, за которым с другого склона горы на-

блюдали объятые ужасом Ло Гуаньчжун, Николай Васильевич Гоголь и Подруга французского лейтенанта; при расстреле сандинистов в Никарагуа меня рикошетом задела пуля, и в то же самое место угодила стрела лисовичка где-то неподалеку от Лютцена; в битве на Альте я едва спасся от Ярославых варягов; испытал арзамасский ужас в одном незавершенном фрагменте Льва Толстого; был жгучей истиной в трактате Феодора Мопсуэстийского, где он неопровержимо доказывает, что мир есть рассеченный по оси цилиндр, следовательно, в основании этого мира лежит плоский четырехугольник, длина которого больше ширины; родился из уха, чтобы стать двенадцатью птицами; был тем, кого страж уводил из судилища князя Эмма туда, где в направлении Пса и Вепря виднеется пылающее пламя; стекал многими каплями алыми с клинка Эйольва... Я был все, всем и всюду — проще сказать так, если бы это, по мнению Эмерсона, не означало — ничем; я был средостением между ничем и всем. Иногда мне казалось, что мне под силу воздействовать на происходящие там события, — кажется, мне удалось спасти от разорения, бесчестия и гибели одного любвеобильного китайца и одну или двух его жен, прекрасных, как нефритовые вазы, — впрочем, это мог быть самообман.

Сан-Мадрико не скрывал, что считает мое поведение предосудительным: по его мнению, я слишком часто «влезал туда». Но мне тогда было не до его попреков, будь он хоть тысячу раз прав. Я забросил все, ничего не писал (писать после Сан-Мадрико? Шутите!), к служебным обязанностям относился так, что заслужил выговор от директрисы, но что значил выговор в сравнении с неожиданным путешествием в Дуинский замок или даже возможностью побыть звенящими стрелами в колчане гомеровского героя?

Отрезвил меня случай — каким-то образом я сумел выделить его из той череды случайностей, в которую превратилась тогда моя жизнь. Однажды во время очередного «сеанса» я увидел наш двор. В первое мгновение я решил, что иссякла магия треугольника, но не успел испугаться, как понял, что ошибся. По двору пробежала женщина. Я узнал ее, хотя и видел лишь однажды: это была та красавица на высоких тонких ногах, которая одарила нас презрением накануне первого «сеанса». Ведет она себя странно. То и дело оглядываясь, спускается в кочегарку. Через несколько минут во дворе появляется мужчина с мотоциклетным шлемом в руках. Он в растерянности, не знает, куда идти. Он ищет женщину, думаю я, значит, ему нужно в кочегарку. Словно услышав подсказку, он бросается вниз по лестнице. Я следую за ним — ну, может, чуть впереди. Женщина в знакомой узкой комнатке на кровати, застеленной грубым суконным одеялом. Она полулежит; она полураздета; она страшно взволнована и чего-то ждет. Прижавшись спиной к желтому шкафу, Сан-Мадрико пытается что-то ей втолковать. Он явно ошарашен. Наверное, я ослышался: он называет ее любимой. Когда в комнатку врывается мужчина с мотоциклетным шлемом, женщина облегчено вздыхает: видимо, его-то она и ждала, хотя ни мотоциклист, ни Сан-Мадрико об этом даже не догадываются. Ах, стерва! Я не прислушиваюсь к их разговору: мне это неинтересно. Пора кончать. Мотоциклист хватается за руку и рывком поднимает с кровати. Криво улыбаясь, она следует за ним. Спустившись к котлу, мотоциклист принимается застегивать одежду на женщине. Она резко отталкивает его — он падает на Сан-Мадрико, толкая его на пожарный щит. Щит. И вот двое разъяренных мужчин друг против друга. В руках у них... Что у них в руках? У Сан-Мадрико, пожалуй, лом. У его противника топор. Грубые и жестокие орудия. Итак, Сан-Мадрико хватается за лом, мотоциклист срывает со щита топор. По лицу кочегара течет кровь: он ударился виском об угол щита. Он пьян; он и наносит первый удар — женщине. Он гоняется за нею по всему подвалу и грозит убить. Спасая женщину, мотоциклист что было силы бросает топор в кочегару. Боже, какая неосмотрительность! Однако топор сбивает кочегара с ног. Он падает затылком на стальную закраину колодца. Он недвижим; он мертв. Несколько мгновений мотоциклист и женщина неподвижны; они в растерянности. Первым приходит в себя мужчина. Он аккуратно вешает на место топор и лом, приносит со склада два ведра угля, одно ставит у топки, другое опрокидывает возле тела. Женщина наблюдает за его действиями. Судя по всему, ей по душе активность мотоциклиста. Она не без удовольствия подчиняется его приказаниям. Они покидают котельную.

— Любопытно, — бормочу я, когда «сеанс» заканчивается.

— Зачем так-то? — спрашивает в пустоту Сан-Мадрико. — Навязался этот треугольник на мою шею...

Дома я с раздражением подумал о несправедливости судьбы, подарившей этому мерзкому, опустившемуся пьянице возможность распоряжаться чудом, возможностью, которую он даже не в состоянии по достоинству оценить. Мечту тысяч людей всех времен — вот этому пьяненькому, слабенькому, соромненькому? Почему? Случайность? Или потому, что он пьяненький, слабенький, соромненький? Будь это волшебная палочка, я просто-напросто обменял бы ее на пару-тройку бутылок вина... Да что! Я бы отдал все, чем владею. Наверное, я бы даже пошел ради этого на преступление. Не знаю... Но чудом должен владеть не такой человек. Если бы это чудо можно было взять, потрогать, завладеть... Я взялся за какую-то книгу, валявшуюся на столе. «Братья Карамазовы», третье свидание Ивана Федоровича со Смердяковым, — нет, не читается.

Я включил свет и посмотрел на себя в зеркало: я не узнал себя.

Несколько дней я не видел Сан-Мадрико — говорили, что он приболел. Вечером в субботу ребяташки играли на раскисшем снегу в футбол, гоня вместо мяча помятый мотоциклетный шлем. Кто-то сильным ударом забросил его в подвал. Спустившись в кочегарку, нашли Сан-Мадрико, который лежал у стены под раструбом вентилятора. Будучи сильно пьян, он, по всей видимости, споткнулся о валявшуюся на полу кочергу и со всего маху ударился лбом о вентиль на водопроводной трубе, уронив ведро с углем. При обследовании на затылке была обнаружена довольно глубокая рана, но, по утверждению врача, не она послужила причиной смерти. Кочегара похоронили, и только тогда все узнали его настоящее имя. Но я запомнил его как Сан-Мадрико.

Много раз после этого я пытался увидеть чудо в подворотне, много раз и подолгу стайвал на том плоском синем камне и таранился на щербинку в центре равностороннего треугольника, небрежно намалеванного мелом на стене, но безрезультатно. Со смертью Сан-Мадрико чудо перестало существовать.

Я не смог вернуться к своим прежним занятиям: рассказы, над которыми я так долго бился, полетели в печку — иногда я об этом жалею, но все реже. Я пытался восстановить в памяти и запечатлеть на бумаге все то, что видел, что пережил в подворотне, воссоздать Сан-Мадрико — в мельчайших деталях, с достоверностью, соперничающей с самой реальностью, — и не мог. Не могу. Запечатлеть чудо — не значит ли это сотворить чудо? И все же я пытаюсь достигнуть совершенства, какого только способен достигнуть небесмертный человек, быть может, движимый раскаянием, быть может, лишь затем, чтобы вновь пережить то волнение, тот восторг, то ощущение полноты бытия, которые однажды мне дано было пережить, — стремлюсь и не достигаю и знаю, что буду стремиться, хотя знаю, что никогда не достигну, и нет муки сладостнее и безысходнее — не будучи в силах вспомнить, никогда не забывать Сан-Мадрико...

С ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ

Прислонившись к фонарному столбу на платформе пригородной электрорички, Виталий Никитич Горностаев поживался от холода и с тоской думал о предстоящем унылом пути домой. От дрянной сигареты во рту было горько. Из-за блестящих под дождем деревьев доносилась однообразная громкая музыка: там расплывался разноцветными цирковыми огоньками рынок с его киосками, лотками и простуженными старухами, торговавшими фальшивой водкой и американскими сигаретами из Самары.

К сорока семи годам Виталий Никитич обзавелся колитом, пережил несколько удручающе пошлых и скучных любовных интрижек и утратил последние остатки безотчетного оптимизма, который некогда позволял просто махать рукой на житейские невзгоды. Преподавательская работа в техникуме приносила все меньше денег и удовлетворения. Жена все чаще тайком поплакивала на кухне. Дочь вышла замуж за квелого человека, о котором только и можно было сказать, что он пока не помер. Иногда Горностаеву удавалось выпить на дармовщинку с коллегами, но и алкоголь уже давно не приносил чаемого облегчения.

До электрички оставалось не больше пяти минут, когда к Виталию Никитичу подошел молодой человек в длинном сером плаще и сунул листовку с черным словом «Работа». Горностаев усмехнулся: он и сам то и дело принимался за поиски приработка, но все попытки завершились пшиком.

— И что это? — все же спросил он, делая последнюю затяжку и морщась от усилившейся горечи во рту. — Рай?

Молодой человек засмеялся.

— Да не рай, конечно, но попробуйте, а вдруг? Для начала кладут долларов пятьсот в месяц, а там... Позвоните, там указан телефон.

Подошла электричка. Молодой человек изобразил американскую улыбку на непривычном к улыбке русском широком лице. Слегка растерявшийся Горностаев быстро прошел в вагон и сел у окна. Посмотрел на бумажку. Под аббревиатурой «ГОД» несколько телефонных номеров. Сколько же эти молодые люди раздают таких листовок? Тысячи, десятки тысяч... А пятьсот долларов в месяц помогли бы решить если и не все, то большинство проблем Горностаева. По московским меркам неплохие деньги. Значит, тебе их не видать, как своих ушей, с привычной грустью заключил Виталий Никитич.

Он ничего не стал говорить жене и вскоре забыл о фирме «ГОД». Однако спустя несколько месяцев случайно наткнулся на скомканную листовку и вдруг решительно взялся за телефон. Черт побери, в конце концов нужно использовать любой шанс!

Ответ удивил: его ждали.

— Именно меня? — не без иронии переспросил он.

— Именно вас, — в тон ему ответила женщина на другом конце провода.

На следующий день, сказавшись в техникуме больным, Виталий Никитич отправился по указанному адресу. Его заранее предупредили, что на дверях фирмы никакой вывески не будет. «И пусть вас не пугает непрезентабельный внешний вид нашего офиса, — добавила женщина, с которой он разговаривал по телефону. — У нас свой стиль...» Стиль этот смутил и насторожил Виталия Никитича. Еще бы: обшарпанное трехэтажное строение с окнами только на третьем этаже, с покосившейся дощатой входной дверью, исписанной матерной бранью. За дверью тянулся плохо освещенный грязный коридор. Горностаев остановился, увидев валявшуюся на полу дохлую крысу, и понял, что его дешево разыграли.

— Виталий Никитич? — услышал он голос за спиной.

Перед ним стояла, покачиваясь на высоченных каблуках, красивая молодая женщина. Он молча протянул ей листовку. Она кивнула и, взяв Горностаева за руку, как ребенка, повела в конец коридора. От нее волнующе пахло.

Толкнув дверь, которую Виталий Никитич сразу и не разглядел, они оказались в большой и не очень чистой, но обыкновенной комнате с рабочими столами, длинношеими лампами и пластмассовыми стульями, какие вытаскивают на тротуары в летних кафешках. Навстречу им выбежал лысый коротышка в зеленом пиджаке. Едва поздоровавшись, он увлек Виталия Никитича в следующую дверь, которая вела в большой зал с высоким — в три этажа — потолком. Из стены напротив лестницы примерно на метр выступал цилиндр, в центре которого торчала рукоятка — большая, с рубчатой металлической ручкой. Под потолком тускло горели три забранные сеткой лампы. Больше в зале ничего не было.

Они спустились по железной лестнице к цилиндру, и коротышка в зеленом пиджаке подвел Виталия Никитича к рукоятке.

— Вот ваша работа, — со значительным видом произнес он. — Четыре часа в день. Через каждые полчаса пятиминутный перекур.

— Да-да... Но что именно я должен делать?

— Крутить ручку, — ласково улыбнулся коротышка. — С четырнадцати до восемнадцати часов. Исключая субботы и воскресенья. Впрочем, иногда мы вызываем работника, если возникают нештатные ситуации.

Виталий Никитич перевел взгляд с рукоятки на коротышку и тупо переспросил:

— Нештатные ситуации?

— Всяко бывает... Пожалуйста!

Коротышка радушным жестом предложил Горностаеву попробовать покрутить ручку. Еще раз окинув взглядом унылое помещение, где ничто не свидетельствовало о возможных нештатных ситуациях, Виталий Никитич взялся за ручку и не без труда привел ее в движение. Внутри цилиндра заскрежетали шестерни. Лицо Горностаева вытянулось. «Меня дурят, — подумал он в отчаянии, — и зачем я здесь время трачу попусту?»

— Пятьсот долларов, — сказал коротышка. — Осталось заполнить анкету и подписать контракт. Вам поможет Леночка.

Красивая молодая женщина ждала его в маленькой комнатке, примыкавшей к рабочему кабинету, где проводил время коротышка в зеленом пиджаке. Мило улыбаясь, она под села к Виталию Никитичу, чтобы помочь ему разобраться с бумагами. У нее были теплые зеленоватые глаза и сочные губы. Пока Горностаев скрипел пером, которое приходилось то и дело макать в чернильницу, она как ни в чем не бывало подтягивала чулки на своих красивых плавных ногах, прижималась к нему грудью и словно ненароком касалась руками. Виталий Никитич вспотел. Дверь в соседнее помещение оставалась приоткрытой, и со своего места Горностаев видел склоненную над столом башку коротышки. Едва он поставил последнюю подпись, как женщина с тихим стоном привлекла его к себе. В комнатке не было ни дивана, ни вообще места, где могла бы лечь женщина с голой задницей, — им пришлось устроиться на заплыванном полу. Виталий Никитич торопливо овладел женщиной, поглядывая на сопевшего в двух шагах от них коротышку. Леночка проводила его к выходу. В полутемном коридоре они долго и с удовольствием целовались. Внезапно Горностаев наступил ногой на что-то мягкое и вспомнил о дохлой крысе. Женщина засмеялась, не открывая рта, и отшвырнула крысу носком изящной туфельки.

По дороге домой ошеломленный Горностаев думал только о том, что с ним случилось. Станный офис, странный коротышка в зеленом пиджаке, ручкоятка, восхитительная женщина в рекламных трусиках... У жены его такого белья никогда не было, да и ей оно как корове седло. Снова и снова проверял, на месте ли стодолларовая купюра, полученная в виде аванса, и воображал, как обрадуется жена, которая прошлой ночью опять плакала в кухне, таясь от мужа. Смущала лишь кажущаяся бессмысленность работы, которую ему предстояло выполнять — из контракта он так ничего и не понял, — но в конце концов, философски резюмировал Виталий Никитич, все крутят ручку...

Обсудив с женой предложение фирмы «ГОД», Виталий Никитич решил не поддаваться смутному ощущению страха. Первым делом он взял на службе отпуск и в первый же понедельник отправился на работу.

Подходя к обшарпанному офису, он вдруг поймал себя на том, что волнуется: а вдруг все это было шуткой и вот сейчас он не найдет ни лысого коротышки, ни зала с ручкояткой, ни, наконец, красавицы с плавными ногами? Хотя что же это за шутка со стодолларовым убытком для шутников?

Все оказались на месте. Лысый мельком глянул на часы и кивнул: пора приступать. Леночка в соседней комнатке разговаривала по телефону и едва удостоила Виталия Никитича взглядом. Горностаев поежился.

Дождавшись назначенного времени, он с душевным трепетом взялся за ручку и повернул. Хмыкнул. Еще раз повернул. Еще. Пошло. Горностаев вспотел. Через пять минут он был мокрый с головы до ног. На мгновение он словно бы увидел себя со стороны: серьезный немолодой человек, волнуясь, в совершенно пустом зале крутит какую-то дурацкую ручку... Ему стало ужасно обидно, стыдно, и он выпустил было из рук ручкоятку, но тотчас отругал себя дураком и вернулся к работе. Сотню-то ведь он уже получил, и как знать, что впереди... Прогремел звонок, и Виталий Никитич торопливо закурил хорошую сигарету — мог себе позволить. Сверху, с мостика, откуда спускалась в зал лестница, за ним наблюдали лысый и Леночка. Они улыбались — спокойно, дружелюбно, без какого-либо намека на подначку. Горностаев приветственно помахал им и взялся за ручкоятку. Снова прогремел звонок. Пора крутить.

Получив в конце месяца деньги, Горностаев уволился из техникума, хотя и не был до конца уверен, что поступает правильно: все-таки «ГОД», как и многие другие фирмы в наше беспокоеное время, мог испариться в одно мгновение. Тем не менее... Быть может, сыграла свою роль и Леночка: когда Виталий Ни-

китич, получив зарплату, поднес ей цветы, она отдалась ему с такой страстью, о которой Виталию Никитичу даже в книжках не доводилось читать. Как бы там ни было, он стал считать фирму своей: «А кто не рискует, тот не пьет шампанского».

Новая работа требовала немалых физических усилий. Но зарплата позволяла нормально питаться, поэтому Виталий Никитич не роптал. Со временем ему даже понравилось крутить ручку. Он воображал, что занимается на тренажере. Каждый день по четыре часа с пятиминутными перерывами через каждые полчаса. И с каждым месяцем самочувствие его улучшалось. Окрепли мышцы, глубоко и бестревожным стал ночной сон. Работа не мешала думать, предаваться мечтам. Через пять месяцев ему увеличили зарплату. Правда, время от времени тревога возвращалась, и он начинал осторожно выведывать у лысого и Леночки, в чем же смысл выполняемой им работы, но они отмалчивались либо отделялись ничего не значащими фразами вроде: «Если это для вас так важно, придумайте сами что-нибудь». В конце концов Виталий Никитич махнул рукой. Возможно, он приводит в действие пресс для печатания фальшивых денег. Или машину для упаковки мусора. А может, где-нибудь на другом конце страны его энергия, переданная тысячами рычагов, колес и шестеренок, служит единственным источником жизни для какого-нибудь несчастного ребенка...

По итогам полугодовой работы Виталий Никитич получил не только надбавку к жалованью, но и премию. Об этом ему сообщила Леночка, ради такого случая спустившаяся вниз, к цилиндру. Горностаев лишь кивнул с улыбкой в ответ, продолжая трудиться, но Леночка не унималась. Ей вдруг захотелось, чтобы он овладел ею тотчас и тут же, в зале, и в конце концов Виталий Никитич не устоял перед ее настырностью: не дожидаясь звонка, он повалил Леночку на грязный пол. После этого он еще немножко поработал, хотя время и вышло.

Получив деньги, он поехал домой. Купюры похрустывали в кармане, и Виталий Никитич с удовольствием представлял себе лицо жены, когда она увидит долларovou пачку. Мало-помалу они начали откладывать на черный день, и сегодня их запасец значительно увеличился.

От электрички до дома было минут десять неспешной ходьбы. Горностаев решил сократить путь и свернул в освещенную подворотню. Его окликнули, схватили за руку, и не успел Виталий Никитич по-настоящему испугаться, как двое мужчин втащили его в щель между киосками и принялись избивать. Было ужасно больно. Он молил Бога только о том, чтобы не убили и не отняли деньги. Наконец драчуны утомились. Один из них склонился над сжавшимся и замершим в грязи Горностаевым и внятно проговорил:

— Это наказание за нарушение условий контракта. Вы бросили рукоять за три минуты до сигнала.

Незнакомцы исчезли.

Виталий Никитич сел, ошупал себя, проверил, целы ли деньги, и заплакал. Тихо, без голоса. Сволочи. Сдалась ему эта работа. И эта сука, которая, видать, нарочно проверяла его на вшивость: она-то не могла не знать, чем это все для него обернется.

С твердым решением никогда не возвращаться в «ГОД» Виталий Никитич кое-как дотащился до дома. Он рассказал жене о драке, хотя и умолчал, что на самом деле это было наказание за нарушение контракта. Жена, как он и ожидал, обрадовалась деньгам. Виталий Никитич принял горячую ванну и постепенно пришел в себя. Жена устроила замечательный ужин с хорошим вином и была непредсказуемо нежна в постели. Суббота и воскресенье стали для Горностаевых днями полноценного дремотного отдыха. Случившееся в пятницу уже не казалось таким обидным и страшным. Ну, наказали. И поделом: нечего бросаться на шлюх. Сам виноват, не без мазохистского удовольствия и некоторой грусти думал Виталий Никитич. Зато теперь он ученый — ого!

Поздним воскресным вечером вдруг позвонила Леночка и ледяным голосом приказала срочно явиться на службу.

— Это еще зачем? — в тон ей поинтересовался Горностаев.

— Нештатная ситуация, — пояснила женщина. — Это предусмотрено контрактом.

Виталий Никитич швырнул трубку на рычаг. Надо же, какая мерзкая баба: подставила его, а теперь еще и издевается. Хотя, конечно, она могла звонить и по указанию шефа, и тогда Виталию Никитичу не оставалось ничего другого, как мчаться в офис. Он набрал номер фирмы, но телефон шефа не отвечал. Горностаев со вздохом принялся одеваться.

В офисе его ждали Леночка и двое крепких молодых людей с кристальными взглядами. Пожав плечами, Виталий Никитич торопливо спустился в зал и растерянно огляделся: все было, как всегда, ничто не указывало на нештатную ситуацию.

— Ну же! — крикнула сверху Леночка. — Да крутите же!

Виталий Никитич схватился обеими руками за ручку и с силой, усугубленной злостью, принялся за всегдашнее дело.

Постепенно настроение его выровнялось, мысли приобрели плавное однообразно-круговое движение. Он успокоился. Ладно, он им покажет. Он не станет корчить из себя недотрогу и сделает все, как они требуют. По контракту. Во что бы то ни стало.

Он вкалывал до самого утра и вконец вымотался: за все это время звонок прозвенел лишь дважды. Когда же он закончил работу, руки и ноги у него дрожали. Улыбающаяся Леночка втащила его за руку наверх, где их ждал лысый шеф. Он прочувствованно потряс руку Горностаева.

— Вы просто молодец, Виталий Никитич! Фирма гордится вами. Леночка, где конверт?

Потупившаяся красавица вручила Виталию Никитичу пухлый конверт с деньгами.

Дома Горностаев вытряхнул банкноты на стол, пересчитал и зажмурился. Пять тысяч долларов. Сто полусотенных бумажек. Вот это действительно нештатная ситуация.

— Клянусь,— дрожащим голосом пробормотал Горностаев,— клянусь, что никогда... что всегда...

И заплакал навзрыд от избытка чувств.

Через год Горностаевы удачно поменяли квартиру в пригороде на Перово, купили подержанную машину, во время отпуска побывали в Турции и на Кипре. Горностаев привык к непрезентабельному внешнему виду офиса, к лысому шефу, сменившему зеленый пиджак на розовый, к пухлогубой Леночке с ее переменчивым настроением, наконец, к ощущению свободы, которое давали деньги. Теперь его нельзя было отвлечь от работы не только Леночкиными прелестями, но и прямым попаданием атомной бомбы: тертый калач. Нештатные ситуации случались редко, платили за них по-разному (однажды он получил в конверте всего пятерку, но смолчал), однако Виталий Никитич ни разу не нарушил условия контракта.

Тем больше он был удивлен и раздосадован, когда не получил зарплату за декабрь. Ни цента.

— Почему? Я же работал. Как всегда.

— Подумайте. — Коротышка неприятно выпятил нижнюю губу. — Вы, наверное, успели убедиться в том, что у нас ничего просто так не делается.

Помявшись, Виталий Никитич решил порасспросить Леночку.

Она сидела в своей комнатке на низком стуле, закинув ноги на стол, и ожесточенно грызла ногти.

— Явился? — процедила она сквозь зубы. — Из-за тебя, гада, и меня оставили без гроша. Да вдобавок и без полугодовой премии. Сука...

— Почему? — тупо спросил Горностаев, уставившись на ее коленки.

— А ты еще не понял? — огрызнулась она. — Или ты думаешь, я здесь сижу, чтобы тебе что-то объяснять? Пшел вон, дурак!

Он ударил без замаха. Она упала на пол, высоко задрав ноги. Радостно возбужденный Виталий Никитич изо всей силы пнул ее носком башмака в бок. Она скорчилась. Он бил ее сильно и без усталости — в лицо, в спину, в грудь. Наконец остановился. Сплюнул.

— Еще раз такое услышу — убью,— задыхаясь, пообещал он. — Запомни.

В следующем месяце ему заплатили сполна. Но спустя неделю какие-то люди напали на него в темном проулке и избивали до полусмерти. При этом они

ничего ему не сказали. Возможно, это и не было наказанием за очередное нарушение контракта. А может быть, они просто изменили стилистику наказаний. И зачем объяснять что-то тому, кто должен все понимать без слов?

Виталий Никитич затаился, напряженно размышляя, в чем же его прегрешение. Ручку он крутил профессионально, без сбоев. На посторонние дела в рабочем зале не отвлекался. Перекуривал строго по звонку. Ага! Быть может, им не нравилось, что он курит? Задымляет помещение. Убивает жизненные силы отравой. Ведь в конце концов курение — бытовая наркомания, а какому руководителю понравится работник-наркоман? Виталий Никитич курил почти тридцать лет, но выбора не было. Он бросил. Мучения длились несколько месяцев, но в конце концов он привык обходиться без сигарет. К тому же его волевой поступок, похоже, оценили по достоинству: дважды он получал огромные премии, на которые, по его разумению, никак не мог рассчитывать, если бы не бросил курить. Освобождение от вредной привычки было полезно еще и потому, что врачи обнаружили у Виталия Никитича рак легких в запущенной форме. На несколько часов он безвольно погрузился в вихрящийся абсурд жизни, чувствуя беспомощность перед лицом судьбы, но все же сумел взять себя в руки: бытие не бессмысленно, если оно целиком поглощено работой, делом, позволяющим возвыситься над фатумом, как и подобает человеку.

Он взял в привычку по субботам непременно заглядывать в цех, проверяя, в порядке ли рукоять, цилиндр, лестница и все такое прочее, чего в помещении не было, но что могло неожиданно появиться. Ко всему надо быть готовым, как к встрече с Богом. Иногда по воскресеньям он приезжал, чтобы прибрать зал — подмести, вымыть пол, то да се. На его более чем осторожный вопрос: нельзя ли ему иногда — для тренировки — работать в выходные дни, без оплаты, разумеется, — шеф коротко ответил: «Не могу запретить. Но без оплаты». Виталий Никитич обрадовался.

Отныне он по субботам крутил ручку, при этом, однако, стараясь делать свои дела втайне: жизненный опыт давно научил его, что слишком усердных не любят. С разрешения шефа он устроил в углу у стены что-то вроде лежака, где можно было отдохнуть, а то и — в случае чего — переночевать. Жена относилась к его отлучкам с пониманием. По воскресеньям его навещала зеленоглазая Леночка. Иногда Виталий Никитич позволял ей делить с ним ложе.

17 июля, в воскресенье, он по своему обыкновению приехал в «ГОД», где его встретила зареванная Леночка.

— Они все смылись, — сообщила она, всхлипывая, — все до единого. Навсегда.

Они обыскали помещения фирмы, но не нашли ни столов, ни бумаг, ни людей, даже телефоны были сняты.

Шмыгая носом, Леночка следовала за Горностаевым, который напряженно думал о зеленоглазой женщине: «Ну, хорошо, допустим, они сбежали, бывает, но она-то зачем пришла? И что ей нужно? Уж не для специального ли задания ее тут оставили?» Внезапно он остановился и резко обернулся. Леночка уставилась на него. Попятилась. Лицо ее перекосилось страхом. Виталий Никитич осклабился. Конечно, так и есть, он угадал, ей не удалось скрыть своих планов.

— Иди ко мне, — ласково позвал он женщину, забившуюся в угол, — не бойся... ну же!

Дело облегчилось тем, что эта дурочка решила, будто он сгорает от желаний, и разделась без понуканий, а когда поняла свою ошибку, было уже поздно.

Вымыв и тщательно вытерев руки, Виталий Никитич спустился в цех и голем прошелся по залу. Теперь-то никто не помешает ему. Наконец он взялся за рукоять. Шестерни провернулись, в глубине цилиндра раздался знакомый скрежет, машина закрутилась, приводя в движение колеса, рычаги, шкивы, цепи и валы, радуя сердце работой и наконец-то обретенной свободой...

Письма из Британии

ПУБЛИКАЦИЯ, ПРЕДИСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИИ
КИРИЛЛА КОБРИНА

С неуверенностью и волнением я представляю на суд читателя письма моего спокойного друга Дениса Константиновича Хотова (1962—1995). ДК (как называли его немногочисленные приятели) был одним из самых незаметных людей нашей страны и нашего времени. Вряд ли найдется более десяти человек (не считая студентов юридического колледжа), помнящих ДК сейчас, спустя год после его смерти. Родителей он потерял в шестнадцать лет (кажется, в автомобильной катастрофе), семьи не завел, дружеские связи поддерживал крайне неохотно. Его похоронный кортеж состоял из одного микроавтобуса. Часто, намекая на свое скверное здоровье, ДК говорил: «Я ошибка природы». Познания и таланты моего образованнейшего и одареннейшего друга были на редкость разнообразны. Вот некоторые из них. ДК был, кажется, единственным в России знатоком истории Уэльса. Его «Историко-логические рукописи», если будут когда-либо изданы, вызовут у специалистов несомненный интерес, а у немногих — и восхищение (или возмущение. Как знать?). ДК проявил себя как прекрасный переводчик: нижегородский литературный альманах «Urbi» в 1992 году опубликовал его русскую версию избранных страниц «Книги вымышленных существ» Борхеса. Наконец, в том же издании (за 1993 год) напечатана остроумная борхесианская мистификация, которую ДК сочинил, лежа в переполненной палате кардиологической больницы.

Я познакомился с ДК в 1990 году при банальнейших обстоятельствах: меня попросили оппонировать на защите его кандидатской диссертации. На банкете мы сидели рядом, и случайно брошенная (не помню кем из нас) цитата из дневников Вяземского завела наш разговор так далеко, что, когда он вернулся назад, гостей уже не было. С тех пор я посещал его крошечную однокомнатную квартиру раз в неделю, а он «возвращал визит» примерно раз в месяц. ДК подарил мне свой средневековый Уэльс, своего Борхеса, своего Де Куинси и своего Честертона; я (тщательно тщу себя надеждой) своих Набокова и Чаадаева. Беседы с ДК — жанр совершенно особый, потому и требует особого разговора (не сейчас!).

ДК был невысок, черноволос, худ и (как я уже говорил) перманентно нездоров. Между тем любил выпить и курил только крепчайшие сигареты. Если бы Бог отмерил ДК еще лет тридцать жизни, то мой друг стал бы типичным «старым холостяком». Как истинный «старый холостяк», он превосходно готовил (и приговаривал: «Женщины по-настоящему готовить не умеют. У них мысли другим заняты». Но не уточнял, чем.). Чтение лекций по истории России в юридическом колледже не обременяло его, так что смысл пушкинского «на свете счастья нет, но есть покой и воля» был хорошо понятен ДК.

1994 год стал роковым в его судьбе. Британские ученые, с которыми ДК несколько лет состоял в переписке, выхлопотали для него грант Британской Академии, позволяющий около месяца проработать в библиотеках Университета Уэльса. Мой друг страшно волновался. «Понимаешь, — кипятился он, — это все равно, что переспать с женщиной, о которой написал роман». Излишне говорить, что ДК прекрасно знал английский, британскую историю и культуру, и трудно было найти человека более достойного этого путешествия, чем он. Начались хлопоты: поездки в Москву, оформление документов, поиски денег на билеты. В

то же время ДК внезапно влюбился, влюбился безнадежно и безответно. Он совершенно издергался, исхудал, здоровье его пошатнулось. Друзья (в том числе и я сам) пытались помочь ему: кто-то одолжил денег, кто-то предоставил свой факс для переговоров с Соединенным Королевством, а один приятель презентовал ему отменнейший английский зонт, огромный, в красную и белую полоску, чтобы, как выразился донатор, «не шмыгать носом и глядеть натуральным кокни». Наконец торжественный день настал. Мы провожали ДК у меня дома, и именно в тот вечер родилась идея ежедневных «Писем из Британии». Уговорить моего друга было крайне сложно; ДК вообще не любил писать письма, но в конце концов апелляция к объемистому тому «Писем русского путешественника» возымела действие. Плод этого вечернего договора читатель держит в своих руках.

Осталось сказать еще несколько слов. ДК приехал из путешествия очень довольный и очень больной. Будучи человеком обязательным, он счел необходимым максимально «отработать» выданный ему грант. И в результате переутомился. Мы уговаривали его лечь в больницу еще в декабре 94-го, но он все тянул, доделывал какие-то дела, собираясь «сдаваться» врачам в январе. Не успел. 1 января 1995 года, вернувшись из новогодних гостей, Денис Хотов умер от сердечного приступа. Он похоронен на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.

Опубликовать «Письма из Британии» я предложил ДК за несколько дней до рокового новогоднего вечера. Как ни странно, он был не совсем против, хотя настаивал на крупных купюрах в тексте. Что он хотел «сократить» и «вырезать», знают сейчас только ангелы. Тем не менее я решился опубликовать «Письма» целиком, лишь изменив некоторые имена и добавив комментарии к малоизвестным русскому читателю именам и событиям. Кое-где мои маргиналии относятся к фактам физической и духовной жизни ДК. Надеюсь, они не испортят удовольствия от чтения этой эмоционально, сюжетно и интеллектуально насыщенной прозы.

Денис перед смертью читал письма Кафки. В день похорон я полистал книгу, она была заложена на триста сорок четвертой странице. Вот что я там обнаружил: «Живые писатели находятся со своими книгами в живой связи: самим своим существованием они борются за них или против них. Подлинная самостоятельная жизнь книги начинается лишь после смерти писателя, а точнее говоря, спустя некоторое время после его смерти, ибо эти ретивые молодцы еще и за гробом продолжают какое-то время сражаться за свою книгу. А потом она сиротеет, и ей уже приходится черпать силы лишь в биении собственного сердца». Что ж, до свидания, друг. Здравствуй, книга.

23.08.1995

7.11.1994. Понедельник. Москва

Дорогой Кирилл,

весьма опрометчиво давать обещания, тем более такие. Коричневая атмосфера того предотъездного вечера, масляное пятно лампы, пухлая спортивная сумка, уснувшая в углу, царапающий небо запах закусок из соседней комнаты — все это необычайно ослабило мои вечно перетянутые нервы, и вот я вижу себя, кивающего головой из бесформенности кресла, и слышу свой уверенный (?) голос: «Да-да, конечно». Конечно, буду писать. Обо всем.

(Проглотил кольчатый описательный пассаж? Получай вопросительный.)

Но чего хотел ты? «Писем русского путешественника»? Отчетов? Рефлексии на национально-культурные темы? Засушенного запаха Атлантического океана меж исписанных листков? Пятен «Гиннесса» на конверте? Гулливеровой подробности, чеховской детали? Ты хотел, ленивец, сидя в своем волчьем автозаводском углу получить по почте портативную Британию, только настоящую, без дураков, без Биг Бена и файв-о-клока; получить и разглядывать так

и сяк вечером, перед сном, в желтом (лучше — «желтом»*) пятне все той же лампы, собирать и разбирать ее, а когда наскучит — запереть в ящик письменного стола. И иногда показывать друзьям, коих, кстати, считаешь несколько недалекими и вовсе не артистичными натурами.

Однако отомщу. Получи ныне недурный шмат графомании, натуженные охи-вздохи, водянистый стилизаторский лонгдринк. Опишу сегодня не Англию, не Шотландию, не Уэльс, не Северную Ирландию. Даже остров Мэн не опишу. А — противную тебе, придурковатую Москву. Съел? Я приехал на Курский вокзал — строение хитроумное и антигуманное. Длинные подземные коридоры опутывают его основание; в лабиринте указатели немислимы, невозможны — поэтому их здесь нет. С мифологическим чутьем у строителей было все в порядке. Лоботомированные геометрией люди безнадежно бредут по пустым внутренностям Курского, и я не уверен, что где-нибудь в закуточке, за дверью «Служебный вход», не сидит быкоголовый антропофаг. Настоящий аттракцион, щекотка нервов, пальпирование воли, легкий экзистенциальный шок для интеллектуалов. Я поймал себя на том, что катаю языком маленький кругленький этимологический намек на цель моего вояжа. Вот он. «Вокзал» происходит от английского «Vauxhall»; так называлось место увеселений в Лондоне. Только, ради Бога, не вспоминай Мандельштама, а также немолодого господина с невинным именем, схватившегося за сердце на ступенях царскосельского вокзала.

Но я-таки выбрался и — бегом, бегом — мимо стекла и бетона, мимо этнографического музея народов Кавказа, Закавказья и Средней Азии, мимо зубчатых сигаретных стен и бутылочных башен, мимо грозди желтых полумесяцев на небритом ящике — к Садовому кольцу.

Неяркое солнышко, стальной воздух, пустой троллейбус и милое Садовое отрезвили меня. И остальной день разворачивался как бы сквозь чистое холодное троллейбусное стекло. На все смотрел я несколько вбок, повернув голову вправо, помня, что еду сквозь этот день, этот город. Да, дорогой Кирилл, город заслуживал того, чтобы на него смотреть, пусть люди вроде тебя готовы стереть его с радужной оболочки своих глаз. Вот — голые черные ветки Тверского бульвара, сквозь них — особняки, дома, домища; великан-сталинист добродушно поглядывает на припудренного побелкой двухсотлетнего екатерининского старичка; спортсмены, студентки, рабочие, инженеры продолжают вечную свою гипсовую пантомиму. Вот разноцветным горохом рассыпались дети, вкусив театрального утренника. Вот кто-то выпустил розовый шарик из рук, и шарик завис над бульваром, закатное солнце дублируя. Вот...

Интересно, почему, описывая Москву, неизбежно попадаешь в унижительную зависимость от дурацкого гексаметра автора «Москвы»?

Так и шел я: от Герцена к Гоголю, от Гоголя к Репину; Москва казалась мне ясной, замороженной, словно чаадаевская шутка**. Выходной. Те, кто делает деньги, их уже сделали и расслаблялись в своем потустороннем мире. Те, кто деньги не делает, уже купили молоко и хлеб, уже были дома, уже просвечивал их рентгеновский свет телевизора. Никого, только я один в своем воображаемом троллейбусе, сквозь этот город замерзших на ходу мастодонтов, мимо, поглядывая направо.

Что, Кирилл, скучно все это читать? Я обманул тебя, не я, а ты попал впроак, ты дал обязательство: не я обещал писать, а ты теперь будешь *читать*. Будь спокоен, ничего нового для себя ты в моих письмах не найдешь. Ну, что же.

Всего доброго.

Yours sincerely.

(Это я к Британии готовлюсь.)

Денис.

* «В соседнем доме окна желты», — эту строчку ДК считал идеальным воплощением окающего «о» (нуля), идеального, по его мнению, воплощения желтого цвета. Как-то он потратил вечер, убеждая меня, что все квартирное освещение — «желтое».

** Скрытая цитата из помянутого в начале этой фразы Герцена.

8.11.1994. Вторник. Сwonси

Кирилл!

Сегодня был самый длинный день моей жизни. В семь утра я покинул советский трифоновский аппендикс в центре Москвы, проехал полстолицы, торчал в биндюжном «Шереметьеве-2», был мучим разной таможенной, аэрофлотовской и ментовской сволочью (один ВВ-шный мальчик с сальным завитком на нечистом лбу чего стоит), ел,пил, курил, болтал в самолете, глотал «пепси» в Хитроу, промчал на автобусе почти всю Британию поперек, глаза на ландшафт и тихо матерясь от усталости; наконец, осваивал приватный апартамент в пристрое к Neuadd Lewis Jones, что в кампусе Колледжа Сwonси.

Как пристально, влюбленно смотрят тебе в глаза таможенники и пограничники... Смотрели мне в глаза...

Однако писать тебе не о том нужно, а о другом. Получай.

Ландшафт юго-западной Англии уныл, однообразен, но (тем самым?) романтичен и контекстуален Диккенсу и Агате Кристи. Трогательные овечки с выкрашенными задницами. Серое небо, так талантливо ретушированное, что кажется объемным, кажется небом. Сельские коттеджи, похожие на располневшие зенитные установки. Подъезжаем к Уэльсу — начинаются холмы, начинаются городки. В Южном Уэльсе Господь досыта наигрался в городки. Самым очаровательным показался Чепстоу — автобус огромным аквариумом плыл по неприлично узким улочкам, как вдруг мелованные тюдоровские домишки сменились серым средневековым замковых стен, слева прямой башенный угол сделал аккуратный разрез синих сумерок, а чуть дальше ладья бенедиктинского монастыря пригрозила шахом нашему отважному шоферюге, но он, дважды в день разыгрывающий эту партию, свернул влево и укрылся в двадцатом веке на неоновой автостанции. Разменяв пассажиров, он хитрыми ходами пробрался через предместье и прочь, прочь по автостраде. «Go West!» — мурлыкала билетерша, собирая подносики и стаканчики.

Прочие городки длинными своими двухэтажными домиками почему-то вызывали во мне (параллельно с накоплением усталости) мысли о «подкупе буржуазией верхушки рабочего класса» в конце XX века — что-то из учебника по второй части новой истории. Эти домики к концу автобусного путешествия стали раздражать меня (неврастеника?), как раздражают одинаковые смуглые девчонки-милашки, с челкой «цвета вороньего крыла», если их много. Ух, как тогда захочешь блондинок! Пусть даже крашенных «метелок» из пролетарских пригородов... Ну и ахиною я пишу!

Объятые библейской тьмой подъехали к Сwonси. Заправочные станции отметили последние мили пути. Автобусный причал, скудно освещенный, напоминал сцену из беккетовского театрального кошмара. Скучность реквизита этой сцены: бетонная плита снизу, бетонная плита сверху, четырехугольная бетонная колонна, тусклый фонарь в верхнем правом углу. Озверевший от четырех часов по smoking, я даже не стал выглядывать встречающего. На первую мою затяжку отозвался хлопок автомобильной дверцы во мраке. Сквозь дым от второй я увидел вплывание человека в пятно жидкого света. Человек сказал: «Hello! Are you...»

Профессор Мередит оказался энергичным мужиком лет пятидесяти с огромным противным подбородком и японской машиной. (Я прощаю себе — ты простишь мне — столько «как», «будто», столько сравнений в моих письмах, так как это — «письма путешественника», а любой путешественник болел сравнениями; так вот, Мередит похож на помолодевшего, атлетичного Собчака.) Профессор отконвоировал меня в кампус, в мою роскошную «гостевую квартиру»; действительно «роскошную» — с кухней, ванной и черт-те-чем-еще (а именно: с неработающим телевизором, без некоторых ламп и прочая). Место тихое, просматривается снующими туда-сюда студентиками насквозь (у ме-

ня второй этаж). Что ж, пусть смотрят, как переодевается тридцатидвухлетний русский авантюрист-литератор, выдающий себя за ученого!

С тем и прощаюсь.

Твой Денис.

Р. S. Помнишь дурацкую амбrellу*, преподнесенную мне Жориком Марковым? Так вот, амбrellа моя убрела от меня, вернее, я от нее отбрел. Забыл дареный зонтик в нехитром Хитроу, на скамеечке автостанции у второго терминала. Шмыгать мне носом! Вовек не глядеть мне кокни!

9.11.1994. Среда. Свонси

Кирилл!

Поплескавшись, поскоблившись, наскоро побрекфастав, я... — такой свистопляской начал бы это письмо, твой любимый писатель. Действительно, свистошипящие используются подданными Ее Величества для жизнеутверждения (yes, sex), мягкозвонкие (особенно аранжированные колокольной медью зияющего «о») означают ущерб (no money)**. Потому, верно, день начинается здесь с плеска воды и блеска никелированного чайника.

Первое утро на чужбине. Очухавшись, я погрузился в британскую ванну, полную британской воды. Я чувствовал себя Ахиллом, которого прополоскали то ли в Ахеронте, то ли в Коците. Я окунулся в «британскость», только к телу моему ничего не прилипло — я яростно соскабливал с него российскую грязь. И все-таки степень неуязвимости проблематична... Сандвич, обнаруженный в холодильнике, оказался по-британски вежлив — больших усилий от моего желудка не потребовал, так же, впрочем, как растворимый кофе — от моего сердца.

Явился Мередит. В блеске ласкового британского солнышка (того самого, что никогда не заходило над Империей) оный оказался гораздо симпатичнее, академически неряшливее. Мы тряханули правыми руками, по-о'кали и выбрались на изумрудный газон кампуса. Библиотека ждала. Скромная трехэтажная бетоностекляшка зажавала нас тремя парами своих дверей, протолкнула по короткому пищеводу коридора, и вот мы в чреве: лестницы убегают вверх и вниз, стрекочут принтеры, кряхтят ксероксы, переливается легкая дробь компьютерных клавиш, а стены туго уложены чудеснейшими, восхитительнейшими в мире, подробнейшими, обстоятельнейшими, честнейшими, аккуратнейшими, благороднейшими справочными изданиями. Вот он, друг мой, борхесианский рай! Тут бы и провести всю жизнь, но моя уже наполовину прошла, а провести здесь оставшуюся половину мне никто не даст. Увы (или к счастью).

Проводником по этой сокровищнице был косоглазый (ладно, хоть не слепой) библиотекарь Клайв — малый весьма симпатичный и тоже неряшливый. Возносимый и низвергаемый по лестницам и на лифтах, я зрел все ступени, круги, престолы библиотеки: от Абраксаса до Яхве, от «Кельтской коллекции»*** до сегодняшнего номера «Таймс». Наконец Клайв растворился в коричневом сумраке меж книжных полок и гость остался один. Несколько часов я петлял закоулками европейских знаний, ощупывая ребристые корешки биографических словарей, сборников церковных документов, томищ Платона на баснословных языках, натыкался на монументальные тумбы, дергал каталожные ящички и чувствовал себя примерно так же, как Д'Артаньян во время разговора Арамиса с аббатом.

Непохоже, чтобы студенты отличались здесь особым рвением.

* umbrella — зонтик (англ.)

** нет денег (англ.)

*** Обычное название библиотечного раздела с книгами по истории и культуре кельтов. Обычное — для британского книгохранилища.

Днем торжественно и прилюдно профессор Мередит меня ланчевал*. На церемонии присутствовал целый отряд почтеннейших академических старичков, с пристрастием допрашивавших меня о Ельцине, национальных проблемах в СНГ, о том, сидели ли мои родственники в лагере и прочей чепухе. Глаза достойных джентльменов горели, руки тряслись; тактика дознания была проста: двое одновременно задают два различных вопроса, остальные пока пожирают сэндвичи, салаты, бананы и яблоки. Наконец в разгар запутаннейшего ответа о смысле визита Козырева в Мельбурн в свете увлечения российских историков теорией пассионарности я увидел, что все тарелки пусты и стулья почти тоже. Пока я беседовал, желудок мой скорбно помалкивал! Впрочем, гастрономическое фиаско не помешало мне мило распрощаться с двумя оставшимися джентльменами: с красноносым знатоком валлийской церкви мистером Баффоли и чудным таким, кустобровым, сенильньенским и добреньким мистером Дженнингсом. Последний похвастался, что умеет говорить по-русски «chashka chaew» и что первым его языком был валлийский, вторым — немецкий и только третьим — английский. Так я познакомился с первым валлийским националистом.

Колледж и кампус расположены в прекрасном Синглтонском парке, некогда принадлежавшем одноименному аббатству. Я отправился туда коротать время между геронтократическим ланчем и гипотетическим обедом. Лил дождь. Я предавался мокрым мыслям на фоне следующей цветовой гаммы: серый (иногда черный блестящий) асфальт, объемная зелень газона; желтые, красные листья на деревьях и под; шелковисто-серое небо; все вышеуказанное подсвечивали оранжевые фонари. Шныркали белочки.

Вечером, после, слава Богу, состоявшегося обеда, Мередит почтил моим присутствием научный семинар. Немолодая аспирантка с именем аболиционистской романистки делала феминистский доклад. «Женская черта в истории» — таков не очень приличный, но дословный перевод его названия. Я весьма слабо понимал смысл ее шепелявой, колченогой речи, но выступала она в роде поверенного по всем женским тяжбам против «мужской» историографии. Да, дорогой Кирилл, давно меня так с говном не мешали... Не слышим мы женских жалоб, коими напитаны исторические документы!

Чем больше девушка ярилась, тем меньше слушал я ее. Разглядывал соседей. Рисовал профили. Писал тебе это письмо. Закончу его банальной мыслью: в «ученые» здесь идут люди с левизной в мозговой резьбе. Западное общество избавляется от них таким несколько громоздким образом — чтобы они не мутили воду; пусть живут в чистеньких резервациях и жуют сэндвичи. Вот так-то.

Твой Денис.

10.11.1994. Четверг. Свонси

Здравствуй, Кирилл!

Утро. На зеленую лужайку под моим окном слетелись крахмально-белые чайки. Их променады по траве напоминают белых овец на английских пастбищах. Затем, зевая, потягиваясь, ежась в разноцветных университетских балахонах, плетутся из общаги студенты. Завтракать. Чем не санатория? Чем не волшебная гора?**.

Впрочем, это лирика. А вот и проза. Сегодня я совершил несколько транскультурных подвигов. Во-первых, самостоятельно пообедал (свининка была с бобами). Во-вторых, разведдал западную окрестность кампуса и обнаружил там

* От «luhch» («второй завтрак» — англ.). У ДК была страсть к двусмысленным производным от иностранных (особенно английских) слов. Далее в письмах он будет играть и с «брекфастом» (завтрак), и с «диннером» (обед). Ужина («саппер» — «supper») в Британии традиционно не имеют.

** ДК как-то признался: «Рай — это туберкулезный санаторий из «Волшебной горы»».

таверну «У озера». Под «озером» понимается микроскопический пруд, что понимается под «таверной» — постараюсь выяснить на днях. В-третьих, видел залив («Залив Сwonси») и даже стоял на песке почти у кромки грязнувшей воды. С востока оный залив ограничен городскими доками, с запада — овальными скалами, имя которых — Mumbles. Переведем это с валлийского (в меру сарказма) или «Груды», или «Перси», или «Титьки». В-четвертых, принял(я весьма аппетитно) за работу и просидел в библиотеке до девяти вечера. В-пятых, не знаю, достижение ли это, но научился (меня научили) включать раздолбанный донельзя телевизор, который ничего, кроме местного канала, не ловит. Почти до полуночи я наслаждался валлийскими мыльными операми. Хороша также была передача с названием «Хороший путеводитель по сексу» (!?); от нее не возмутился бы и писатель Белов. Какая-то престарелая пергидрольная блядь (но на пенсии) обсуждала сверхинтересные супружеские проблемы (типа: «Как вести себя на вечеринке у Джонсонов?») с престарелыми же клерками и разыгрывала с ними некие сценки, намекающие на возможности сладчайших супружеских измен. Но «он» вовремя одумывается и возвращается к «ней».

Утром в библиотеке крошечная мисс Элизабет показывала мне (радостно, гордо) городские хартии Сwonси, датируемые XIII—XIV вв., разные другие акты и — вот неожиданность! — письма Дилана Томаса сестре. Поэт, оказывается, родился и довольно долго жил в местном селении Лафарн, пока валлийский темперамент и литераторский алкоголизм не погнали его прочь. Мисс Элизабет сделала прехорошенькие глазки, когда я поведал ей, сколь близок Дилан Томас российскому сердцу. Особенно его порок. Тут она смутилась. А вообще мы прелестно поболтали; я бы сказал — пощбетали. И я щебетал! По-басурмански!

Так же мило я часа полтора протрепался с Роджером Диконом, доктором из политологического департамента. Он написал книгу о советском кино двадцатых — тридцатых годов (и презентовал мне экземпляр, украшенный диким взглядом эйзенштейнового матросика). Дикон бывал в России и до неприличия похож лицом на Ельцина. Типичный российский постмодернистский интеллигентский треп обо всем: от Тэтчер до Ивана Грозного. Казалось, еще пару минут — и мы метнем фунт — кому бежать за бутылкой. Но (перепарузив жюльверновского героя) это не Россия, это Британия. Это Валлийщина!

Между архивом и Диконом побывал в книжном магазине, где заказывал кучу книг, которые он (магазин), надеюсь, пришлет в Нижний. Сам я их не тащущу*.

С южноваллийским приветом житель графства Западный Гламорган

Денис Константинович Хотов (эсквайр).

11.11.1994. Пятница. Сwonси

Дорогой Кирилл,

еще один день обживания и обустройства. Еще один день инициаций. Утром мне выдали пластиковую карточку ценой в двадцать фунтов и показали заветную щель в публичном библиотечном ксероксе. Щелкать копии мне понравилось: я чувствовал себя истинным Гуттенбергом и готов был отксерить (ну и словцо!) целиком первую попавшуюся книжку (например, стоящий неподалеку советский «Географический словарь»). Помнишь такую средневековую гравюру: «В печатной мастерской»? Вот тот, который в центре,— я.

В окрестностях ланча внезапно возник Мередит и потащил к еще одному местному валлийско-русскому чудачку — Питеру Джаретту, полному, краснолицему, чернявому парню, который совмещает умеренные занятия прагматичной политологией (в том числе и Россией) с неумеренной любовью к отеческим (валлийским, а не английским) — нет, не гробам — замкам. Джаретт лепетал

* И в России не потащил. Тяжеленные тюки с книгами из Британии с почты до дома ДК тащил я.

нечто на языке, который называл русским; лепетал по-бабьи, прижимал пухлые ручки к толстой груди в знак любви к русской литературе и валлийским развалинам. Впрочем, славный малый, обещал в следующую пятницу сводить (п) осмотреть столь милые его сердцу (и, признаюсь, моему) руины. Посмотрим.

После Джаретта обедал, занимался шопингом (сам!), гулял в парке. После прогулки другой визит воспоследовал. К Айвану Свитлэндсу, рекомендованному Мередитом как «специалист по замкам». Ох уж эти замки... Мрачноватый мужик, схожий с Раскольниковым в исполнении Тараторкина (или с Володей Климычевым с большого похмелья), принял меня. И я принял. Попыхивая пахитосками, мы важно обсуждали проблемы валлийской истории, дарили друг другу книги и расстались, кажется, довольные друг другом. Решили даже еще раз покалякать о том же. Покалякаем.

И дальше произошло невероятное. (Налью-ка я себе бокал «Риохи», дабы придать стереоскопичность рассказу. «Риоха» оказалась весьма сухой, но плезирной.) Умаявшись беседами на басурманском, я отправился проветриться, перешел на ту сторону Ойстермут роуд; так, бесцельно. Спустился к воде, полюбовался цепочками следов на песке, поднялся и вдруг побрел на запад, где, по утверждению карты, за «Персями» (чувствуешь романтическое настроение?) располагается Ойстермутский замок. Думал с кондачка глянуть на эти развалины, раз их все тут так любят. Но разговор с очкастой велосипедисткой остановил меня. До развалин оказалось мили две. Тогда я вновь пересек дорогу и повернул назад, но не так вот шел, чтобы идти, а паб искал или пивка навынос. Заглянул было в лавку при бензоколонке, но тамошняя продавщица, услышав про пиво, закудахтала испуганно «Pardon! Pardon!», направила меня куда-то за угол, где, казалось ей, есть паб. Паба за углом не было. Я побрел домой, но подвернувшийся студентик навел-таки меня на винный магазин, до которого, впрочем, оказалось полчаса ходьбы. В милой пустой лавке «Виктория Вайн» я затаился «Гиннесом», «Риохой» и розовым анжуйским (первый и последний раз сообщаю цены: бутылка пива — 85 пенсов, бутылка вина — 2 фунта 99 пенсов). Любопытно, что вторично дорогу мне указывал длинноволосый тип шотландской наружности, который, узнав, куда мне надо, оживился и щелкнул по своему пакету: мол, я оттудова гребу. В пакете звякнуло.

Выйдя из винного рая, я очутился в библейской тьме. Никак не мог вспомнить, откуда пришел и куда идти. Потерялся, хрестоматийно потерялся в чужом городе, в пять вечера, под противеньким ноябрьским дождем. Я уцепился за какого-то невероятно шамкающего старикана и попросил указать путь. Речей его я не понял, но уловил общее направление и последовал указанию дрожащего зонтика. И добрался! Увидев огни родного кампуса, чуть было не расплакался от умиления. Home, sweet home...*

Вечер провел в библиотеке. Мгновенно, как во сне, пролетели три часа. Библиотека — это наркотик (хорошая, конечно). Может быть, Борхес прав: рай — это библиотека. Может быть, нет. Но плохая (например, советская) — несомненный ад.

Засим прощаюсь.

Твой Денис.

12.11.1994. Суббота. Свонси

Привет, Кирилл,

буду краток, ибо торжественность происшедшего заставляет держать в узде мой неряшливый дискурс. День сей войдет в историю русско-валлийских отношений. Утром, озолоченный лучами Авроры, явился Мередит на «тойоте» и мы направились в окрестности микроскопического городка Бриджент на заседание общества любителей истории графства Гламорган (Южный). Это был

* Дом, милый дом (англ.) — общая фраза, отсылающая к вошедшему в английскую традицию культу домашнего очага.

отель. Это был белый викторианский отель среди лужков, пастушков и барашков. Это было почти светское party*. Это было в духе Честертона. Это было в духе Феллини. Был ланч с официантами и мучительным перекладыванием ножей-вилки из руки в руку. Были патриотические полусумасшедшие старички и старушки (последние не без перманента). Были доклады и речи, изыскания археологические и генеалогические. И аплодисмент тоже был. Это был Пиквикский клуб на фоне чудного южноваллийского ландшафта. Наконец заморский гость был представлен почтеннейшей публике. Ему оказали честь вытащить победительный жетон благотворительной лотереи историков-любителей. Он поворошил бумажки в вазе и огласил (безо всякого акцента, клянусь!): «Фифтин уан!»**. Мистер Баффолли (тот самый участник сенильного ленча) радостно всплеснул руками и побежал получать выигрыш. Книгу. О развалинах, конечно. Гостю рукоплескали. Когда гостя вывели на воздух, путь ему освещала романтическая луна. Гость был доволен.

А потом гостя отвезли домой. Он допил весь «Гиннесс», вскрыл «Риоху» и сел писать это письмо.

Будь здоров!

Денис.

13.11.1994. Воскресенье. Свонси

Кирилл,

вот и воскресенье почти прошло. Этот день я посвятил разного рода путешествиям. Утром пошел в Ойстермут, до которого оказалось лишь 45 минут ходьбы. Вот тебе и 2,5 мили! Не стоит верить очкастым велосипедисткам. Сильнующий ветер чуть с ног не сбивал, но это не помешало насладиться видом пустынного побережья и осмотреть замок. Так как ойстермутские руины — первые, «пощупанные» мной, опишу их подробнее. Замок имеет форму буквы «Г»; две башни расположены на загибе и одна (весьма импрессивная, с огромными воротами) — у основания. Он стоит на холме и наиболее сильной стороной (там, где угол и две башни) повернут к горам, к северу и северо-востоку. Менее сильная его сторона и ворота смотрят на юг и юго-запад: на Бристольский залив. Замок сложен из мощных серых камней, достаточно ровно обтесанных. Табличка у ворот гласит: «После того как валлийцы сожгли ранние деревянные норманнские замки в этих местах, семья Браозов, известная своей агрессивностью и предприимчивостью, перестроила эту крепость в начале XIII века. После завоевания Уэльса Эдуард I провел здесь два дня в 1284 году***. В частичном разрушении замка повинен Кромвель, однако в годы гражданской войны замки не играли заметной стратегической роли. Каменные ступеньки ведут в помещение стражи...», но далее читать неинтересно, ибо меня лично каменные ступеньки не ведут никуда: замок почему-то закрыт для экскурсий. Я обошел его снаружи несколько раз, потрогал баснословно древние камни и, невзирая на дождик, покурил на очаровательной красной скамеечке у входа. В память о норманнах — «голазину». Но сколько сдержанного монархизма в упреке: «в частичном разрушении замка повинен Кромвель»!

* Вечеринка, прием (англ.).

** «Пятьдесят один» (англ.).

*** Уэльс, не будучи единым государством, был фактически независимой (от английской короны) территорией до 1284 г. Однако часть региона колонизовали норманны (экс-викинги, осевшие в Нормандии) после битвы у Гастингса (в 1066 г.). Упомянутое в письме семейство Браозов — норманнская баронская фамилия, имевшая владения в Ю. Уэльсе в XII—XIV вв. В течение более 200 лет норманны (потом англо-норманны) завоевывали и теряли земли, населенные коренными валлийцами. В 1284 г. Уэльс был окончательно присоединен к Англии королем Эдуардом I. Диссертация ДК была посвящена отчасти этим событиям.

После фортификационных штудий я недурно пообедал в индийском ресторане «Танжури», после чего решил: первый осмотр замка следует отметить первым посещением британского паба. Выпил пива (и виски). В пабе хорошо.

На обратном пути мне было и теплее, и веселее (понятно почему); невзирая на ветер, бодро шагал и распевал всякие русские песни.

Дома отдохнул и пошел в другую сторону — в центр Сwonси, до которого оказалось минут тридцать пешком. Я долго шатался в темноте среди закрытых магазинов, наткнулся на тот же (в смысле фирмы) «Танжури» и поужинал там (очень скверно. Нельзя подавать карри к лососю!). В ресторане поддавшие аборигены приставали к хозяину с расспросами касательно его веры. Особенно интересовала их гастрономия: что можно и чего нельзя есть. Бронзовый скульптурный Муслим (так звали хозяина) отвечал уклончиво и немного брезгливо. Когда он ушел, официант объяснил, что Муслим — буддист. Так сегодня для меня сошлись в окрестностях Сwonси Крайний Запад и Крайний Восток.

Вечером в кампусе было очень скучно.
Буе, буе.

*Денис Ибн Константин,
эмир Ойстермутский.*

14.11.1994. Понедельник. Сwonси

Здравствуй, Кирилл!

Сегодняшнее утро началось с потопа, который я устроил в ванной: не рассчитал, что при местном сильном напоре воды британская ванна наливается за одну минуту. Услышав плеск, я в ужасе вбежал (точнее — вплыл) в ванную комнату и четверть часа вытирал пол.

Первые несколько дней самым большим святотатством для меня было ступить на английский газон. Нельзя же в самом деле ходить по картинам!

До ланча встречался с Ричардом Уильямсом. Этот мощный старик (скажем по-остаповски), как я потом выяснил, казначей брекконского собора, был весьма сдержан, говорил мало, но учтиво и исчез навсегда, оставив в подарок с десяток своих публикаций.

Кстати, о подарках. Почти четыре часа провел я в Археологическом объединении Гламоргана и Гвента. Энди Уорвик — прыщавый, краснолицый, порывистый парень — водил меня по этой со вкусом и размахом задуманной организации. Один архив чего стоит! Тут видна иная сторона британской страсти ко всякого рода древностям, нежели в обществе историков-любителей: не диккенсовские старички и старушки, а энергичные мужики и бабы верхом на компьютерах; но суть та же — расковырять последний гвоздик в своей стране, дабы выяснить, не был ли он забит правнуком того самого бейлифа, который при проезде Генриха III через его город крикнул: «Да здравствует король!», — что зафиксировано в дневнике королевского повара, изданном в журнале «Archaeologia Cambrensis» за 1859 год. Однако вернемся к подаркам. Последний, с кем меня познакомили в этой археологической корпорации, был ее (корпорации) директор. Веселая английская душа. Добрый малый. Он презентовал мне (по собственному выражению) «дипломатические дары»: целый ящик их изданий плюс свернутые в трубу археологические постеры. И я, несчастный представитель народной дипломатии, поплелся со всем этим пешком: из Сwonси в Университет! Как протащу дары археологического Санта-Клауса через весь Уэльс, через весь остров, а потом в Россию? Загадка.

До десяти вечера — библиотека. Потом соорудил ужин из «Риохи», чеддера, маслин, итальянских булочек, яблока и чудного розового анжуйского.

Привет.

Денис.

15.11.1994. Вторник. Сwonси

Ура! Кирилл,

сегодня утром чуть-чуть солнышка. Сегодня ровно неделя, как я в Британии. Вступила в свои права рутина («it's routine», — говорят местные. Что значит: «Это обычно»). Писать совсем не о чем.

Утром встречался (во второй раз) с Айваном Свитлэндсом: как обычно (it's routine), покурили, поболтали о замках, гарнизонах и донжонах*. Айван, как и все здешние ученые, чудак; но их чудачество конвейерное (мятые пиджаки, вегетарианство, придурковатый конформизм или «нон-», не важно), а его чудачество — штучное. Во-первых, он курит, чем приводит в ужас людей типа Мередита (последний мне сообщил доверительно, что уже семнадцать лет не ест соли. На вид ему лет сорок пять). Кабинет Айвана — единственное место в историческом департаменте, где пускают дым в потолок. Во-вторых, мистер Свитлэндс диковат, мрачноват, чрезвычайно худ, высок, черно- и длинноволос, нахмурен лбом. Иными словами, весьма смахивает на шотландца, точнее, на шотландца-горца. Похоже, и слабость у него чисто шотландская: в 9.30 утра от Айвана пахнет спиртным, что на Валлийщине, триста лет назад протрезвленной нонконформистской революцией, немислимо. В-третьих (и в итоге), он неудачник: ни «Dr.», ни «Prof.» не красуется на двери его уютного проникотиненного кабинета. Чуть не забыл: он сам варит кофе. И крепчайший! Учтем: чаезаваривание выродилось здесь в швыряние пакетика в кружку кипятка, а кофеварства и в помине не было.

Ожидая Мередита, я зачем-то выпил пива в студенческом пабе (наверное, Свитлэндс вдохновил), и последующая встреча, ланч, прогулка в парке и поездка в Сwonси прошли в легкой дремоте и невольных ответах. Был доставлен в Архивную Службу Западного Гламоргана. Там водили по залам, набитым (sic!) удалившимися от дел джентльменами, выращивающими фамильные генеалогические роци. Я имел удовольствие мило шутить и задавать умные вопросы, несмотря на то, что дико разболелся живот. Не обошлось без «дипломатических даров».

Вечером в библиотеке так заработался, что по рассеянности справил малую нужду в женском туалете. What a shame!** Слава Богу, никто не видел. Вот и все.

Денис.

16.11.1994. Среда. Сwonси

Дорогой Кирилл!

Солнце, солнце не на шутку! Принарядился, навесил галстук и пошел фотографироваться в кабинет Мередита, дабы войти в местные анналы. Кажется, вошел (в анналы) и вышел (на фото). Потом, в библиотеке, встретил Свитлэндса, который сказал, что в галстук я похож на бизнесмена. Ну-ну.

После ланча посетил Русский Департамент и его главу профессора Скотварда. Убогое место. Скотвард — сухой, неприятный и почему-то развязный дядька, специализируется в прозе Чингиза Айтматова (помнишь такого?). Чудно. Его коллеги более живописны, например, саркастичный гжучий брнет — чехолоб и чеховед, нынче ставший введом Венички Ерофеева. Или тетенька совсем советско-вузовского вида, промолчавшая всю встречу, но яростно строя в блокнот. Я, так сказать, «расстегнулся», нес ахиною о современной русской прозе, рекламировал Левкина и Померанцева***. Преподнес им журнал с твоим эссе о де Саде и Чернышевском. Увидев имя Николая Гавриловича, басурмане залопотали: «Фластитель тум! Пыфший фластитель тум!» Славный

* Донжон — стена между двумя башнями. ДК звал их «донжуанами».

** Что за стыд! (англ.).

*** Андрей Левкин и Игорь Померанцев — любимые современные русские прозаики ДК.

народ — филологисты... Кстати, в английском языке нет слова «культуролог». Нет такой профессии в Соединенном Королевстве. Говорят так: «cultural historian», т. е. «историк культуры». Это они чтобы разных там лягушатников уесть: Фуко и прочую банду. В том числе Умберто Эко. Да и кто такой Эко в стране Толкиена?

Днем гулял в парке, трогал деревья, ворошил листья, щекотал в ноздре можжевеловым, следил полет аэроплана, изучал траектории беличьих прыжков. Щасливая страна!

Вечером Мередит представил меня Ксавьере фон Бируст — конопатой жещинке, радеющей о российских фермерах. Большую часть года проводит она в Нижнем Новгороде, радея. Святой человек! Зачем ей это? Зачем это пейзазам расейским?

День, как обычно, завершили штудии. Устал сильно.

(Писано на следующее утро, перед отъездом в Кардифф.)

Денис.

17.11.1994. Четверг. Свонси

Кирилл,

как явствует из предыдущего письма (отправленного сегодня утром), этот день я провел в Кардиффе, официальной столице княжества Уэльс. Целью путешествия был CADW (некто вроде государственного общества охраны памятников истории). Принимал меня Робин Дэвидсон. Он — видимо, здесь так принято — протащил гостя по своему офису и подробно поведал механизмы функционирования оногo. Функционирует и еще как! Слава Богу, меня не мучили здесь так долго, как в археологическом тресте, но презентовали не менее тяжелую грудку книг, чем там. Увы, придется тратить очередные пуды стерлингов и слать книги в Россию почтой...

Робин, молодой сухой очкарик, повез меня смотреть окрестные замки, окустоденные* их обществом. Сначала был замок Гох — трогательный, миниатюрный, игрушечный, притаившийся среди гор и лесов. Собственно, это произведение уже конца XIX века, когда четвертый или пятый маркиз Бьют вместе с архитектором Бёрджесом** реставрировали англо-норманнские развалины XIII века в уютненьком таком французском неоготическом духе. В покоях пестренько, эклектично и мило. Вообще семейство Бьютов изрядно потрудились в здешних краях — в том же домашнем стиле реконструирован замок в Кардиффе, но он больше и стоит посреди современного города, а вот Гох очарователен своей уместностью, своей контекстуальностью в кубе: исторический контекст (норманнский замок) помещен в историко-культурный контекст (финде съекль***, стилизаторство) и окружен природным контекстом (горы, зеленая трава, ярко-ржавые листья). Дэвидсон в своем археологическом пуристском рвении роптал на маркизов-дримоделов****, этих упадочных нуворишей, а я тихо тащился.

Потом был замок Кэрфили. Кэрфили почти не реконструировали (победительно сообщил Дэвидсон), и вот он передо мной: огромный, серый, концентрический, TERRIBLEНЫЙ, окруженный водой, похожий на нижнюю челюсть акулы, давно не обращавшейся к дантисту. Бегали туда-сюда, вверх-вниз, глазили на балласты и катапульты, обсуждали совсем по-детски: можно было в XIV веке взять такой замок или нет? Кромвель и здесь подгадил короне: взорвал мину под одной из башен, она треснула у основания и наклонилась. Так, в

* От английского «custody» — опека.

** Построил здание Парламента в Лондоне.

*** Конец века (*фр.*). Так именуют эпоху между франко-прусской и первой мировой войнами.

**** От английского «dream» — мечта.

полупоклоне, и стоит до сего дня (точь-в-точь как Британская монархия). Небось, рухнет когда-нибудь, задавит группу любознательных японцев...

Экскурсия сильно притомила меня, и, когда был доставлен в Национальный музей Кардиффа, накормлен и оставлен сингулярным, гость не имел сил насладиться весьма достойными примечательностями заведения. Гость устал. Три вещи привлекли его отяжелевший и помутившийся взор (вздор?): нежные венецианские виды Клода Моне; раннесредневековые кельтские каменные кресты — грубые, массивные, но изящно изукрашенные вовсе не европейской резьбой, не имеющие абсолютно никакого отношения к человеческому глазу и к человеческой руке; милая посуда, фарфор, стекло, серебро из Англии, Франции, Италии, Германии XVIII—XIX веков. В контрадикцию крестам, это — очень человеческое, милое его глазу, рту, рукам. Может быть, «слишком человеческое», но именно такие вещи спасают от безумия.

Поезд из Кардиффа в Сwonси идет час. Прибыл в родной таун в начале седьмого. Топал домой около часа (во тьме чуть не заблудился). Устал, очень устал.

Спокойной ночи.

Денис.

18.11.1994. Пятница. Сwonси

Так-то вот, Кирилл,

хороша воспетая российскими собкорами западная пунктуальность! Питер Джарретт обещал свозить меня сегодня в замок Кидвели. Я проснулся в смертельную рань, почистил крылышки и полетел в политологический департамент, как было условлено. И что же? На двери офиса обнаружил следующую записку:

«Denis

Peter is unwell and regrets He cannot meet you».

Он видите ли, «нехорош» (т. е. болен) и сожалеет о своей неспособности встретиться со мной. Как же он нехорош! Не мог дрожащей от инфлюэнцы рукой набрать пять цифр моего телефона вчера вечером и выдохнуть горячечными микробами в трубку: «Не могу, земляк, заболел...». Хочется долго и витиевато материться и слагать ругачие стихи с рифмой «unwell» — «заболел». Между прочим, вспоминается теперь, что автобус «Лондон — Сwonси» опоздал на час, а поезд «Сwonси — Кардифф» — на полчаса. Нет на них нынче стальной лапки Маргарет Тэтчер, распустились бритты, англы, саксы, пикты и скотты, будто советские интеллигенты. Позор!

Что же, пришлось менять планы. Разослал рождественские поздравленьца, достал ящик и упаковал книги, повозился по хозяйству, пожмыхал бельишко. Отправился в библиотеку. Там на обычном своем столе обнаружил приглашение на спектакль местного студенческого театра: «Cherry Orchard. By Anton Chekhov»*. Сидел и думал: идти ли на этот черри-бренди? Ну их к бису, пусть «бис!» орут аборигены, а я уж раз в Кидвели не поехал, то и в вишневом саду на британский манер гулять не буду.

Правильно сделал, что не пошел. Прощально поработал в библиотеке (послезавтра переезжаю в абериствитский колледж), добил до нуля ксероксную карточку, а вечер провел в «Таверне на озере».

Хорошо начать с пинты валлийского (и один виски), продолжить пинтой «Гиннеса» (и один виски), добавить пинту немецкого «Хайнекен» (без виски), потом заказать картофелину в жакете (на нашей воинственной родине картошка непременно одета в «мундир») с сыром и грибами плюс бокал дрянного разливного сушнячка, довершить ужин слабохарактерным кофе и одним бренди и отправиться гулять в ночной синглтонский парк, касаться мокрых кустов и деревьев, вдыхать сладкий, влажный, бархатный воздух!

Пока.

Денис.

* «Вишневый сад» Антона Чехова (англ.).

19.11.1994. Суббота. Сwonси

Кирилл!

Week-end. Разгар конца недели. Последние сутки в Сwonси. С утра моросит. Тепло. Я всласть повалялся в постели, принял ванну, побрекнул и отправился в город с целью шопинга. Часа три бродил по многолюдным улицам среди предусмотрительно изготовившихся к Рождеству магазинов. Так промок, что начал всерьез прицениваться к зонтам в какой-то лавке. Приценился и вышел. Скардность разыгралась. Как пришелец, так и ушелец. Зато накупил прелестных безделушек. Зачем? В общем, скучно и как-то чемоданно. Завтра покидаю Сwonси и — как знать! — может, более не увижу его никогда. Страшное словцо — «никогда». Невермор. Но, как говорил Джеймс Бонд, никогда не говори «никогда»*...

Пообедал, если это можно так назвать, взяв в студенческой кулинарии сэндвич с салатом и франкфуртер. Жуткая гадость. Разболелся живот. Почему в уик-энд в кампусе ничего не работает? Буду жаловаться!

Ближе к вечеру пошел на бензоколонку за сэндвичами. Туман, склизь, к тому же сломались очки. Ничего себе, конец разгара последнего уик-энда в Сwonси! Но вынесем, вынесем все и широкую. Ясную. Грудью. Если принять на ту самую грудь. Можно что угодно внести и вынести, ежели рядом «Таверна на озере». Пишу там. Продолжая вчерашнюю тему: хорошо начать пинтой валлийского (без виски) и продолжить пинтой «6X». Закурить «голуаз». Попробовать описать обстановку. Длиннющая, буквой «Г» стойка. Огни, огоньки и огнища разных цветов: сверху — с низкого потолка с балками, снизу — из-за и из-под стойки. Играет «Blood, Sweat & Tears»**. Крисмасные флуерашечки везде. В таверне пусто. За стойкой три бармена; вернее, два бармена и баргёл. Один — типичский: с лысинкой на затылочке, усами, бакен и бардами, голубая рубашечка с галстухом. Исполнительно-обезьяньи ужимочки. В общем, хорош. Тянут пиво, но сноровки не теряют. У стойки на табурете обвисает пьянущий абориген; сначала наливался, потом ел; что будет дальше: блевать? Так как я один сижу за столом, то создается впечатление, что все это для меня. Обманчивое, впрочем. Зал обделан деревом (обдерен деланным), но неуютно. Плохая стилизация. Цивилизация — плохая стилизация культуры, сказал бы Шпенглер. Добавим от себя: хорошая стилизация — это и есть культура. Хороших стилизаций не бывает, отпаривает творец «Заката». Ну и черт с ним! Здесь вполне безопасно и говорят все по-басурмански; значит, можно писать и думать на родной мове. Воспоследовала пинта боттингтонского. Кстати, пиво местное не сильнее, чем у нас в чашке в разлив, но мягкое, безопасное для больных желудков и имеет неназойливый пахучий вкус (может ли быть «пахучий вкус»? Может). Пьяный мужик сказал «бай-бай» и уполз. Девица за стойкой задумчиво разглядывает свои неслабые tumbles. Обезьянер заигрывает с ней, но снисходительно, по-домашнему.

Пинта «Флауэрс», три двойных перно (со льдом), один виски.
Хватит. До завтра.

Денис.

20.11.1994. Воскресенье. Абериствит

Снова, Кирилл,

снова жизнь на колесах. Жизнь на ниссановых шинах. Утречком упаковался и принялся ждать Мередита. Тот не замедлил. Четыре часа мы пробирались хайвэями по этой приятственной стране, невероятно удачно раскрашенной Гос-

* ДК обожал фильмы про агента 007 (но только с Шоном Коннери в главной роли). Мой друг утверждал, что это лучшее воплощение мазохистского английского юмора. «Ты только посмотри, — смеялся он. — Бонда же все время бьют!»

** Американская джаз-роковая группа.

подом. Смотрели замки (Кидвели, Эмлин, Кармартен, Кардиган; самый очаровательный, если так говорят о фортификации,— Эмлин, стоящий на излучине Тайви, почти на острове, река там слегка водопадает, склоны бегут ввысь и не забывают на ходу обрастать ржавого цвета лесной щетиной). Болтали. Я вообще в этот день столько говорил по-англицки, что безмерно устал и вечером оконфузился, забыв слово «younger»*. В сумерках очередное крошечное посещение оказалось целью нашего вояжа. Абериствит. Встречали профессор Дэвид Рис с женой. Милые, на пороге старости люди. Милый дом, милый чай. Милый Рис — сухой, чуть сгорбленный, с повадками Миши Сеславинского — полная противоположность плотному, энергичному, склонному к апоплексии Мердиту. Впрочем, с последним прощался чуть ли не со слезами. На кой черт я ему сдался? Тратил деньги, время... Загадки валлийской души.

Отконвоировали меня в общагу. Да-с, Кирилл, кончились мои золотые деньки: узкая монашеская келья, кровать, небольшой стол, умывальник. Батарея — холодная. Ванная — общая. Туалет тоже. На кухоньке строгое «never»** по поводу питья некипяченой воды. Кормят, правда, здесь бесплатно, но по расписанию. Натуральный монастырь. Что ж, буду молиться. По-валлийски.

Вечером ужинал в семействе Рисов. Мучился с ножами-вилками. Вел светские беседы. Утомился. С трудом дописываю. Бай-бай.

Денис.

21.11.1994. Понедельник. Абериствит

Здравствуй, Кирилл!

Утро несколько развеяло мою мрачность. Солнышко, прохладно, батарея стремительно нагрелась. Позавтракал и для бесплатного брекфаста — вполне прилично. Зашел Рис и потащил меня в исторический департамент и библиотеку колледжа. Все это на высоченном холме. Озирал море и городишко. Ирландия где-то там, на западе, напротив. Библиотека явно поплоче, нежели в Свонси, но девушки симпатичнее. Впрочем, ненамного. Пишу сие лицом к стенке — не фигурально, а натурально: за приставным столиком, спиной к залу, по бокам — полки с книгами (Кельтская коллекция). А у меня на столе — это письмо и сборник мемуарий о Витгенштейне***. Ха-ха-ха! Вот им!

Мур пишет: «Витгенштейн считал, что то, чем он занимается — «новый предмет», а вовсе не то, что раньше называли «философией». Ему задали вопрос: «Почему тогда этот «новый предмет» сам Витгенштейн называет философией?» Витгенштейн отвечал так: «Новый предмет» действительно похож на то, что раньше называли «философией» по трем аспектам: 1) он очень общий, 2) он основополагающ и для обычной жизни, и для наук, 3) он независим от каких бы то ни было результатов наук; поэтому применение слова «философия» относительно него не будет вовсе произвольным». И далее: «Он не пытался окончательно разъяснить, что же за *новый метод* он нашел. Но он дал несколько намеков относительно природы этого метода. Он заявил, что *новый предмет* есть нечто вроде приведения в порядок наших представлений о том, что может быть сказано о мире, и сравнил его с уборкой комнаты, когда вы несколько раз двигаете некий предмет, пока не поймете, что в комнате порядок. Он также сказал, что мы находимся в *недоумении о вещах*, которое мы должны прояснить; что мы должны следовать некоему инстинкту, который заставляет нас задавать некие вопросы, хотя мы не понимаем их (вопросов) зна-

* Моложе (англ.).

** Здесь: ни в коем случае (англ.).

*** Витгенштейн был культовой для ДК фигурой. В подражание его «Философским исследованиям» и «Логико-философскому трактату» мой друг сочинял «Историко-логические рукописи». Подробнее о некоторых аспектах отношения ДК к Витгенштейну см. мое эссе «Василий Васильевич / Людвиг» в № 6 «Urbi» (1996).

чение; что наше вопрошание проистекает от *смутного умственного беспокойства*, схожего с тем, который заставляет детей спрашивать «почему?»; и что таковое беспокойство может быть вылечено *либо демонстрацией того, что вопросы этого рода не разрешены, либо ответом на них*. Он также сказал, что не попытается учить нас каким-то новым фактам, что говорит нам лишь *тривиальные вещи — вещи, которые мы уже знаем*; но дать *краткий обзор* (synopsis) этих тривиальностей чрезвычайно сложно, и наш *интеллектуальный дискомфорт* может быть удален лишь обзором многих тривиальностей; *если мы что-то выпустили, то останемся с ощущением неправильности*. В этой связи он заявил, что неверно говорить о нашем стремлении к *анализу*, так как в науке *анализ* воды означает открытие новых фактов, например, что вода состоит из кислорода и водорода. В то время как в философии *мы уже в самом начале знаем все необходимые для нас факты*. В этом смысле мне кажется, что, требуя обзора тривиальностей, он представлял философию весьма схожей с этикой и эстетикой». Курсив Мура (курсив — мура?).

Раскладывая вещи и на дне сумки нашел свою старинную толстую ручку с кучей цветных стержней. Она напомнила располневшие ружья Шварценеггера. Лучше бы там был запасной зонт. Здоровьице у меня не терминаторское.

Снаружи абериствитская моя общага похожа на удачную помесь тюдоровского помещичьего дома и крематория. Доказательством последнего являются жирные кирпичные дымоходы и не в единственном числе. Почему «удачная помесь»? Потому что вид у здания жутковатый. А внутри — пропахшая столовой богадельня. Общее название (по-валлийски) — «Pantycelyn».

После ланча Рис отвел меня к доктору Барри Эндрюсу, странноватому такому типу с неровными (хуже моих) зубами. Блестя очками, доктор Эндрюс восторженно поведал о полной компьютеризации судебных дел графства Диффрин Клуид за XIV—XV века. Я восторгулся. И тут же выпросил у него распечатку данных, касающихся эпохи Столетней войны. Расстались взаимно довольные. Все бы ничего, да разболелся живот и вообще хотелось побыть одному. Пошел гулять: спустился в город, поглазел. Сдается мне, что городок паршивенький (по местным меркам, конечно), скучный. Обошел обязательный замок. Слушал прибор, и в тысячу раз лучше любого города на свете были горы справа и слева от залива, море, закат, милое нисходящее солнышко, подернувшее нежным старческим румянцем каменные щеки Абериствита. Вкусил. Пошел назад. Трапезничать с настоятелем моей общаги. Иначе, чем «трапезой», это действие назвать невозможно. Студенческие столы осеняет расположенный на специальной приступке Высокий Стол для настоятеля, преподавателей и аспирантов. За Высоким Столом я и изволил откусать. По правую руку от настоятеля. Шутил. Общий вид залы — нечто среднее между монастырской трапезной и столовой в Советской Армии. О сем не замедлил доложить настоятелю. Не уверен, что шуточка ему понравилась. И вообще скучно здесь, как в монастыре. Это же надо — ходить в библиотеку (в третий раз на дню!) от нечего делать. Так можно и «настоящим ученым» стать.

Не стану. В библиотеке бродил меж книжных полок, листал разные книги. Вот пуды трудов о Борхесе. Скучно, учено; на дурацком вузовском жаргоне — «диссертабельно». Потом случайно наткнулся на русский эмигрантский «Новый журнал». Раскрыл. Прочитал идиотско-враждебный некролог Набокову, писанный В. Вейдле. Только название относительно удачное — «Исчезновение Набокова». Такова для русского писателя расплата за попытку «отдельной жизни»! Прочие статьи — шизофреническая дрянь, хуже газеты «Правда» за тот же 1977 год. Вот она, Родина, как пахнет? Нет, не так. Обнаружил «набоковскую полочку» и сразу стал читать воспоминания о Владимире Владимировиче, и пусть то был полужнакомый язык, но запах Родины — другой, чистый, раннесентябрьский, сладковато-горький, кристально-резкий, запах набоковской прозы — пришел. И сразу раздвинулись стены библиотеки, и басурманский гам отступил назад, и чеканные, полновесные, червонные рус-

ские слова посыпались в мою голову, словно монеты в музыкальный ящик. Заиграло: «Отвяжись, я тебя умоляю...» И вспомнилось, что я шарлатан, оторви-дабрось, русский литератор, шаромыга, шантрапа и в голове моей — вселенная звуков, перезвон, рокот, шушуканье согласных, гаммы гласных, лабиринты интонаций... И что обманывать доверчивых британцев на предмет моего интереса к их уездам — хорошо, ибо это вовсе не обман, а правда; но интерес мой — побочный, не больше бабочьей энтомологии. Выпала эта карта, что же. Пусть будет так. Но петухи поют на рассвете, а сверчки стрекочут на закате, ручка — наготове, литеры кириллицы начищены до блеска и ждут, готовые лечь в обойму слова. И зрелая первая фраза рассказа падает на белый лист...*

Ну и ливенюга отхлестал меня по дороге домой!

Денис Мокрый.

22.11.1994. Вторник. Абериствит

Дорогой Кирилл,

сегодня был хороший день, но писать почти не о чем. Позавтракал, постирал, помыл голову и пошел в библиотеку. В ванной комнате — грозное предупреждение любителям полоскать рот некипяченой водой.

После ланча гулял, благо погода была прелестнейшая. Спустился к морю, затем добрал до мола (слева, если стоять лицом к Ирландии), вернулся к замку, затем — до конца набережной справа. Прогулка заключенного в библиотечном раю. Судя по набережной, городок типично курортный, но не сезон. Вдыхал запах водорослей, слушал плеск волн, лицезрел горизонт. Был в настроении буддическом: растворялся в обстановке до последнего капилляра.

Вчера профессор Рис дал мне почитать книгу Хамфри Карпентера об «Инклингах»**. Я было погрузился в нее после прогулки, но вышло так, что погрузился не в книгу, а в сон. Умаялся гуляючи. Впрочем, Толстой говорил, что послеобеденный сон серебряный, а дообеденный — золотой. Вот я и обедал (за Высочайшим из Столов) со сплвшимся золотом в голове. Не золотом ли забит мой несчастный нос?

Вечером вновь сидел в библиотеке и ворошил «набоковскую полку». Наткнулся на знаменитое четырехтомное издание «Онегина» — этот аттракцион неслыханной усидчивости ловца бабочек. Какая удача! Теперь можно вечерами затаиться в уголке, в окружении кельтских книг, крошечного городка, Княжества Уэльс, Соединенного Королевства, читать Пушкина по-русски и разбирать англоязычные набоковские комментарии.

Вот о чем я еще думал. В Сwonси «меня» не было, я был съеден плотным чужеземным контекстом: чужой речью, туманом, историками, пивом, замками, деньгами в бумажнике. Вернее, я был весь — *усилие* приноровиться ко всему этому, вписаться. Здесь, в Абериствите, я по привычке, что значит — «приобрел привычки» и вновь стал «я», а окружение, контекст сделались и прозрачнее, и прозрачнее. Я начал думать. Вот незадача!

До завтра.

Денис.

23.11.1994. Среда. Абериствит

Кирилл,

длина моих писем обратно пропорциональна длине моего пребывания в Британии. Тебе, наверное, надоело это назойливое библикание: библиотека, библиотека, библиотека... Что делать, как говорит наш общий знако-

* Весь этот абзац — пародия на смехотворно-напыщенный стиль одного из сочинений публикатора.

** «Инклинги» — оксфордский кружок литераторов, филологов, историков. Его костяк составляли Д. Р. Толкиен, К. С. Льюис, Ч. Уильямс. Из этой троицы ДК почему-то предпочитал К. С. Льюиса. Странно, что не Толкиена, не правда ли?

мый, что получилось, того и хотел. Не где-нибудь, а в би-библиотеке был сегодня представлен объемистому русскому парню-кельтологу из Питера — Леше Фадееву. Мы удивленно потрясли головами, потом руками, потом пачками сигарет, но последнее — уже на воздухе, вне бессмокинговой зоны. Выяснилось: последний (до нас) русским в Абериствите был знаменитый Пол (Павел) Виноградов, державший торжественный спич при открытии местного колледжа в 1904 году. Судя по негодующим взглядам аборигенов на выдуваемый нами дым, русских здесь не будет еще лет девяносто. Договорились как-нибудь выпить.

Вечер провел на инаугурационной лекции профессора Глобтроттера в старом здании колледжа. Ничего себе. Сначала один ряженный (в черную тогу) отпускал шуточки, представляя профессора Глобтроттера, потом последний (ряженный в сине-красную тогу) отчитал лекцию о судьбах французского языка в средневековой Англии, почему-то называя его «англо-норманнским». Видимо, тем самым реализовывал британское презрение к «лягушатникам». Хлопали. И я.

Плелся обратно пешком, грустно поглядывая на пабы. Но мимо, мимо.

Пиво по-валлийски «куру». Помнишь песенку группы «Ноль» «Иду, куру»?

Денис.

Р. S. Фамилия для валлийского бармена: «Курицын».

24.11.1994. Четверг. Абериствит

Дорогой Кирилл,

ты, наверное, уже понял: меня одолела хандра, на меня навалилась бессонница. Где тот запойный хлорал*, что даст мне шесть часов покойного сна ежесуточно? Если и сплю, то под непреременный видеоряд. Сегодня ночью был черно-белый: улицы, перевернутые трамваи, люди в длиннополых пальто, в шляпах, но с винтовками тараканами шмыгают туда-сюда. Вползает неуклюжий танк. Шмыганье длиннополых прекращается. Повсюду трупы. Только после этих кадров включается звуковая дорожка, из которой узнаю: это не варшавское восстание сорок четвертого года, а новый путч в Москве. От ужаса просыпаюсь — шесть утра. Тревога и замирание в сердце. Решил позвонить в Россию, но рано еще — там только три часа ночи. Усидеть в келье не смог и три часа шатался по молочному утреннему Абериствиту, глотая туман с бензином пополам. Дозвонился. Все вроде ничего.

Был сегодня торжественный обед с участием супругов Рисов. Примечательное мероприятие. Сначала настоятель богадельни собрал насельников Высокого Стола в Комнату для Старших. Явились Рисы. Был предложен аперитив: либо стакан апельсинового сока, либо длинная рюмка шерри (попросту — хереса). Я сдуру (помяная похмельного Веничку) позарился на второе. Да-с. Пивали мы такой шерри при советской власти по два двадцати за ноль восемь. Хлебнув, долго искал взглядом плавленый сырок. Увы. Переместились за Высокий Стол. Откушали. Настоятель настоял: настоящий чай настаивается лишь в комнате настоятеля. Гуртом побрели туда. Развалившись в кресле, со стаканом бездарнейшего из чаев я минут сорок мирно обсуждал последний регбийный матч в Кардиффе, изучая голенастые ножки и тонкие губки аспирантки с божественным именем Неста. Зрительно, конечно.

Милые они люди, валлийцы. Хорошие. Слишком хорошие. Не возникает в их компании чувства интеллектуальной провокации, чувства опасности, которое подстегивает мысль, подгоняет сердце, так что «в крови бьется тигром ад-

* Скрытая цитата из старческого стихотворения обожаемого ДК князя П. А. Вяземского. «Хандра с проблесками» мой друг знал наизусть.

реналин». Не бьется. Поэтому я тупею здесь, нервы мои заплывают жиром, уходит дар — дар писать (хотя бы эти послания) так, как я умею, не в смысле «хорошо» или «плохо», а интонационно, как я умею. Вообще же людям здесь жить хорошо, уверенно и богобоязненно. Попади сюда многие наши знакомые — стали бы иными, быть может, нравственными. Например, Х инкарнировался бы в чудакватого валлийского патриота, а не верховодил шайкой фашистских ублюдков. И Y не конторил бы, а стал тишайшим из ученых. Z жил бы гораздо лучше, лепя не русские, а кельтские горшки. Уже не говорю об А, В, С.

А я бы не смог. Дурацкая, бесприютная кровь все толкает меня куда-то. Вот дотолкнула до западных пределов Европы. Куда дальше? Где моя Ultima Thule?

Денис Бездомный.

25.11.1994. Пятница. Абериствит

Дорогой Кирилл,

работаю, работаю, работаю! В полдень в библиотеку ворвался уже почти родной Мередит. Приехал последний раз повидать заморского гостя и выдать положенные ему фунты. Потом подошел Рис и мы, весело щебеча и похохотывая, съели ланч. Мередит вручил мне пухлый конверт и исчез. Теперь, кажется, навсегда. Профессор Рис обещал свозить меня завтра в замок Кастел Бере. Полный денег и обещаний, я отправился в исторический департамент слушать лекцию профессора Беверли о предпосылках первой валлийской кампании Эдуарда I. Студентов немного, но все пишут, никто не треплется. Сама лекция, неспешная и грустная, не поражает, нечто вроде баек академика Панченко о русских царях. Но, видимо, по Сеньке (студиозу) и шапка. Профессор Беверли — беленький такой, маленький, почти старичок, весьма медлительный, но приятный. Попили чайку, потрепались. Хочет пригласить в воскресенье на обед. Благодарствуйте.

Нынче сосед (и по Высокому Столу, и по коридору) малазиец сказал мне, что аглицкий мой весьма хорош: грамматика безупречна, а вот со словарным запасом туговато. Ужель? Никогда не знал грамматики..

Вечером в крематории почему-то не кормили. Пошел в город. Поел что-то омерзительно псевдоитальянское. Выпил бутылку пива за твое здоровье. Такая тоска смертная, что даже в паб лень идти. Бродил по набережной под ледяным дождем. Амбrella моя, где ты? Согласен даже на шпионский зонтик с ядом, лишь бы сухим выйти из-под небесной воды. Увы. Совсем раскис, точнее, размок, скука, унылая, злая, тупая, аж желчь вскипает. Поплелся в общагу, но уже у выхода передумал и направился в библиотеку (и правильно!). Полтора счастливых часа среди Кельтской Коллекции.

В десять вечера, спускаясь с холма домой, встретил толпы возбужденных, отвратительных, ошизевших от предвкушения танцулек студентов (оказывается, сегодня Большие Университетские Пляски). И впрямь, деревня. Все прутся в клуб обжиматься. В довершение я не мог попасть в родной крематорий: двери заперты, видимо, для предохранения драгоценных валлийских целок от посягательств разного рода недокельтов. Хорошо, хоть у одной из дверей дежурил аспирант — сосед (припахали! не все за Высоким Столом сидеть). Вот я и в келье. Торшер льет подсолнечный свет на стол. Дымится чай. «Инклинги» открыты на сто семьдесят пятой странице. Злость немного улеглась. Скука осталась. Хорошее начало уик-энда.

Бай.

Денис.

26.11.1994. Суббота. Абериствит

Кирилл,

Week-end in the United Kindom of Fish & Chips is a national disaster*. Утром встал, умылся и, решая в уме сложный вопрос: попросить добавить бобов к яичнице с беконом или не попросить,— пошел в столовку. Хрена тертого не желаете? По субботам и воскресеньям не кормят. О'кей. Поднимаюсь в кафе Арт-Центра. Sorry? С десяти. Последняя надежда — студенческий магазин. С одиннадцати. Thank you. Что же, главное — это не пить некипяченой воды. И рот ею не полоскать. Особенно после сытного завтрака.

Прибрел домой, нахлебался пустого чаю, дождался Риса.

И все-таки сегодняшний день был днем сплошного счастья. Семь часов мы колесили по неопикуемым хребтам и ущельям графств Давед, Пауис, Гвинет в тумане, который клочьями проплывал, цепляясь за вершины гор. Я завтракал в Маханхлете, имел ланч в Абердави, курил «житан» у подножия Кадер Идрис. Мы протопали три-четыре километра до Кастел Бере, осмотрели замок и все это время кутались в уютное немногословие, как и подобает почтенным британским джентльменам. Никогда в жизни не видел подобного ландшафта. Зеленое и ржаво-красное нависание гор, узкие ущелья, зеленые долины, ручейки, фермерские домики из местного слоистого камня, водопады и на нескончаемом зеленом ковре (постеленном на всю эту страну) — белые букашечки-овечки, словно пришпиленные к коврику булавками. Парадиз. Где-то здесь растворился в воздухе Овайн Глендур**. Где-то здесь прятался бежавший из школы Де Куинси***.

И вот вечер. Сижу в богадельне. Обед не дадут. Тепло отключили. А я счастлив.

Денис.

27.11.1994. Воскресенье. Абериствит

Как ты думаешь, Кирилл,

с чего началось сегодняшнее утро? Утро началось с того же адского холода в комнате и закрытой двери в столовую. Выпив чаю и сжевав заготовленные накануне яблоко с бананом, я отправился гулять. Бродил по набережной, разглядывал яхты. Обрядился в костюм и отобедал у супругов Беверли. Потом снова гулял. Похолодало. Резкий ветер, море — голубовато-зеленоватого оттенка, как вода в бассейне.

Вот что я думал. «Бестелесное сладострастие» — что это****? Это когда идешь по глухой ночной набережной и слева от тебя жутковатые сплошные стены, иногда дома с чрезвычайно редкими окнами, и каждые пятьдесят метров — фонарь; нестерпимо искусственного, медного цвета пятна на асфальте и столбы воздуха вокруг этих фонарей сначала отбрасывают твою тень назад, а затем заставляют ее догонять тебя. А справа, за парапетом, вздыхает и ахает почти невидимое в черной синеве море; только огонек какого-нибудь рыбака. Или это маяк? И, конечно, белые барашки волн, рожденные из ничего и в ничего расплзающиеся. Порыв ветра далеко отшвыривает твой окурок и опрокидывает пустую пивную банку, мимо которой ты уже

* Уик-энд в Соединенном Королевстве Жареных Рыбы и Картошки — национальная катастрофа (англ.).

** Вождь валлийского восстания против англичан в начале XV в. По преданию, исчез, чтобы в будущем вернуться и изгнать завоевателей.

*** Уезжая в Уэльс, ДК сказал: «Буду чувствовать себя там, как Де Куинси, бежавший из школы».

**** ДК водил своим хищным, безжалостным вкусом, как прожектором ПВО. Литературные его предпочтения были прихотливы и небесспорны. Мрачноватое барокко стихов Елены Шварц меня не прельщает, он же был в восторге почти от всего ей написанного. И особенно выделил «Бестелесное сладострастие». Такие фразы оттуда, как «Но когда я пылинкою стану — / Вот тогда моя явится суть» и «Моя пыль так любила твою!», стали любимыми присказками ДК. «Бестелесное сладострастие», видимо, и вызвало последующий кусок письма. «Письмо от двадцать седьмого ноября написано соплями», — предупредил мой друг сразу после приезда.

раз двадцать прошел туда-сюда, думая: «Что же такое бестелесное сладострастие? Это если, наверное, водить тебя, Оля, в такой вечер по абериствийской набережной, иногда молча, касаясь холодными пальцами, иногда объясняя тебе маленькие хитрости здешней жизни, ибо большой хитрости в здешней жизни нет. Или сидеть с тобой в пустом ресторанчике, следить удивленное округление твоих глаз, изучающих меню, где ничего, кроме «сэндвичей» и «фиш энд чипс», красивой русской девочке неизвестно; а в это время блестящая обложка меню смутно отражает наблюдателя. И объяснять, что романтический «Jacket Potatoe» (почти «Веселый Роджер») не «он», а «она» — просто картофелина в мундире. И ты обрадуешься, что встретила свое, детское, почти деревенское и непременно закажешь осыртученный потат, а я добавлю салат и пинту местного пива. И потешаться от твоих разборок с вилками-ножами и отвечать на законный твой вопрос: «Разве можно есть салат ножом и вилкой?» Можно, лапушка; в стране с левосторонним движением *нужно* есть салат ножом и вилкой. И почти не касаться тебя, и, проводив до двери, дать раствориться в четырехугольной тьме. До завтра. «Бестелесное сладострастие» — это когда летом идешь под нежарким июньским солнышком по негустому русскому лесу, и такие невесомые серебряные нити, паутинки любви, нежно и торопливо трогают твоё лицо, и приходится даже есть от пробежавшего по спине разряда, острейшего любовного наслаждения, неземного блаженства, которое, лапушка моя, вызывается им, «бестелесным сладострастием». Вот какие слова бормотал я на прогулке, мысленно обращаясь к известной тебе, Кирилл, особе, но слышала меня лишь набережная древнего британского городка, к наречию моему (хоть и незнакомому) равнодушная, а потому молчавшая на своем гортанном языке.

Денис.

28.11.1994. Понедельник. Абериствит

Кирилл,

местный подмокший климат и местное мшистое наречие превращают меня в доктора Кафку. А именно: сплю ужасно плохо — сначала часа три мучат бессонница и кашель, затем захлестывают кошмары. Проснулся сегодня с сильнейшей головной болью, но выглянул в окошко — солнце, тронул батареи — горячие, спустился вниз — дают поесть; сразу полегчало. Перед ланчем меня в библиотеке разыскал Рис и предложил после двух съездить с ним в аббатство Страта Флорида. Я рассыпался в благодарностях (вовсе не фальшивых). И еще он сказал, что в среду я должен провести исследовательский семинар для местных преподавателей под названием «История в посткоммунистической России». Ласково улыбаясь, Рис протянул мне уже готовую афишку; там твой друг поименован «профессором Кротовым». В связи с вышеназванным хотелось бы полюбопытствовать: что это за Россия, в которой пост-кому-нести, че? Какая там история приключательная? Кто таков сей хлыщ, профессор кислых щей (пкщ), доктор увлекательной работы (дур) Денис Кротов (Кретин Содов)?

Страта Флорида — к юго-востоку от Абериствита, на самой границе гор и приморской равнины. Место примечательное: не такое дикое, как Кастел Бёре; горы на горизонте пониже, но ландшафт — человечнее, более по нраву и по масштабу людскому глазу. Обстоятельства: солнце; воздух был чист и свеж (спасибо, Михаил Юрьевич), как поцелуй ребенка (спасибо, спасибо, Гумберт Гумбертович). От аббатства почти ничего не осталось, кроме чудесной, по-цистерциански строгой арки да невысоких каменных бордюриков, обозначающих исчезнувшие стены. Рядом прилепилась ферма XVI века; ее слоистые серые бока намекают детективу-любителю, куда подевались стены аббатства. По преданию, в Страта Флориде похоронен Дэфит ап Гвиллим*. Здесь составлена «Хроника Принцев»**. Вообще под этим изумрудным газончиком гниют тонны отборных кельтских костей.

* Знаменитый валлийский поэт XIV в. ДК высоко ценил его стихи, особенно «Зодчий любви».

** Валлийская хроника VII—XIV вв.

На обратном пути Рис показал мне причудливый водопадик под названием «Мост дьявола». По-моему, из таких водопадиков родилась вся поэзия «Озерной школы». Увы, я не способен слагать стихи.

Денис Бездарный.

29.11.1994. Вторник. Абериствит

Кирилл!

Пишу совершенно пьяный, потому прости за краткость послания («прости-те за яacobинский слог»,— писал Пушкин мадам Хитрово). Мы с Лешей Фадеевым обошли с полдюжины местных пабов. «Гиннесс» по-прежнему темен и хмелен. В «Красном Драконе» шайка бритоголовых англичан из восточных уездов острова решила было нас побить, приняв за французов. Узнав, что мы русские, эти лысые завопили: «Оу, рашн! Ельцин! Водка!» — и выставили пивка на круг. Получишь это письмо, выпей водки за мое завтрашнее здоровье.

Денис.

30.11.1994. Среда. Абериствит

Кирилл, привет!

Утром проснулся в нетипическом для меня похмелье: голова болит, а желудок — нет. Позавтракал, впрочем, с трудом и побрел к морю — проветрить мозги и подумать, о чем держать речь на сегодняшнем семинаре.

Це был семинар! Русский профессор оказался весьма консервативно настроенным малым, скептиком, порой даже циником. Он высказал серьезное сомнение в необходимости изучения истории вообще. Тем более российской истории. Он мило (но с нехорошей усмешечкой) шутил. Он одернул зарвавшегося оппонента — молодого, вихрастого, очень-очень левого преподавателя из политологического департамента, и тот одернулся-таки. Он сорвал рукоплескания в конце семинара, встал, раскланялся, дав тем самым последний шанс увидеть свое несколько мятое, не очень свежее лицо и (навсегда) исчез из исторического департамента абериствитского колледжа.

«Все бы ничего,— думал русский профессор,— но из-за этого долбаного семинара я пропустил бесплатный обед в богадельне!»

Профессор Кротов.

1.12.1994. Четверг. Абериствит

Кирилл, ура!

Первый день декабря! На улице настоящая зима: зеленая трава, зеленые листья, студентики зябко кутаются в свои майки. «Зима,— пробасил русский профессор в неглиже, поднимая оконную раму,— валлиец, торжествуя, на «форде» обновляет путь». Позавтракал, иными словами, имел свой обычный британский брекфаст, к которому весьма привык в крематории: яичница с беконом, йогурт, гренок с маслом и джемом, чай. Основательный русский профессор делает все основательно: прежде всего основательно завтракает.

Утром нанес прощальный визит в библиотеку колледжа. Прощай, Кельтская коллекция, Витгенштейн, набокровский Онегин! Farewell to thee...*

За ланчем ко мне подсел знакомый аспирант (с международно-политическим уклоном) и предложил встретиться с главой своего департамента. Глава оказалась лысоватой, но сидела на плотном теле. Меня долго пытали о разных экзотических предметах, как то: карибский кризис и советские шпионы. Был вынужден вещать. Надарили каких-то идиотских публикаций переводов советских секретных документов (мне? зачем?) и отпустили с миром. И на том мерси.

* Прощай... (англ.)

Вечером купил в книжной лавке «Мабиногион»*(пляши, пляши! для тебя!). Прощально отобедал у супругов Рисов; до свидания, милые, хорошие люди... Потом пошел гулять к морю, бросил монетку, но как-то расклеился: заболел желудок, заколотило сердце. Вернулся в богадельню и лег в постель, но долго не мог уснуть, тем более что в полпервого ночи некий (валлийский?) идиот включил невыносимую пожарную сирену.

Денис.

2.12.1994. Пятница. Бангор

Дорогой Кирилл,

мой вояж по обетованной Валлийщине продолжается. Проснулся сегодня рано, с ныряющим сердцем, позавтракал и потащился (в прямом смысле, учитывая вес багажа) на автобусную станцию. После небольшой суматохи очутился-таки в огромном двухэтажном экипаже, в котором, осматривая окрестности, в полном одиночестве был доставлен (по прекраснейшему в мире пейзажу!) в городок Бангор. Здесь мне предстоит прожить четыре дня. Так налепетали Парки. Кстати, информация для тебя, любителя географии,— путь занял три часа и три сигареты.

В полдень солнце осветило мое выползание из огромной стеклянно-стальной колесницы. Слева эту сцену наблюдал бангорский кафедральный собор, огромный, мрачный, викторианский, серый. Справа — странноватый обезьяноподобный мужик с неработающим глазом (за очками). Твидовый пиджак, трубка, зонтик-трость, старый «рено». «Хелло! — завопил я.— Доктор Равен, хелло! Май нэйм из...» «Профессор Котов»,— отставив левую руку с люлькой, прохрипел мужик и нацелился на меня зонтом. Объяснять Равену, что я не профессор и не Котов, твой друг посчитал излишним. Как и просить не тыкать в меня опасным инструментом.

Профессор Котов был водворен в роскошный (как показалось простоватому профессору) отель «Эрил Мор», прямо у кромки воды. Ух, как обрадовался помянутый профессор большой комнате с видом на викторианский пирс, пролив Менай и остров Англси! Три (!) кровати, две тумбочки, две лампы, часы-радио, телефон, почему-то дамское трюмо, два кресла, телевизор, электрочайник, посуда, чай, кофе, сахар, душ (!!!), умывальник, гардероб. Увы, знаменитый ученый не успел ничем таким воспользоваться, ибо, бросив вещи, отправился слушать лекцию Равена по валлийской истории. На голодный желудок!

Как и в Абериствите, колледж в Бангоре стоит на высоченной горе. Красивый такой колледж, неоготический. Спасибо, матушка королева Виктория постаралась (или батюшка король Эдуард? Не помню, хоть убей). Но в темноте, после лекции, было не до архитектуры: я кубарем скатился вниз, в город, домчался до первого кафе, плюхнулся в самый темный угол, на заказывал Бог знает чего (сейчас узнаем) и принялся писать тебе это послание.

Бон аппетит.

Денис.

3.12.1994.Суббота. Бангор

Представляешь, Кирилл,

идучи вчера из кафе, заплутал среди одинаково темных улочек и насилу добрался в отель. Уснул, матерясь. Проснулся и вновь принялся материться: за окном дождь, точнее, как здесь говорят, wet**. А я собрался в Карнарвон... После славного завтрака от души отлегло и... погода стремительно переменялась! Солнце, тепло — градусов тринадцать. Плюс, конечно. Вот так зима! При дневном свете быстро разобрался с нехитрой топографией города и вмиг добрался до автостанции. Сел на автобус и поехал путешествовать. Любовался нежными

* Сборник древних валлийских легенд.

** Нечто вроде «туман+дождик+ветер».

красками пролива и мирными пастбищами побережья, которые напоминают средневековые книжные миниатюры. Милые овечки на лужках и милые ба-
рашки на воде.

Знаешь, где надо жить? В Карнарвоне. Микроскопическое поселение вну-
три городских стен XIII века. Улочки узенькие, дома серенькие, в каждом —
паб. Напротив Карнарвона — остров Англси, плоский и зеленый. За спиной
входящего в город бюргера лениво набирают высоту горы Сноудонии. Но это
все присказка. Сказка — впереди. Выходишь на автостанции из омнибуса, раз-
вернулся на сто восемьдесят и. Перед тобой Константинополь. Я не шучу. При-
стегивая к своей мантии этот волшебный клочок земли, Эдуард пришил его
(для вящей крепости) сетью каменных булавок — замков. Только одна из була-
вок сверкает — настоящий страж: замок Карнарвон, сработанный под восточ-
ный самоцвет — константинопольскую крепость. Эти ребристые стройные
башни, зубчатые донжоны в оспинах бойниц, эта злокозненная для врага кон-
центрическая архитектура — все выдает столицу Византии, увиденную с друго-
го конца бинокля. И имперские орлы на самой верхотуре обозревают ланд-
шафт. Здесь в 1284 году среди недостроенных стен и английского, гасконского,
валлийского, провансальского рабочего матерка родился несчастный Эдуард,
первый английский принц Уэльский, будущий король Эдуард II. Сюда же при-
езжал другой принц Уэльский — Чарльз, принц нынешний и тоже (видимо) не-
счастливый. Не замок, а сплошная незадача британской монархии.

Но я, обыватель и демократ, был отменно счастлив, карабкаясь вверх-
вниз, туда-сюда под нежным валлийским солнышком. Так умаялся, расхажива-
вая по башням и уминая стэйк в пабе, что в обратном экипаже клевал носом.

Вечером, во тьме, мужественно пошел изучать строение Бангора. Оказал-
ся в так называемом «сити центре». Ну-ну. Во-первых, насчет «сити» они явно
приврали; дрянной «таун», хуже Абериствита*. Во-вторых, это не «центр», а
жалкая улочка, которая сегодня вечером пуста, темна (уик-энд) и накапливает
в переулках перепившийся молодняк. Гулять негде. Вернулся в отель, но ресто-
ран был забит, вернее, забанкетчен аборигенами. Выпросил еды в баре, где на-
роду тоже прилично. В ожидании ужина выпил виски и пинту не помню какого
биттера. Принесли блюдо, огромное, его хватило бы на отделение Красной ар-
мии. Оно состояло из:

- а) глубокой миски тушеного мяса;
- б) пышки, покрывающей эту миску;
- в) салата, в котором были: салат, болгарский перчик, лук испанский, лук
зеленый, помидор, маслины, домашний сыр, трава и еще что-то;
- г) вареной моркови;
- е) вареной цветной и брюссельской капусты.

Помимо вопроса «Как можно уничтожить такое количество еды?», возник
другой: «Как все это есть?» — ибо принесены были ложка, вилка и нож.

Управился. Ел под голодными взглядами компании, заказавшей ранее ме-
ня, но неисповедимыми путями профессора облагодетельствовали, а их — об-
несли. Закончил ужин двойным перно. Со льдом.

И вот, слава Богу, спать пора.

Искренне Ваш

Денис Хотов.

4.12.1994. Воскресенье. Бангор

Кирилл!

Хорошо тихим пасмурным утром сидеть в полупустом отельном рестора-
не с видом на пролив и неспешно поглощать обильный британский завтрак.
Особенно хороши гренки со свежайшим солоноватым валлийским маслом.

* Сити (city) — большой город. Город; таун (town) — маленький город, городок.

Так вот сегодня я брекфастал и забавлялся, составляя следующую классификацию.

Что здесь плохо (по нарастающей):

- а) британская кухня;
- б) британское полоскание в раковине;
- в) уик-энд в Британии.

Что здесь хорошо (тоже по нарастающей):

- а) британские завтраки;
- б) британские пабы;
- в) британские замки;
- г) британские библиотеки;
- д) валлийский ландшафт.

Чего здесь нет совсем:

- а) снега;
- б) красивых девушек.

Утром дважды пытался гулять по трогательному (как все викторианское) пирсу, что прямо под моими окнами. Первый раз — неудачно, ибо поднялся вдруг злощастный ветрище — с ног сбивал. Погода менялась очень быстро (как в Питере), и к полудню проглянуло солнышко. Вторичный мой поход на пирс удался. Потом за мной заехал Равен и доставил меня в свой чудовищный бетонный коттедж — на ланч. Кажется, пришло время описать, что есть обычный британский домашний диннер (по будним дням) или ланч (в выходные). В вашу тарелку кладут вареное (или тушеное) мясо. Сами себе вы кладете: вареную картошку (в прозрачном жакете), вареную капусту, вареный горох, вареный лук (!). Все это без грана соли или специй. Иногда предложат оное полить соусом, иногда нет. Но никогда маслом. Пища запивается небольшим количеством дешевого французского вина. Затем относительно съедобный «трайфл» (что-то вроде мусса) и кофе. Но от местного кофе меня совсем увольте. В отставку.

До ланча мы с Равеном сидели у пылающего (по-настоящему!) камина, покуривали и болтали. После ланча, несмотря на вновь насупившуюся погоду, поехали на остров Англси — смотреть замок Бомарис и аббатство Пенмон. Замок, как и все коронное в этом северо-западном углу Уэльса, выстроен на средиземноморский манер, сложен, наподобие того же Константинополя, из разноцветных камней. Но по-норманнски приземист, толст, основателен. Рядом прилепилось аббатство, в котором твой покорный слуга восхитился птичником (каменным!) шестнадцатого века. Внутри — монументальный насест, богато орнаментированный пометом четырехсотлетней выдержки. Драгоценное для историка дерьмо.

Затем вернулись к камину и попили чаю с плюшками. Явился в отель поздно, устал, поэтому слог мой сух, как записи князя Вяземского.

Денис.

5.12.1994. Понедельник. Бангор

Дорогой Кирилл,

что-то мне совсем плохо, даже писать не могу. Завтра уезжаю в Лондон, завтра покидаю Бангор, Уэльс; сдается мне — навсегда. С утра мутит, болит голова, колотится сердце. Лекарствами в России я не запасся. Раз пять на дню принимал душ, но тщетно — был сухим полутропом, стал мокрым. С утра — штормовой ветер; несмотря на него, выполз в город и часа два изучал местный книжный магазин. В Свонси был самый лучший. на обратном пути меня накрыл ливень, весь вымок (в шестой раз!), ко всему — еще одно несчастье: в отеле пообедал невероятно сухой рыбой. До самого вечера был в колледже, прощался с Равеном, пил пиво с еще каким-то историком, шепелявым зайкой. Разобрать его имя мне так и не удалось.

Вот, сложил вещи и собираюсь спать. Завтра — в Лондон. Волнительно.

Денис Несчастный.

Р. С. Все-таки смешно. Мучаюсь, мокну, а зонт так и не купил. Думаешь, денег нет? От фунтиков карман вспух. И в лавки ходил. Каких только нет! Полосатые, клетчатые, в горошек, монотонные, даже с валлийским гербом. Но. Видишь ли, купить такой зонт здесь — что ходить по андалузскому поселению и напевать фламенко.

7.12.1994. Среда. Лондон

Кирилл, прости!

Как явствует из цифры в правом верхнем углу этого листа, я пропустил одно письмо. Не злись. Не мог его вчера написать, вчера вечером я вообще ничего не мог написать. Даже слова из трех букв. Сделай скидку: твой друг провел месяц в глухой провинции и вот — столица, блеск, соблазны. В общем, накануне вечером был совершенно пьян. Но по порядку.

Вчера утром я собрался, позавтракал и на такси отправился на вокзал. Поезд из Бангора до Лондона идет четыре часа; все это время я глазел в окно и пожирал сэндвичи. На Юстонском вокзале меня встретил наш общий (заочный) знакомец М. и довел меня до «Maree Hotel» — грязного, убогого, похожего более на разбойничий притон. За конторкой стоял натуральный панк в коже, лестница встретила меня сладковатым запахом марихуаны. Как и положено джентльмену из провинции, я хмурил брови, чинился, но в каморке с номером «20» швырнул вещи, соорудил самокрутку (нет-нет, с табаком) и довольно расхохотался. Не все же в деревенской роскоши плескаться. Тем более: всего двадцать фунтов в сутки, центр, под окном — Гауэр-стрит, напротив — Университет, справа — Британский музей. Район называется Блумсбери; чем не славно место, воспомни-ка Вирджинию Вулф, Кейнса и других примечательных сумасшедших «красного десятилетия»!* Как тут не стоять панковскому пансиончику?

М. повел меня в свой офис и напоил крепчайшим кофе собственной варки. Забавно сидеть в сердце Лондона, укутавшись в тройной тулуп англосаксонской речи и мирно беседовать по-русски о, например, «Вакханалии» Пастернака**. Но город звал. Мы отправились гулять по шумной эстетской Пиккадили, мимо неизбежной колонны Нельсона, мимо хрестоматийного развода караула, но не у Букингемского дворца, а у хором королевы-матери. Архитектура Лондона неопишима, потому ни слова о ней. Впрочем, два. На углу Трафальгарской площади и Чаринг-Кросс роуд стоит шедевр эклектики — церковь Св. Мартина-в-Полях. Ранний Кристофер Рен. Вообрази: на классическое здание с колоннами водружены колокольня и шпиль, весьма сухие, северные, западноевропейские.

Вернулись в офис моего приятеля, стали пить русскую водку и русские разговорчики разговаривать. Такой вот аттракцион патриотизма. И завершили вечер классически, по-московитски: когда кончилась «Столичная», отправились шататься по перегруженным пабам, наливать пиво, перно, бренди и все той же водкой. Еле нашел родной притон.

Сегодня в девять ноль ноль утренний, похмельный, я тускло сжевал завтрак и отправился бродить по Лондону. Шел, как старый следопыт, — по карте. И не заблудился. Всякое я повидал: скромную Гауэр-стрит, путаный Блумсбери-Вэй, кичливую Оксфорд-стрит (где-то здесь умирал от голода Де Куинси), респектабельную Парк-Лэйн. Брел вдоль мрачного королевского забора по Консیتیюшн-Хилл. В толпе японцев глазел на Букингемский дворец. Боролся с монструозным хот-догом на скамейке Сент-Джеймс Парка. Оставил без внимания Да-

* ДК намекает на так называемый «блумсберийский кружок» английских интеллектуалов; туда входили помянутые писательница Вирджиния Вулф, знаменитый экономист Кейнс и др. Члены «блумсберийского кружка» щеголяли весьма вольными взглядами на мораль, секс и прочие увлекательные вещи. Но только взглядами. «Красное десятилетие» — так в США и Великобритании называют 30-е гг. XX в.

** «Восхитительное в своей нелепости стихотворение» — фраза из неопубликованного эссе ДК о Пастернаке.

уининг-стрит. В Вестминстерском аббатстве грезил у могилы Эдуарда I. Изучал военную историю Британии по памятникам на Уайтхолл. Зачитывался театральными афишками на Чаринг-Кросс роуд. Что еще? У гвардейцев все те же медвежьи шапки, у драгун — стальные шлемы. Панки в коже, хиппи в джинсе, клерки с зонтиками, туристы (в т. ч. я) омерзительны. И повторюсь: Лондон — неописуем. Сейчас десять вечера, пора идти исследовать ночную жизнь.

До скорой встречи.

Денис.

8.12.1994. Четверг. Лондон

Дорогой Кирилл,

пишу тебе в соборе Св. Павла, на деревянной скамеечке, в пяти метрах от могилы Веллингтона. Сразу замечу, что снаружи собор лучше, чем внутри (так же, как Исаакий). Или, по-другому, он гениален снаружи и просто красив изнутри. Итак, Кристофер Рен продолжил здесь мысль, материализованную им в Св. Мартине: западнохристианский венец на классическом основании, только там идея выражена неожиданнее, нелепее — потому лучше (для Лондона, города самой нелепой и чудесной архитектуры). Попробую объяснить: сэр Кристофер попытался овеществить характерное для Запада (с эпохи Возрождения) ощущение непрерывности, систематичности развития, я бы сказал — нарастания истории. Потому основа Св. Павла — античная, вернее, классическая, как это понимал Рен. Выше — стилизованный, растолстевший в купол шпиль, символ синтеза классики и христианства. Крест подпирается античными колоннами. По бокам — псевдоколокольни, одна — с часами. Столь же естественное выражение западного мироощущения Нового времени, что и «Левиафан» Гоббса* (того же, кстати, века). Как всплывает Левиафан из пучины, так же всплывает Британия в европейской истории XVII столетия; а на этом всплывшем острове всплывает из-под земли собор Св. Павла.

Вчера я поведал тебе, что архитектура Лондона неописуема. Скорее она невозможна. Это материализация самых диких архитектурных снов. Нет ничего хуже послевоенных лондонских строений. Но все вместе — вместе с идеальной классикой, барокко, арт-нуво, эклектикой — производит сильнейшее впечатление. Питер гениальнее Лондона, Москва — пестрее, Лондон — восхитительнее их. Здесь англичане вволю отыгрались за однообразие пригородных домиков и маленьких селений.

Сегодня утром на набережной Виктории обнаружил колонну Клеопатры. Интересно, почему в столицах мировых империй стоят древнеегипетские монументы? В Петербурге — сфинксы, в Лондоне — колонна Клеопатры. Это, видимо, врожденная для такого рода империй жажда вечности, ведь Египетское царство (фараонство) существовало по европейским меркам почти целую вечность и западные (северные) империи пытались маркировать себя знаками этой вечности — колоннами, камнями, сфинксами. Не потому ли сексуальный империалист Розанов обожал Древний Египет? Не потому ли асексуальный символ новой империи — Майкл Джексон — сделал древнеегипетский (в меру его понимания) клип «I remember that time»**?

В подземельях собора Св. Павла обнаружил несколько милых мне гробов: Веллингтон, Нельсон, Лоуренс Аравийский, Флоренс Найтингейл, Вильям Блейк, Булвер-Литтон, Макс Бирбом, Генри Мур (наверху затерялась его ужасная скульптура), Уолтер де Ла Мар***, наконец, сам сэр Кристофер Рен. Моги-

* Томас Гоббс (1588—1679) — английский философ. «Левиафан» — главное его сочинение, посвященное устройству общества и государства.

** Я помню то время (англ.).

*** Поясню лишь малознакомые имена. Макс Бирбом (1872—1936) — английский писатель, критик и карикатурист, друг Г.К. Честертона. Уолтер де Ла Мар (1873—1956) — английский поэт и романист.

ла Джона Донна наверху, так как он был деканом собора. Его надгробие жутковато (как и его стихи): оно вертикальное, но скульптура изображает завернутое в саван тело, которое *должно лежать*; по крайней мере ноги подогнуты. Потому кажется, что покойник стоит на полусогнутых, вот-вот упадет. Если прибавить, что лицо лепили, видимо, с посмертной маски (оно длинное, холерное, худое, с бородкой, но *совершенно мертвое*), то зрелище получается странное, если не сказать — страшное.

Три пятнадцать. На хорах появляются ангелочки в белом. Сейчас будет служба.

До скорого.

Денис.

9.12.1994. Пятница. Лондон

Кирилл,

сиду на скамейке на Трафальгарской площади. Прямо передо мной — два фонтана, десять метров дальше — колонна Нельсона, за ней — Уайтхолл, в конце одного — Парламент и Биг Бен. Шишечка площадного фонаря приходится ровно на цифру X Биг Бена.

Вышел из пансиона очень рано и направился — куда бы ты думал? — к Шерлоку Холмсу в гости, на Бейкер-стрит, 221*. Маршрут я избрал неудачный, пробирался по скучнейшей деловой Юстон роуд, еле пролез сквозь густую толпу японцев, немцев и русских у музея мадам Тюссо. Очень долго искал обитель Холмса, но, применив дедуктивный метод, нашел. Музеец так себе, дорогуший (вход — пять фунтов), но не сделать визита, конечно, не мог. В книге посетителей оставил следующую надпись:

Herlock Sholmes; Paradise, Conan Doyle St., 221**.

Очень остроумно, не правда ли?

Затем около часа романтично, прощально, чемоданно бродил по чудеснейшему, пустынному, полному всякой птицы Риджент Парку. Радостно, что еду домой, но и грустно тоже. На задворках шерлокленда обнаружил мелочную японскую лавку. Зашел. Звякнул колокольчик. В сказочно тесной комнатенке навешана и навалена куча разнообразнейшего барахла: из-под цветастой ширмочки невозмутимо выглядывает лик Будды, специальные чайники учтиво кланяются подержанным магнитолам. Невидимые пальцы перебирают струны катю. Царит над всем сухонький япончик — стариканчик в невозможном сюртуке со стоячим воротником. Царит и молча смотрит на посетителя, то есть меня. Я, по обыкновению своему, смешался и стал шарить в первой подвернувшейся куче. И что же ты думаешь? Выдернул оттуда зонт (!), сунул хозяину три фунта — и прочь. На улице разглядел трофей. Вообрази, я купил складной «Три слона», помнишь название? Мечта и утеха советских щеголей и щеголих семидесятых. У бабушки моей был такой же (в Москве достала), только не черный, а зеленый.

Продолжаю в 15.10, в пабе на углу Чаринг-Кросс роуд и Трафальгарской площади. Знатоки утверждают, что он — из лучших. Знатоки правы. Пиво (Samuel Smith Bitter) — божественное: мягчайшее, нежнейшее, с горчинкой. Просто бархатное. Только что я побродил по Пэлл-Мэлл, поглазел на аристократические клубы, на памятники генералам идиотской Крымской войны, пересчитал Ступени Герцога Йоркского. Попрошался с Сент-Джеймс Парком и конными гвардейцами. Прощаюсь и с тобой.

Денис.

P. S. Паб называется «Чандос».

P. P. S. Решил сейчас, в полвторого ночи, черкнуть еще пару слов. Весь вечер ноги мои таскали хозяина от Парк-Лэйн до Друри-Лэйн. В полночь я почему-то оказался в привокзальном пабе Чаринг-Кросской станции. В кафельном,

* ДК считал Конан Дойля великим писателем. Не ниже Стивенсона, которого он боготворил.

** Херлок Холмс; Рай, ул. Конан Дойля, 221 (англ.).

на американский манер, зале было пусто. Я взял пинту «Гиннеса» и примостился в углу. Вдруг дверь открылась и вошел натуральный карлик, ростом сантиметров сто сорок. Но что за карлик! В длинном пальто и (!) в котелке. Ему подали чего-то крепкого, и он вскарабкался на табурет напротив меня. Вежливо поклонился. Вытащил толстенную сигару и задымил. Махом хлопнул стопку. Я наблюдал за его энергичными, решительными, точными движениями в совершеннейшем изумлении. Я полез в карман за сигаретами — кончились. Пересчитал мелочь. Подошел к автомату и купил пачку «Бенсон и Хеджес». Когда я вернулся на место, карлик растворился. В пепельнице тлела почти целая сигара. Она пахла роскошью.

А теперь, Кирилл, припомни «Выше стропила, плотники»*.

10.12.1994. Суббота. Лондон

Увы, Кирилл, и ура!

Подошло к концу мое путешествие. Сажу в Хитроу, до регистрации два часа. Любезные хозяева «Maree Hotel» (панки проклятые!) выставили за дверь зевающего русского путешественника аж в одиннадцать утра. Checking time**. Впрочем, дабы не был в обиде я на бриттское гостеприимство, под морозящий дождик постояльца ласково проводила прелестнейшая гёрлфрэнд (плюс чэм-бермэйд)*** хозяйна. Семь минут на то, чтобы оставить справа и сзади грязно-белый идиотизм Лондонского университета, опять-таки справа и сзади — уютную Рассел сквэа; пять минут — очередь за карточкой в подземелье; и целый час на темно-зеленых бобриком стриженных андэграундных креслах. В уголке второго терминала, под невидящим взглядом барышни из «Эр Франс» я сочиняю это письмо.

«Моя тема — человек, подсчитывающий свое достоинство перед лицом небытия», — писала Лидия Гинзбург. Моя тема сейчас — путешественник, подсчитывающий места, которые он не посетил. Мог, но не добрался. Их много — маленькие и большие; страны, острова, здания. Мероприятия опять-таки и заведения. Не ходил, например, в порно-салон; впрочем, на Валлийщине таких не встречал, но в Лондиниуме на Тоттэнхэм Корт Роуд, что по соседству с родной Гауэр-стрит, я наткнулся на странное железное одноэтажное строение, ростом и видом с захудалый гараж. Сквозь полуоткрытую дверь виднелся дяденька, задумчиво перебирающий видеокассеты на стеллаже. О чем задумался сей Джон Буль, или Джон Маккарти, или Джон О'Хара, или Джон Гриффитс? Один на трех или одна на четверых? Двое на двое или три на семерых? В воде? В небесах? На суше? Ebony or ivory****? Уважаю серьезный подход к делу и потому не решился нарушить медитацию визионера. А жаль: пройти бы внутри, по непременно обшарпанной лесенке, в кабинку, где все наготове — телевизор, плевательницы, салфетки. Полюбоваться бы на блоу ап***** дырочек и палочек, попочек и пальчиков, сцепившихся в попыхивающий придыхательными «Оу йес... Оу йес» движок внутреннего сгорания...

И вообще я здесь в киношку не ходил. Ну, ладно, какие «киношки», когда сама эта страна, эта Газония, эта Кафедралия, эта Тумания, сия Куполо-Шпиля попросту красивее самой расчудесной фильмы; недаром Питер Гринузэй***** родился именно в этом Соединенном Королевстве Лужаек, Замков и

* Мой друг называл эту вещь Сэлинджера «золотым эталоном, архетипом» жанра «повесть». Там есть персонаж: крошечный глухонемой дядюшка с сигарой, который, пока главный герой (внезапно напившись) спал, исчез, но оставил окурочек своей сигареты. Далее следует какой-то буддический символ.

** Расчетное время (англ.).

*** Горничная.

**** Черное дерево или слоновая кость? (англ.) Иными словами: негры или белые?

***** Blow up — английский термин, обозначающий «крупный план» (или «фотоувеличение»). Название хрестоматийного фильма М. Антониони. Кстати, действие его происходит в Лондоне. Концовку этой картины ДК любил сравнивать с последней фразой пастернаковской «Вахтаналии»: «Никто не помнит ничего». И еще он говорил, что фильм надо было назвать не «Фотоувеличение», а «Симулякр».

***** Любимый кинорежиссер ДК.

Пабов! Кстати, о Соединенном Королевстве. Не все его части я смог посетить, и если действующие составные элементы, как-то: Шотландия и остров Мэн,— были за пределами моих временных и финансовых рамок, то уж эмигрировавшая из Ю Кей Ирландия вполне, вполне... Два-три часа на пароме из Холихэда, сквозь сиренево-розовый туман, и — здравствуй, Изумрудный остров, родина Кухулина*, «Гиннеса» и Джойса! Как я мог зажать три десятка фунтов и не

раскрыть зеленый план Дублина зеленовато-коричневатого Дублина фотографий начала века тех что вклеены в советский том Джойса на языке оригинала он сам был оригиналом этот Джойс одноглазый алкоголик и карта была к тому изданию приложена на карте мельтешились зеленые домишки муравьишки в объятиях Королевского канала и Гранд канала а река Лиффи тухлой веной пролегла меж кудрявой растительностью Парнелл Сквэз и Стефенс Грин

а то

проехать весь Дублин с юго-востока на север пересечь Королевский канал по мосту Кроссганс очутиться на Гласневинском кладбище где Блум хоронил Дигнама где мавзолей О'Коннела где похоронен экс-редемптористский экс-картезианский экс-траппистский монах капеллан местной больницы Mater Misericordiae Владимир Печерин тот самый.

Впрочем, сам знаешь который**.

Зато кое-где не был специально. Не был на Тауэр Бридж, дабы не искушать беспощадного к славянам *genius loci* этого места, не нарваться на его бациллоносную амбреллу. Не был в Британском Музее, потому что жил насупротив и каждая вторая иностранная (в смысле «не британская») сволочь соррила меня и фэнкила в районе Блумсбери Вэй, выпытывая верный путь в это хранилище трофеев английских империалистов. Зато через дорогу от Музея в чудном шотландском магазинчике купил себе шарфик. Клетчатый.

Мадам Тюссо отпугнула восковой желтизной своего немолодого лица, Коvent-Гарден — насмешкой над моей джинсней; избегал я и проституткок-спидоносок и девчушек-травестушек. Из всех разновидностей панков общался только с одной: «панк-отелевладелец».

А в Хитроу меня ожидало чудо. Вынырнув из-под земли, за три часа до регистрации на взлет, я отправился ностальгировать и грустить на скамеечку у автостанции рядом со вторым терминалом. Ту самую, на которой тридцать два дня назад в окружении хилого багажа, пепси и «Таймса» я поджидал автобус в Сwonси. И что же я узрел в углу скамейки, у урны? Даренный кем-то из вас британский зонт, который я ровно как тридцать два дня забыл у этой самой скамьи! Видимо, именно британскость спасла его. Настолько он уместен здесь — на аккуратненькой, плиточкой выложенной останочке, меж безупречнейшей из урн и старомоднейшей из скамеек,— что британская рука не посмела разрушить эту британскую икебану. Так, внезапно, я оказался владельцем двух зонтов, проведя месяц без оных в стране дождей, перед вылетом в доминион Мороза-Воеводы, где последний дождь прошел как раз месяц назад. Минут десять смотрел на вновь обретенный подарок, вспоминая, что, увы, и носом шмыгал и кожни не глядел. Встал, обещался кладью и побрел в вокзал. Зонт оставил до следующего своего прилета.

Внизу на первом этаже кучкуется стайка мужичков в кожаных куртках и норковых шапках. Свои. Наверное, грузная аэрофлотовская птица уже подковыляла к терминалу, уже присасывается к ней толстый красный червь. До свидания, дружок. Пора отдавать сумки.

Твой Денис.

* Герой древнеирландского эпоса «Похищение быка из Куальнге».

** Надеюсь, вы тоже.

Второстепенные детали

* * *

Листвы зеленой подголосок
по совокупности с травой —
первоапрельский недоносок,
рожденный в муках,
чуть живой.

Проклюнувшийся наудачу.
В спираль закрученный.
С хвостом.
Бутоны желают стать цветком.
Тогда как я хочу на дачу.

Чуть свет уставиться в окно,
окрестности обозревая,

ни много не подозревая,
сколь много сил заключено
в цветке, в бутоне.
В пенье птиц.

Круженье и коловращенье
макросистем, микрочастиц
лишь вызывают отвращенье.

Бессмысленная суета,
игра природы,
власть стихии —
определенно неспроста
способствуют неврастению.

* * *

Чем сердце успокоиться должно:
казенным домом, дальнею дорогой
и если не калекою убогой —
двуногой и двурукой.
Все равно.

Вино — забродит.
Пуля цель найдет.
Стрелок известен меткостью своею.

Любимец муз себе ломает шею.
Падет смертельно раненным в живот.

Раскинув руки. Навзничь.
На снегу.
В снегу глубоком, в ледяном сугробе.
В конце концов — лежать ему во гробе.

Дантесу — делать нечего —
в полку
придется посидеть на гауптвахте.

* * *

Пустопорожний промежуток,
пустое времяпровождение,
где единица измерения —
куренье на пустой желудок.

С утра во рту ни крошки хлеба.
Затяжка внеочередная
плюс ожидание трамвая.
Бориса смерть.
Убийство Глеба.

Отчетливее раз за разом
становятся воспоминанья,
на белый свет из подсознанья
российский Каин косит глазом.

На брата брат подьмет рати.
Сосед, соседа взяв измором,
сам подышает под забором.
И редко — в собственной кровати.

Он не встает с больничной койки,
не шебуршит по коридору,
не пьет кагору
со мною у буфетной стойки.

* * *

Союз единый.
Нерушимый.
Отчасти родоплеменной.
Собака с кошкой. Муж с женой.
Младенец, бесом одержимый.

И думаю я в ужасе —
они
не есть ли пузыри земли?
Пустыни корабли?
В ночи огни?

Младенец выдувает из ноздри
то из одной, то из другой
ежесекундно — день-деньской
невиданные пузыри.

Зачем неугомонный бес
нам голову морочит,
чего он хочет?
Воды с сиропом или без?

* * *

Посмотри на родную сторонку.
Встал на цыпочки и посмотрел,
как засвеченную фотопленку
перед носом в руках повертел.

стал, достав сигареты и спички,
коробком о коробку стучать.

Я с трудом узнавал очертанья
и одних от других отличал:
колокольни, высотные зданья,
тарный склад, автобаза, вокзал.

Чернокожему американцу
уподобясь до мимики вплоть,
начал в такт искрометному танцу
изгибать и изламывать плоть.

В ожидании электрички,
чтобы досмерти не заскучать,

Принялся так раскачивать тело,
пока мало-помалу душа
не отчаялась — не отлетела,
в безвоздушную высь поспеша.

* * *

Прибежище души,
ее оплот последний —
за ширмою в передней
лежи и не греши.

На Бога не пеняй.
Ему-то что за дело,
пусть остывает тело,

пускай себе.
Пускай.

Истлеет тело наше,
рассыпясь
в пух и прах,
подобно древней чаше
в неопытных руках.

* * *

По тому, как соседи отходят ко сну,
как уходят в кино и приходят из бани,
относительно «Вазисубани»
цену знаю любому другому вину.

Мне известна тончайшая взаимосвязь
винно-водочного прейскуранта
и предместья завода-гиганта.
Непогода. Распутица. Грязь.

Утлый дворик московский, легко
продуваемый всеми ветрами.
Утешенье одно, как во храме —
Царство Божие недалеко.

В светлом будущем места в обрез.
Но пока понемножку хватает,
потихоньку душа отлетает
без сомнений и чайний без.

Бесконечно во тьме совершать
бесполезные телодвиженья
хуже некуда.
Лучше не ждать
снисхожденья.

* * *

Собака. Кошка. Грач. Ворона.
Но перво-наперво пейзаж.
На декораций демонтаж
приходится конец сезона.

Второстепенные детали
выходят на передний план.
Крестьяне рядятся в дворян.
Дворяне рядятся в крестьян.
Дожди пошли.
Дороги встали.

Слева направо из кулисы
то Лебедь белая плывет,

то Лебедь черная плывет.
Я той, что ножкой ножку бьет,
не помню имени актрисы.

Одилия или Одетта...
Офелия или Джульетта...
Иль поселковый почтальон
спешит за письмами в район.

На стареньком велосипеде
она чудовищную грязь
охотно месит,
веселясь
всемирно-исторической победе.



Зуэла

РАССКАЗ

Несколько лет назад по нью-йоркскому воскресному радио шла литературная передача, актриса произнесла: «Но я спрашивала: какой рыбой накормил Христос учеников, вареной или жареной? И все вокруг бормотали: что за девочка, что за ребенок!» — тут-то у меня мгновенно уши на макушку: что это? Если бы не русский эмигрант и не «шестидесятник», наипигованный джентльменским набором пустословия, которое у нас сходит за Высокую Идеалистическую Мысль, то не отреагировал бы так. Тут будто был нож, вскрывающий поверхность привычных понятий, наподобие того, как Кьеркегор вскрывает самодовольство проповедников, спрашивая, что в действительности ощущал Авраам в течение трех дней, пока ехал к месту, где должен был принести в жертву Исаака. У нас в XX веке писатели не боялись хирургии мысли, но теперь мы живем во времена такой пошлости, такой инерции идей и индивидуальностей, что тошно становится (а тут еще Чечня подкатывает, как другая сторона той же медали,— и я еще упомяну Чечню, обещаю).

Я запомнил имя автора: Джамейка Кинкэйд, и когда нашел в библиотеке две ее тоненькие книжки и затем прочитал несколько ее текстов в журнале «The New Yorker», понял, что не ошибся и что тут любопытное явление, именуемое «настоящая писательница».

Но и определения «настоящая писательница» в данном случае мало. Альфред Казин, старейшина американских литературных критиков, пишет: «Мы живем в эру фрагментации и специализации... Читая Мэлвилла и Пруста, вы чувствовали, что преобразуетесь и обновляетесь. Перед сегодняшними писателями вы можете преклоняться, отдавая должное их технике, но любить их трудно». Я согласен с выводами Казина, но не совсем согласен с его предпосылками. Действительно, современные писатели не ощущают за своей спиной дыхания крупных проблем, вопрос трагедии (или комедии) существования, судя по всему, исчерпан в нашей одряхлевшей цивилизации, а специализированные фрагменты этого вопроса как будто решаются либо в институтах статистической логики, либо в кабинетах психоаналитиков. А все-таки со словом «фрагментация» я обошелся бы более осторожно, потому что оно единственное, может быть, в наше время способно ожить трагическим смыслом.

Джамейка Кинкэйд, уроженка невидимого на карте государства Антигуа (Вест-Индия), и ее героиня (героини) — квинтэссенция фрагментации, отчуждения (колониализм, нацменьшинство, третьемирство и так далее). Но странно: в ее голосе возникает нечто, знакомое нам по европейской, русской или американской литературе, именовавшееся когда-то экзистенциализмом и, казалось, окончательно ушедшее в прошлое... повернутое и взятое другим ракурсом, а тем не менее... как это удивительно! Мы привыкли ожидать от писателей «третьего мира» литературы бытового, эпического, мифологического или фантастического толка, потому что экзистенциальная литература самоосознания — это литература зрелости культуры и цивилизации, когда, набрав высоту и обретя необходимую потенциальную энергию, она преобразует ее в кинетическую печоринским броском головой вниз с обрыва, а тут — откуда же эта лирико-аналитическая зрелость самоосознания? Джамейка Кинкэйд сама говорит об этом с горечью и ожесточением, потому что: каким образом угораздило родиться такой? Будто о двух головах или трех руках — не окончательный монстр, конечно, а все-таки. Между небом и землей. На этом многое строится: на себе самой, будто поднявшей себя саму за волосы в воздух — больше не на что опереться. Что делать, если ты — случай, который противоречит не только «естественному положению вещей», не только здравому смыслу, не только жизненной (исторической) практике и статистике, но одному, второму и третьему одновременно?

И при всем том — когда в твоём голосе есть сила более-чем-личностных проблем?

В центре романа Диккенса «Оливер Твист» — мальчик «с золотым сердцем», то есть с заложенным в душу изначальным добром, которое не поддается всевозможным искушениям в самых крайних жизненных обстоятельствах. Диккенс был писатель той целостности, по которой тоскует Казин, и он был писатель XIX века. Его герои не разбединены тем особенным образом, о котором пытаюсь говорить, — ни сам Оливер, ни Нэнси, ни малолетние ворышки, ни Сайкс, ни даже еврей Фейджин. Все они находятся в центре Британской империи, на острове, именуемом Англия и напоминающем один из дредноутов, которыми эта страна была так знаменита. Все они на его борту защищены его цивилизацией, его пушками и просто фактом места своего рождения от чего-то такого... от такого рода страха («дред'а» по-английски), который не может быть им ведом, но который в XX веке проявляется в литературе во всей своей фрагментирующей силе и чемпионом которого станет Джамейка Кинкэйд.

(Между тем я вспоминаю по ассоциации мыслителя Федорова и то местечко в его писаниях, где он, отрываясь от любимой темы воскрешения всех мертвых и призывов к сыновьям во имя все той же цельности подчиниться отцам, обращает гневный взор к сиюминутным мировым событиям, замечая, что где-то на далеких Филиппинах происходят антиколониальные волнения. Вот, вот оно! — гневно раздражается тогда наш «великий мыслитель» — увы, что за слабость и бесхребетность современной цивилизации, а вот послать бы туда английские дредноуты, вот именно английские дредноуты туда! Дабы восстановить отцовскую целостность и христианский порядок, и если не такой замечательный христианский порядок, как наш, православный, то все-таки лучше, чем беспорядок, производимый желтокожими полулюдьми.)

Говорил, что упомяну Чечню? Девочку, не правда ли?

В рассказе «Зуэла» девочка, отданная жить в чужой дом, разглядывает фаянсовую тарелку на стене комнаты: «...меня притягивала роспись на тарелке, исполненная в нежных оттенках желтого, голубого и зеленого цветов. Роспись представляла широкое поле, покрытое травой и цветами. Солнце в небе светило, но не жгло. Редкие облака были легки, их невозможно было представить предвестниками грозových туч. Странное дело: тут вроде бы изображалось поле с травой и цветами, больше ничего, а между тем на тебя действовала атмосфера тайной полноты природы, навевающая чувство спокойствия и счастья. Под картинкой золотыми буквами было выведено: «Рай». Разумеется, это вовсе не был Рай, но идеализированный ландшафт английской деревни — я не знала этого. Я вообще не ведала, что на свете существует английский деревенский ландшафт. И то же самое Юнис, которая была убеждена, что это и есть Рай, обещанное нам место, где жизнь осуществляется без волнений, забот и лишений». Вот соотношение между Оливером Твистом и Зуэлой: буколика английского ландшафта по-настоящему принадлежит настоящему человеку главенствующего большинства — даже если статистически оно меньшинство (недаром же «золотое сердце» — видите, как все воздастся!), но Зуэла — существо ненастоящее, как бы умна и талантлива ни была и как бы ни таились зачатки «золотого сердца» в ней самой. Она ненастояща по стечению обстоятельств и если даже способна последующие обстоятельства жизни изменить и подчинить своей воле, то предыдущие обстоятельства ей неподвластны, в том числе самое сознание, что она принадлежит к ненастоящим людям. Такова ее ущербность, и так по-новому поднимается проблема ущербности, трещины в «золотом сердце» существования на материале жизни конца XX века. Все та же мучительная проблема соотношения раздвоенности с цельностью, малости с большим, частного с общим и, если хотите, Добра со Злом.

В «Докторе Живаго» еврейский мальчик Миша Гордон тоже занят разглядыванием картины чужой райской цельности: «Все движения на свете в отдельности были рассчитанно трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их... Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют Царством Божьим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь. Из этого правила мальчик был горьким и тяжёлым исключением».

Следует подчеркнуть ироническую сторону приведенного отрывка. Все те черты совместности и чувство счастья, которые мальчик рассматривает в мире большинства, присущи евреям в коллегиальности их религии и жизни больше, чем кому бы то ни было, но это не важно, коль скоро он ощущает себя частностью, а не общим, работ, а не свободным человеком: «Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать

лучше... Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?» Гордон (через которого выражено достаточно известное мировоззрение Пастернака), желая снять трагичность своей ситуации, отбрасывает свое еврейство, прилепляясь ко «всеобщему» (за которое — опять налет иронии — он принимает большинство, которое известно своим историческим комплексом неполноценности по отношению к другим большинствам), обвиняя его, как вьющееся растение обвивает уходящее вверх строение, освобождаясь в мир целостности, как освобождается раб, с умилением и самоотречением припадая к ногам господина. Маленькая героиня Джамейки Кинкэйд, не умея и не желая терять чувство собственного достоинства, выбирает иной, прямо противоположный путь, который отнюдь не более полноценен, но на котором по крайней мере не теряется напряжение осознания ею трагизма неполноценности людей «частности». «Зуэла» — символический рассказ, и наиболее символична в нем последняя фраза, которая может показаться читателю странным натурализмом: тут замыкание частности на самой себе, то есть вызов естественному порядку вещей и попытка стать цельностью уже на физиологическом уровне.

Александр СУКОНИК

Моя мать умерла, дав мне жизнь, и ничто уже никогда не стояло между мной и вечностью; за спиной у меня всегда дул блеклый черный ветер. В начале жизни я, разумеется, не могла знать этого, а когда поняла, что к чему, находилась в середине жизненного пути. Именно тогда я сообразила, что юность прошла и что многое из того, чем я обладала в изобилии, больше не принадлежит мне, хотя, с другой стороны, теперь я приобретаю нечто иное, о чем имела только смутное представление. Осознание потерь и приобретений заставило меня оглянуться назад, а потом попытаться взглянуть в будущее. В начале моей жизни маячила женщина, лица которой я не знала, впереди же не было никого, совсем никого. Я ощутила, что балансирую на краю пропасти, что моя потеря сделала меня уязвимой, что она ожесточила меня, наполнив в то же время безнадежностью. Тогда-то я опустила руки под грузом грусти, стыда и жалости к самой себе.

Когда, умерев, мать оставила маленькую меня беспомощной перед лицом мира, отец отнес и отдал меня на попечение женщине, которая стирала ему белье за плату. Возможно, он разъяснил ей разницу между двумя принесенными свертками: в одном из них находился его собственный ребенок (если не единственный, то по крайней мере единственный от женщины, на которой он был женат до сих пор). В другом было грязное белье. Я допускаю, что он держал один сверток бережней, что велел отнестись к нему с большим вниманием и заботой, — только не уверена, какой именно: мой отец был тщеславный человек, и то, как он выглядит, играло для него огромную роль. Разумеется, он не знал, что делать с новорожденным ребенком, но таким же образом он не умел управиться и с грязным бельем — и то и другое было для него в равной степени обузой.

Отец с матерью были бедны и жили в совсем маленьком домике. Но они были бедны не потому, что отец был хороший человек, а потому, что он не успел еще совершить достаточно плохих дел, чтобы разбогатеть. Домик стоял на холме, и отец спустился по тропинке, держа в одной руке меня, а в другой белье. Он вручил и то и другое женщине, которая даже не приходилась нам родственницей. Ее звали Юнис Пол, и у нее было шестеро детей. Самый младший был еще грудной ребенок, поэтому у Энис оставалось молоко. Только я не стала его пить: у меня во рту оно отдавало скисшим. Юнис жила на краю поселка, оттуда открывался широкий вид на море и горы. Когда я, не умея утешиться, начинала плакать, Юнис оставляла меня на кучке старой одежды под деревом; я выплакивалась тогда до бессилия, а горы и море глядели на меня безо всякого сострадания.

Ма Юнис не была злой женщиной. Она обращалась со мной так же, как она обращалась со своими детьми, то есть я не хочу этим сказать, что она была добра к ним. В местах, подобных нашим, грубость — единственное наследие, а жестокость — порой единственная вещь, получаемая задаром. Я не любила

Юнис и тосковала по лицу, которого никогда не видела. Я постоянно оборачивалась, глядя через плечо, будто ожидала кого-то, а Ма Юнис все спрашивала, что я выглядываю, сперва шутливо, а потом с неприязнью, решив, что я, вероятно, обладаю способностью видеть духов. Но я не умела видеть духов, я просто выглядывала лицо, то самое лицо, которое мне не увидеть, даже если буду жить вечно.

Я так и не полюбила женщину, на попечении которой отец оставил меня, женщину, которая не была недобра со мной, но которая просто не знала, что значит быть доброй. Я не смогла полюбить ее потому еще, вероятно, что сама не знала, что такое любовь. Поскольку я отказалась от груди, она впихивала в меня месиво, растертое на сите, пока у меня не появились зубы. Но, когда зубы появились, я первым делом впилась в руку, которая кормила меня. Ма Юнис тихо вскрикнула, скорей от удивления, чем от боли, и тут же поняла, в чем дело: таков был мой первый акт неблагодарности. Она поняла, что с этого момента должна держаться со мной настороже.

Я не говорила до четырехлетнего возраста. Этот факт, впрочем, никого здесь, равно как и в целом мире, не мог потревожить. Я знала, что могу говорить, но мне не хотелось. Я видела отца через день, когда он приходил за чистым бельем, но я знала, что он приходит за бельем, а не для того, чтобы повидаться со мной. Он был в моем представлении человеком, который появляется, чтобы получить свое белье из стирки. Когда он приходил, меня подводили к нему, и он спрашивал, как я поживаю, но это была сугубая формальность. Он никогда не притрагивался ко мне, никогда не глядел мне в глаза. Да и что бы он увидел в моих глазах? Юнис стирала, гладила и складывала его одежду, затем заворачивала, как заворачивают подарки, в белый нанкинский лен и клала два пакета на стол, единственный стол в доме. Так лежали эти пакеты, ожидая, пока отец придет и заберет их. Его визиты были регулярны, и вот, когда он однажды не появился, как обычно, я заметила это и произнесла: «Где мой отец?»

Я произнесла эти слова по-английски, а не на французском или английском *patois**, что должно было вызвать удивление куда большее, чем то, что я вообще заговорила. Ма Юнис и ее дети говорили на языке Доминики, то есть французском *patois*, и отец обращался ко мне на том же языке. Между тем я заговорила на языке, которого никогда не слыхала, и никто вокруг не обратил на это внимания: с них было достаточно, что я вообще начала говорить. Между тем для меня остается тайной, каким образом мои первые слова были произнесены на языке людей, которых никогда не люблю, к которым никогда не испытываю приязни. Почему почти все в моей жизни, к чему я так неотвязно принадлежу, предназначено причинять мне боль?

Мне было тогда четыре года, и мир являлся мне в виде набора черно-белых набросков, будто выполненных мягкими штрихами угля. Когда отец приходил, чтобы забрать пакеты, я видела, как он внезапно появляется в конце тропинки, ведущей от большой дороги к дому, и потом, как он исчезает, поворачивая на большую дорогу. Я не знала, что находится за границей тропинки, и не была уверена, что, исчезнув, отец остается моим отцом, а не принимает иной облик. И что я снова увижу его в форме моего отца. И я принимала это как данность.

Но я не говорила, и мне не хотелось говорить.

Однажды вовсе не нарочно я разбила единственную фаянсовую тарелку в доме, и слова извинения так и не слетели с моих губ. Реакция Юнис совершенно изумила меня. Как глубоко, исполненное какого напряжения было ее переживание! Она хваталась за толстый живот, рвала на себе волосы, била себя кулаками в грудь, слезы катились из ее глаз в таком количестве, что я не удивилась бы, если бы они образовали новый ручей, как это случается в мифах или сказках. Все это началось чуть раньше. Заметив неотвязное любопытство, с каким я разглядываю тарелку, она постоянно предупреждала меня не притраги-

* Этим словом обозначается любой жаргон карибских островов; речь необразованных людей.

ваться к ней. А между тем меня притягивала роспись на тарелке, исполненная в нежных оттенках желтого, голубого и зеленого цветов. Роспись представляла широкое поле, покрытое травой и цветами. Солнце в небе светило, но не жгло. Редкие облака были легки, их невозможно было представить предвестниками грозových туч. Странное дело: тут вроде бы изображалось поле с травой и цветами, больше ничего, а между тем на тебя действовала атмосфера тайной полноты природы, навевающая чувство спокойствия и счастья. Под картинкой золотыми буквами было выведено: «Рай». Разумеется, это вовсе не был Рай, но идеализированный ландшафт английской деревни — я не знала этого. Я вообще не ведала, что на свете существует английский деревенский ландшафт. И то же самое Юнис, которая была убеждена, что это и есть Рай, обещанное нам место, где жизнь осуществляется без волнений, забот и лишений.

Когда я, разбив тарелку с картинкой, причинила Юнис столько горя, сожаление и раскаяние не посетили меня. Они не посетили меня и позже, явившись только много лет спустя. Но тогда было уже поздно виниться, потому что Юнис к этому времени умерла. Она, вероятно, отправилась в Рай, где все, что было обещано ей, исполнилось. Когда я разбила тарелку, она прокляла мою мертвую мать, моего отца и меня, но ее слова были лишены смысла. Даже если я понимала, что она говорит, Юнис не могла причинить мне боль, потому что я ее не любила. Она поставила меня на колени на кучку камней — солнце палило в этом месте целый день, — по большому камню в каждой руке, руки подняты высоко над головой — до тех пор, пока я не извинюсь. Но я молчала, произнести слова извинения было выше моих сил. В конце концов она сдалась первой, продолжая проклинать меня и всех моих предков.

Наказание отливало всевозможными оттенками взаимоотношений между господином и рабом, пленившим и пленным, большим и малым, всемогущим и бессильным, мощным и слабым. Оно разворачивалось на фоне земли, моря и небес, и вот Юнис, возвышающаяся надо мной, как фурия, с каждым новым звуком, вылетающим из ее рта, будто испытывающая ряд новых и все более нечеловеческих превращений... Ее одежда, сшитая из бумажного полотна редкой пряжи, цвет и рисунок верхней части не впопад с юбкой; ее невымытые и не чесанные много месяцев волосы под тюрбаном из куска старой материи, не стиранные еще дольше; платье ее, когда-то новое и чистое, засаленное до такой степени, что приобрело новые цвета, а между тем Юнис нельзя назвать нечистойлотной, она каждый вечер моет перед сном ноги; и все это посреди ясного дня, потому что сезон дождей еще не наступил, далеко в море рыбаки забрасывают сеть, но хорошего улова им не ждать в такую погоду; а дети Юнис между тем жуют хлеб, скатывая мякоть в шарики и бросая в меня со смехом; и небо без единого облачка, зной, ни малейшего ветерка; жужжание мухи у моего лица, иногда она усаживается на уголок рта, а в это время с дерева сваливается перезревший плод и шлепает об землю, как кулак об мягкую плоть... Все это я помню, так вот — не должно ли было все это врезаться мне в память?

Но, когда я стояла, низко нагнувшись, упершись коленями в острые камни, я заметила трех земляных черепашек, то появляющихся, то исчезающих в расщелине под домом, и я влюбилась в них. Мне хотелось не расставаться с ними, и мне хотелось всю мою жизнь разговаривать только с ними. После описываемого происшествия — так и не разрешившегося в пользу Ма Юнис, потому что я не извинилась, — я поймала черепашек и поместила их там, откуда они не могли убежать по своей воле и потому полностью зависели от меня. Я принесла им овощную ботву и воду в морской раковине. С их темно-серыми панцирьками, на которых едва прочерчивались желтые круги, с длинными шеями и выпуклыми равнодушными глазами, с нарочито медленными движениями черепашки казались мне прекрасными. Но они втягивали головы в панцири и, сколько ни уговаривай их, не желали снова выглянуть. Чтобы преподать им урок, я набрала речного ила и замазала отверстия, из которых выходили их головы. Потом я завалила место, где они жили, камнями и на какое-то время забыла о них. Когда же мне пришлось в голову вспомнить о черепашках, я разобрала камни и нашла черепашек мертвыми.

Отец распорядился послать меня в школу. Его желание было необычно: девочки у нас в школу не ходили. Я до сих пор не знаю, что двигало им. Мне кажется, он просто не вдумывался в последствия своего поступка: какая польза была давать образование девочке вроде меня? Оглядываясь назад, я могу только считать-пересчитывать то, чего не имела. Я могу только противопоставлять это тому, что имела, чтобы получить в результате нищету... И все-таки, и все-таки... И все-таки благодаря решению отца мне довелось увидеть мир за пределами тропинки, уходящей от дома к большой дороге.

Я до сих пор помню первое ощущение на себе грубой (потому что новой) одежды, в которую меня нарядили. Одежда состояла из зеленой юбки и коричневой блузки — это была школьная форма, цветом и кроем подражающая школьным формам, которые носят другие девочки в неизвестно где существующих местах. На ногах у меня были коричневые нитяные носки и коричневые брезентовые туфли. Носки достал мне отец, не знаю даже где. Я потому подчеркиваю этот факт, что еще никогда в жизни не носила ни туфель, ни тем более носков. С непривычки туфли жали, ноги распухали и покрывались пузырями, но меня заставили ходить в них до тех пор, пока не привыкну. То утро, когда я пошла в первый раз в школу, выглядело настолько обычным, что это было даже многозначительно. Временами светило солнце, временами его прикрывали облака. Вокруг меня была та же зелень листвы, те же взрывы алого цветения на деревьях, те же болезненно желтые плоды орешника. В нос ударяли ароматы липы и миндаля, в моем дыхании стоял запах кофе, а юбка Юнис хлопала меня по лицу и доносила запах, исходящий от ее промежности, — я запомню этот запах и буду вспоминать Юнис каждый раз, когда сама буду пахнуть так же... Река обмельчала, поэтому не было слышно шума воды в камнях, а ветер был так легок, что не было слышно даже шелеста листьев...

Все мои чувства: зрение, обоняние, слух — вбирали в себя окружающее, пока мы шли по дорожке, начинающейся у двери дома Юнис и кончающейся в том месте, где дорожка встречалась с большой дорогой. Когда же я ступила только что обутой ногой на большую дорогу, то сделала это первый раз в жизни и не могла не осознать этого.

Дорога была вымощена маленькими камнями, вбитыми в грунт, и мне пришлось довольно неловко ковылять по ней. Грунт был неплотен, камешки под ногами раскачивались, и я то и дело оступалась. Дорога тянулась далеко вперед, исчезая за поворотом. Когда мы дошли до поворота, дорога снова выпрямилась и снова закончилась поворотом вдали. Мы добрались до этого поворота, за ним был еще один, потом еще и еще. Когда же мы дошли до школы, у дороги, по-видимому, оставалось еще много поворотов.

Школа помещалась в маленьком здании с одной дверью и четырьмя окнами. Пол здесь был деревянный, по балке, которая тянулась под крышей, бежала ящерица. В комнате один за другим стояли три длинных стола, а напротив находился большой стол и кресло за ним. На стене позади кресла висела карта, обрамленная словами: «Британская империя». Это и были первые слова, которые я выучилась читать.

В классе всегда вертелись мальчишки, с девочками я стала учиться гораздо позже. Впрочем, я не боялась мальчишек. Я не знала страха тогда и не знаю теперь. Тогда я не испугалась потому, что моя мать умерла, а это единственное, чего ребенок действительно боится. Мать умерла, и я жила все эти годы с Юнис, с женщиной, которая не была мне матерью и которая не смогла полюбить меня. Я жила и без отца, не зная, когда в следующий раз увижу его, так что, конечно же, я не боялась мальчишек. (И если это неправда, то это не первый случай, когда я лгу себе, не желая признаваться в собственной уязвимости.)

Тогда, в школе, каждое самое незначительное событие запоминалось мной автоматически и с четкостью, которую я теперь принимаю как нечто само собой разумеющееся. Для меня тогда события не имели причинной или временной связи. Учительницей у нас была женщина, прошедшая школу у миссионеров-методистов. Рожденная от выходцев из Африки, она страдала от униженности и презрения к самой себе. Она носила свое отчаяние, как одежду, как

мантию или посох, на который можно постоянно опираться. Как право от рождения, которое она передавала нам без малейшего усилия. Она не любила нас, и мы не любили ее. Класс состоял из семи мальчиков и одной девочки, то есть меня. Мальчики тоже вели свое происхождение от людей из Африки. Учительница и мальчишки все глазели и глазели на меня. У меня были толстые брови, мои волосы, грубые на ощупь, вились некрупной волной, мои миндалевидные глаза отстояли далеко один от другого, а губы расширялись и сужались непривычным образом. Я тоже происходила от выходцев из Африки, но не только: моя мать была женщина с Карибских островов. Когда они глазели на меня, именно это они и видели. Прощаясь со мной после уроков, учительница неизменно называла меня «мисс Вареная Рыба», потому что в ее представлении я была слишком бледна и слаба.

В то время я начала свободно разговаривать, в основном сама с собой, с другими же — только когда это было абсолютно необходимо. В школе мы говорили на правильном, не сленговом английском, а между собой — на французском *ratois*, который вовсе не был правильным языком, — никакой француз не смог бы на нем объясниться и даже понимал бы с великим трудом. Я разговаривала вслух сама с собой, потому что мне все больше и больше нравился звук моего голоса. В нем слышались неведомые сладость и нежность, которые развеивали мое одиночество. Я была одинока и тосковала по лицам, в которых могла бы найти хотя бы отчасти отражение себя. Ибо: что такое была я? Моя мать была мертва, а когда я виделась с отцом, то не знала, что я для него значу.

Я очень быстро выучилась читать и писать. Моя память, моя способность до малейшей детали запоминать, кто, что и при каких обстоятельствах сказал, казались необычными. Настолько необычными, что учительница, которую приучили мыслить исключительно в категориях добра и зла и суждение которой в этой области было всегда ошибочным, объявила, будто мои способности от нечистой силы, которая в меня вселилась. А чтобы рассеять сомнения, она указывала на непреложный факт происхождения моей матери, женщины с Карибских островов.

Между тем мир мой, молчаливый, мягкий и растениевидный в своей уязвимости, подверженный прихотям могущественных мира сего, однодневный, как у бабочек или мух, начинался каждое утро с бледного рассвета на горизонте и заканчивался по вечерам внезапным падением тьмы. Он, этот мир, был для меня одновременно тайной и источником разнообразных удовольствий. На пути в школу я любила глядеть на серое, пористое, будто вымощенное гравием небо, которое в конце концов ласково обнимало меня струями дождя. Я любила небо и тогда, когда его отвердевшая голубизна служила жесткому солнцу рефлектором, не обещая укрытия. Эта жара постепенно становилась такой же частью меня, как кровь в моих венах. Массивные деревья со стволами в несколько обхватов росли без всяких забот, смешав понятие красоты с понятием величины. Закрыв глаза и вслушиваясь в шелест трущихся друг о друга листьев, я могла определить, от какого именно дерева исходит этот звук. Еще я любила время, когда начинали опадать белые цветы кедра: они беззвучно кружились, спускаясь к земле, но их полет тоже слышался мне. Их лепестки и пестики, еще свежее-белые и розовые, как нежный поцелуй, увядали на следующий день, раздавленные и коричневые, и тогда даже смотреть на них не хотелось. И река, в один прекрасный день вышедшая из берегов и превратившаяся в маленькую лагуну... Я усаживалась у воды и подолгу смотрела на стаи птиц и откладывающих яйца лягушек, а небо в это время прояснялось, и чернота сменялась синевой, и тут же снова чернело, и тогда на море, что простиралось за лагуной, падал дождь, но гору, маячившую на горизонте моря, он не доставал.

Случилось так, что именно здесь начала являться мне в снах моя мать. Я засыпала на гальке, покрывающей берег, мое тельце входило в нее, как в пуховую перину, и мать спускалась откуда-то сверху по лестнице. На ней было белое до пят платье, но, кроме платья и голых ступней, я больше ничего не видела. Поначалу я ужасно переживала, но постепенно привыкла, удовлетворяясь

тем, что мне дано. Потом я просыпалась и мной овладевала острая тоска по отцу. Ничего мне тогда не хотелось, только бы быть рядом с ним.

В один прекрасный день, который, впрочем, ничем не отличался от других подобных дней, меня стали обучать искусству писать письма. Письмо должно было состоять из шести частей: адреса посылающего, даты, адреса получателя, приветствия или обращения в первой строчке, самого текста и заключительной фразы. Было совершенно ясно, что в положении, которое мне суждено было занимать в обществе, то есть в положении женщины, да еще бедной, умение писать письма было совершенно ненужной роскошью. Тем не менее (или именно поэтому) все те, кто был причастен к процессу моего обучения, получали от него невероятное удовольствие. Сколько поношений, сколько битья доставалось мне за каждую ошибку! Но упражнения в переписывании писем, содержащих чьи-то жалобы или излияния чьих-то восторгов по поводам, ко мне не имеющим никакого отношения, не вызывали во мне раздражения. Во мне только все больше пробуждалось желание писать свои собственные письма, в которых я могла бы выразить собственные мысли и чувства по поводу жизни, какой она видится глазами семилетнего ребенка. Тогда я начала писать письма, обращаясь к отцу. «Дорогой папа», — выводила я каллиграфическим почерком, выработанным в результате битья и поношений, и продолжала о том, как плохо относится ко мне Юнис и как я тоскую по нему и люблю его. Я писала и переписывала одно и то же письмо по многу раз. В нем не было ни деталей, ни художественных оттенков, а только безыскусный вопль маленького раненого животного: «Дорогой папа, ты единственный человек, оставшийся мне в мире. Меня никто не любит, только ты можешь любить меня, меня бьют палками, в меня бросают камни, ты единственный, кого я люблю, только ты можешь спасти меня». Кстати, эти слова вовсе не были предназначены моему отцу, но той, чьи ступни я видела во снах. Ночь за ночью являлись мне эти ступни, одни только ступни спускались вниз, чтобы встретиться со мной.

Я писала письма без всякой мысли отослать их отцу, потому что не знала даже, как посылают письма. Я складывала страницы так, что, если разорвать по краям, выйдут восемь бумажных квадратиков. В этом не было никакого тайного смысла, просто так они лучше умещались под большим камнем на дороге возле школы. Каждый день, покидая школу, я подкладывала очередное письмо под камень. Разумеется, я писала письма тайком — во время перемен или на уроках, выполнив заданное упражнение раньше времени. В последнем случае я делала вид, будто все мое внимание сосредоточено на упражнении, а в это время писала письмо.

Мои маленькие послания не приносили мне чувства облегчения. Хотя я знавала несчастливость своего положения, мысль о том, что оно может быть когда-нибудь и как-нибудь изменено, не приходила мне в голову.

Мой секрет был вскоре раскрыт. Мальчик по имени Роман подсмотрел, как я прячу очередное письмо, и, когда я ушла, вытащил все письма из-под камня. Жалость или сострадание были ему неведомы, инстинкт защиты слабого изначально не существовал в нем. Он отнес письма учительнице. В одном из писем была фраза: «Все ненавидят меня, только ты один любишь», — но, во-первых, я вообще не адресовала письма к отцу, а во-вторых, и не думала их отправлять. Если бы меня спросили, действительно ли я полагаю, будто все ненавидят меня и только отец любит, я не знала бы, что ответить. Но, к счастью, реакция учительницы на мои детские писания подействовала на меня, как тонизирующее средство. Слово «все» она восприняла исключительно на свой счет. Перед лицом класса она объявила мои слова ложью, клеветой и наветом, подчеркивая, что ее лично они не трогают, но что ей стыдно за меня. Класс хихикал и радовался моему унижению, а между тем я вовсе не была унижена. Я глядела учительнице в рот и думала, почему у нее такие желтые и кривые зубы. Ее платье под мышками темнело большими полулуниями пота, и я размышляла: когда вырасту, не буду ли столь же обильно потеть и так же пахнуть? За спиной учительницы по стене ползла большая паучиха с мешком яиц на спине, и мне хотелось протянуть руку, чтобы голый ладонью раздавить ее. (Такая же паучи-

ха — или кто-то из ее рода — выпила из уголка моего рта вчера ночью слюну, и я проснулась, чувствуя боль от трех укусов.) За окном школы шел мелкий дождь, шелестя по оцинкованной крыше.

Скорей всего чтобы показать, насколько чиста ее совесть, учительница отослала отцу пакет с моими письмами. Она утверждала, что я по своей гордыне сужу все превратно, между тем как она ругает и бранит меня ради меня самой же и что она надеется, со временем я все же научусь различать любовь и ненависть. Когда она произносила эти слова, я посмотрела ей в лицо, чтобы убедиться в их правдивости. Убедиться, что бранные слова, которыми она так часто осыпает меня, на самом деле суть слова любви. Но на ее лице я не нашла ни малейшего признака любви — вероятно, я была слишком мала, чтобы судить о таких вещах.

Итак, вот что произошло, то есть вот что я сделала — совершенно неосознанно и без всякого заведомого умысла. Сама того не понимая, я изменила свою жизненную ситуацию и, может быть, тем самым спасла себе жизнь. И все это при помощи слов. С тех пор я доверяю словам и каждый раз обращаюсь с ними к самой себе или другим людям, чтобы определить и осмыслить положение вещей в моей жизни. При помощи слов я постепенно превратилась в существо, в высокой степени сознающее самое себя, интересующееся собой, своими нуждами, своими неудовольствиями и своими наслаждениями. О да: с того момента, когда ребенок выразил словами невольный крик души, его жизнь изменилась, и он отметил это.

Когда отец пришел, чтобы забрать меня, на нем была форма тюремщика. Впрочем, для него в этом не было никакого символа. Он возвращался в Розо из деревни св. Иосифа, где исполнял обязанности полисмена. Никто не предупредил меня о его приходе заранее, никто не удосужился упомянуть, что он прибудет именно в этот день, и потому я совсем не ожидала его появления. Я возвращалась из школы и вдруг увидела его стоящим на последнем повороте дороги, ведущем к дому, в котором я жила. Только самой себе я могла признаться, что удивлена, — никто больше не должен был знать этого.

Я скучала по отцу, потому что он давно уже не появлялся в доме, где я жила, давно не приносил сюда грязное белье и не забирал чистое. Причина была та, что отец снова женился. Меня оповестили об этом событии, но оно оставалось для меня тайной. Такой же тайной примерно, как школьное открытие, что Земля кругла. Кругла, ну и что же? Зачем кругла, в чем тут смысл? Что бы могло значить, что мой отец снова женился? Между тем отец взял меня за руку и стал что-то говорить. Он заговорил по-английски, его губы округлялись вокруг слов, он казался привлекательным, благодушным, даже добрым. Я понимала, что он говорит: теперь у меня будет дом, хороший дом. Я узнаю и полюблю его жену, мою новую мать. Он любит меня, как самого себя, вероятно, даже больше, потому что я напоминаю ему человека, которого он уж наверняка любил больше жизни. Да, да, я полюблю свой новый дом, небо над домом, землю вокруг дома. Слово «любовь» произносилось так часто, что для моего семилетнего ума оно становилось синонимом чего-то несуществующего. Глаза отца то щурились, то широко открывались: он верил в то, что говорил, и это было хорошо, потому что я в это совсем не верила. Но я не собиралась разрывать цепь событий. Кроме того, у меня не было никаких оснований не верить отцу, и это тоже играло роль. Цинизм еще не коснулся меня, и потому мне не могло прийти в голову, что за всем произносимым может лежать что-то совсем другое, какие-то другие мотивы и побуждения.

Я поблагодарила Юнис за то, что она сделала для меня. Я не была и не могла быть искренней тогда, но если бы дело происходило сейчас, то моя благодарность не осталась бы пустой формальностью. Все мои пожитки уместились в муслиновом рюкзаке, и отец положил рюкзак в мешок, перекинутый через спину осла, на котором он приехал. Отец посадил меня на осла, а сам сел сзади. Вот как выглядела картина моего отъезда: я на спине осла, повернувшись спиной к дому, в котором провела первые семь лет моей жизни; отец и его дочь верхом на осле в конце обычного дня, тем более обычного, что в книге бытия ты зна-

чишь меньше, чем случайный мазок типографской краски в конце печатной страницы.

Я ощущала позади дыхание отца, но оно не было дыханием моей жизни. Затылком иногда я касалась его груди и слышала, как бьется его сердце сквозь униформу. Ту самую форму, которая вселяла страх в людей, когда отец приближался к ним. Появление отца в моей жизни знаменовало тогда счастливое событие, почему же ему не пришло в голову сменить форму? С другой стороны, почему я должна была заметить это, почему подобная деталь могла иметь для меня значение?

Этот новый опыт, когда оставляешь прошлое позади, перемещаясь в пространстве жизни из одной точки в другую, одновременно сознавая, что общий порядок вещей не меняется, я приняла мгновенно как дар свыше. Самое трудное здесь — первый шаг, поворот спиной к тому, что покидаешь... Но стоит сделать этот первый шаг, как тут же перестаешь понимать, что в нем было трудного. Я бы не могла проделать все это сама, без посторонней помощи, но мои письма послужили толчком к началу событий и сделали возможным их дальнейший ход. Окажись я снова в моей прежней школе или в доме Юнис, за одним столом с ее детьми, в моей старой постели, все равно прежнее чувство униженности, равно как и стыд за свою беспомощность не смогли бы придавить меня, как раньше.

Пока мы ехали, лицо отца находилось сзади, так что я не могла взглянуть в него, чтобы попытаться угадать его мысли. Да, я слишком еще мало знала отца, чтобы уметь угадывать его мысли. Мы пустились по дороге в направлении, противоположном тому, которое вело в школу, и вид вокруг должен был быть мне нов. А между тем все казалось знакомым и потому навевающим грусть. Каждый новый поворот дороги окружала все та же стена деревьев, растущих с неистовостью, которой еще не коснулась сдерживающая рука человека. Тут было нечего отнять и нечего прибавить. Каждый обрыв вдоль дороги был угрожающе крут, грозя неудачнику смертью или по крайней мере тяжелым увечьем. Каждый подъем переходил в спуск, на дне которого, вдоль дороги, громоздились облака цветущих растений, названия которых мне еще не были известны. И за каждым поворотом влево следовал поворот направо.

День отходил, его цвета увядали в похоронную серость и лиловатость сумерек, и моя грусть усилилась. Я была частью печальной процессии, с каждым шагом удаляющейся от прежней жизни, той единственной жизни, которую я прожила за свои первые семь лет. Грусти, однако, не удавалось подавить меня до конца. Ночная темнота пала с обычной внезапностью, и тогда отец обнял меня, как бы желая защитить от опасности, невидимой в прохладной тьме. Быть может, он охранял меня от падения, быть может, от злых духов. Его рука, сперва нежная, постепенно наливалась силой, сжимая меня теперь, как железный обруч. Но я не теряла самообладания.

Мы въехали в деревню, она была темна. Никто не встретился нам на улице, ни в одном окошке не засветился огонь, ни одна собака не залаяла на нас. Мы вошли в дом, в котором жил мой отец, большую гостиную освещала чудесная лампа из литого стекла. Такой лампы мне еще не доводилось видеть: пламя в ней питалось прозрачной жидкостью, которая проступала сквозь основание, украшенное барельефом с головами неизвестных мне животных. Лампа стояла на полке красного дерева, а полку поддерживали две резные консоли в виде вцепившихся в нее львиных лап. Комната была тесно уставлена мебелью: тут было широкое кресло, на котором могли сидеть сразу двое, и два обыкновенных стула, и еще маленький низкий столик, покрытый белой материей. Стены дома и перегородка, которая отделяла первую комнату от остальных, были оклеены бумагой, по ней были разбросаны маленькие блекло-красные розы. Однажды в моей жизни я видела что-то подобное, но то была иллюстрация в книге, которую я как-то рассматривала в школе. Иллюстрация относилась к рассказу о зверьке, жившем с семьей в поле. Стены их норки были оклеены такой же бумагой. В свое время я приняла историю за выдумку, написанную с целью развлечь детей, но теперь передо мной во всей реальности был дом моего

отца, в доме сияла яркая лампа, а сама комната, в которой мы находились, казалась предназначенной для какого-то очень необычного события. В один момент я поняла, как много не знаю в мире, и прежде всего, прежде всего я не знаю свою мать. И отца я своего не знаю — что он есть такое, откуда явился, где обитает и что в мире ему приходится по душе. Мне незнакомо было место, в которое мы въехали верхом на осле, мне неизвестно было, кто я сама такая и почему стою посреди этой удивительной комнаты. Внезапно безбрежное море неизвестности окружило меня, с головой накрывая предательской волной, и в моих ушах все сильнее и сильнее стал пульсировать скрежет увлекаемого водой песка, до тех пор, пока я не почувствовала, что умираю.

Но я не умерла, а только упала в обморок, и когда вскоре открыла глаза, то увидела над собой лицо жены отца, и у нее было лицо дьявола. Видите ли, в моем воображении не нашлось никакого другого лица для сравнения, я только знала, что это лицо дьявола, вот и все. Было слишком ясно, что я ей не нравлюсь. Было слишком очевидно, что она не любит меня. На ее лице не намечалось ни малейшего оттенка приветливости, не то что симпатии. Мне не была видна ее фигура, только голова. Время близилось к полуночи, поэтому ее волосы, разделенные посредине, были заплетены в две тугие косички, кое-как заколотые сзади. Это были гладкозачесанные, хотя и мелковьющиеся волосы. Ее губы, тонкие и суровые, напоминали губы людей из стран с холодным климатом. Черные глаза сверкали не красотой, а лживостью. Длинный нос заострялся книзу, словно стрела, а лицо было угловатым, как это бывает у людей смешанной афро-французской крови.

Я ей не нравилась. Она не любила меня, я прочла это на ее лице. Мой дух воспрянул при встрече с новым препятствием. Забудь о любви. Что ж, прекрасно. Ничего страшного, я уживусь здесь. Мне слишком хорошо знакома такая атмосфера. Любовь, наоборот, выбила бы меня из колеи и заставила бы растеряться. Любовь всегда выбивает из колеи и заставляет теряться. Наоборот, я прекрасно уживаюсь в атмосфере, где нет любви. В такой атмосфере я всегда могу устроить свою собственную отдельную жизнь. Жена отца поднесла к моему рту чашку с питьем. Ее рука коснулась моей щеки, и я ощутила холод. Она пыталась напоить меня чаем, чтобы заставить прийти в себя, но настой был горек, как яд. Мой маленький язык пропустил только каплю питья, и ее оказалось недостаточно, чтобы согреть сердце. Я поднялась. Наши глаза не встретились и не сомкнулись в поединке, я была еще слишком мала для подобного вызова. Тогда я еще способна была действовать только инстинктивно.

Меня провели по короткому коридору в предоставленную мне комнату. Отец жил в таком вместительном доме, что у меня могла быть отдельная комната, и этот факт немедленно стал центральным в моей жизни. Комнату освещала маленькая, величиной в мой кулак, лампа, и я заметила деревянную кровать с матрасом из копры, покрытую белой простыней, на которой лежала квадратная подушка. В углу стоял умывальник с тазом. Полотенца я не увидела (хотя это не имело значения, потому что в любом случае я еще не знала толком, как умываться, и мое последующее обучение сопровождалось изрядным количеством гневных слов в мой адрес). Стены комнаты были из неокрашенных сосновых досок. На них не висело ни одной картинки. Это была скромнейшая из самых скромных комнат в мире, но в ней было больше роскоши, чем я могла себе вообразить. Комната дарила мне то, о необходимости чего я даже не догадывалась: она дарила мне возможность уединения. Отныне маленькое существо, сколько-то в нем плоти и сколько-то духа, могло обрести здесь мир и спокойствие, наедине обдумывая события прошедшего дня и мечтая.

Я присела на кровать. Чувство одиночества овладело мной с такой силой, что мне захотелось плакать. Я чувствовала, что сердце мое разбито, что я в опасности, и мне стало страшно. Мне казалось, что каждую минуту кто-то желает моей смерти. Жена отца зашла пожелать спокойной ночи и, выходя, погасила лампу. Она обратилась ко мне на французском диалекте, между тем как в присутствии отца говорила по-английски. (Так продолжалось, пока мы знали друг друга, но в тот первый момент семилетний ребенок, находящийся в собст-

венной комнате, сразу понял попытку указать ему на его подчиненное положение при помощи неистинного языка неистинных людей — людей-теней, людей, навечно униженных, людей, остающихся на дне жизни.) Затем она ушла по коридору по направлению к той части дома, где располагалась их спальня, и я слышала, как затихают, удаляясь, ее шаги. Я слышала, как они переговариваются с отцом, звуки их голосов будто поднимаются и закручиваются в пустом пространстве под потолком. Я не могла разобрать слов, но тон их был нейтрален. Потом некоторое время стояла тишина. Потом короткие вскрики и вздохи. Потом дыхание спящих людей.

Я легла с желанием уснуть и увидеть во сне мать — я знала, что увижу ее, потому что хочу этого. Всю ночь она спускалась и спускалась ко мне по лестнице, бесконечное количество раз, каждый раз ее ступни и оборка белого одеяния были видны мне, но не ее лицо. Но я не расстраивалась. Конечно же, мне хотелось бы увидеть ее лицо, но я больше не тосковала по нему. Она пела мне песню, но в песне не было слов. Это не была колыбельная или сентиментальная песенка, предназначенная умерить замутненность души от дневных столкновений с жизнью. Хотя песня была проста, звук голоса возникал, как сокровище, вдруг найденное на дне пустого комода, сокровище, вид которого вызывает не изумление, но удовлетворение и вечное наслаждение. Всю ночь я спала и видела во сне, как ее ноги спускаются по лестнице ступенькой и еще ступенькой ниже, и слышала, как она пела — иногда во весь голос, а иногда чуть слышно, с закрытым ртом. Это был единственный раз, когда я слышала голос моей матери. И по сегодняшний день она иногда является мне во снах, спускаясь по лестнице, оборка ее белого одеяния чуть прикрывает ступни, но она никогда не поет.

Я прибыла в дом отца под покровом пышной ночи; вслед за ночью, естественно, наступило утро. Проснувшись, я увидела, что меня окружает тот же пейзаж, который привыкла видеть вокруг себя: слишком могучий и вольный, чтобы бросить ему упрек в чем-нибудь, и одновременно прекрасный и уродливый, покорный и гордый, полный жизни и смерти, способный поддержать одно и утвердить свои права на другое. Жена отца стала учить меня умываться, но делала это без малейшей ласковости. Мое тело и запахи, что исходили от него, давали лишний повод к презрению. Я же реагировала на все характерным для меня способом, проникаясь симпатией ко всему, к чему меня учили относиться с брезгливостью. Мне становились дороги запахи, исходившие от тонкого слоя грязи за моими ушами, от подмышек, от промежности, из-под пальцев ног. Да, да, теперь я начинала поклоняться всему физическому в себе, что вызывало в других людях отвращение. Холодные руки мачехи причиняли мне боль. В ней самой, впрочем, скрывалось отчаяние женщины, чьи желания были пресечены судьбой: она все еще не могла понести от отца. Она боялась меня, боялась, что из-за моего присутствия отец станет думать о моей матери чаще, чем он думает о ней. В то утро она дала мне несвежую, пахнущую плесенью еду. Похоже было, что она сохранила эту еду специально для меня, и я не стала ее есть. С тех пор я научилась готовить для себя сама, и люди так и стали называть меня: девочка, которая сама готовит себе пищу.

...Когда я вспоминаю теперь мою тогдашнюю жизнь, мне чудится, будто все происходит в малюсеньком темном месте, вроде как в кукольном домике, который, в свою очередь, находится на дне подвала. Вот я, подняв люк, стою наверху лестницы, пытаюсь взглянуть в действие, и зачастую одна и та же сцена является мне по-разному. Разные вещи отступают в тень, разные вещи попадают под освещение...

Кто был мой отец? То есть не по отношению ко мне, его дочери, но что за человек он был вообще? Он был полисменом, но опять-таки не совсем ординарным. Он вселял в людей больше страха, чем другие в его положении. Он назначал людям прием в доме, в котором жил с семьей (теперь я была чем-то вро-

де члена семьи), заставляя их ждать часами, а потом зачастую вовсе не принимал их. Люди ожидали его: одни — сидя на большом камне около калитки, другие — меряя дворик шагами от калитки к дому и обратно. Они то и дело входили и выходили из дворика, скрипя калиткой, что раздражало жену отца, и тогда она грубо кричала на них. Куда грубей, чем этого требовала ситуация. Люди ожидали отца без жалоб, иногда засыпали стоя, а иногда присаживались на траву. Когда становилось ясно, что он не придет, они исчезали и появлялись на следующий день. Иногда им удавалось дождаться его, иногда нет. Было очевидно, что отец действует безнаказанно и что он просто о людях не думает. Так по крайней мере мне казалось вначале, но я ошибалась. Отец прекрасно знал, что делает, сознательно унижая людей, причиняя им страдание. Он был наделенным сознанием колесом в механизме жизни нашего острова, механизме, постоянно генерирующем боль.

К тому времени, когда я появилась в доме, отец только-только выработал маску, которую носил потом до конца дней: кожа лица туго натянута, глубоко ушедшие в орбиты глаза (будто для того, чтобы не дать прочитать свои мысли), губы в вежливой, но формальной улыбке. Он казался человеком, которому можно довериться. Его одежда всегда была отутюжена и безукоризненно чиста. Он держал людей на расстоянии и предпочитал не есть в присутствии незнакомцев или тех, кто от него зависит.

Что за человек он был? Я задаю себе этот вопрос постоянно и по сегодняшнему дню. Что за человек? Ну хорошо, он был высокого роста, у него были рыжего цвета волосы и серые глаза. Вероятно, он любил меня, потому что говорил, что любит. Я никогда не слыхала, чтобы он признавался, что любит кого-нибудь. Он настоял, чтобы я продолжала ходить в школу, но я не знаю, почему. Как указывала его жена, это была большая жертва, потому что я была бы гораздо полезней дома. Он давал мне читать книги. Он дал мне жизнеописание Джона Весли*, и когда я читала, то удивлялась, какое имеет отношение ко мне жизнь человека, исполненная такого духовного смятения и такого благочестия. Отец стал методистом и начал посещать церковь каждое воскресенье. Кроме того, он преподавал в воскресной школе. Чем больше он богател, тем больше времени отдавал церковным делам. И чем богаче он становился, тем неподвижней выглядела маска на его лице, так что я уже не могла вспомнить, каким он выглядел в те годы, когда приходил в дом Юнис.

Вот так вышло, что оба, отец и мать, оставались тайной для меня: одна — из-за прямой смерти, другой — из-за непрямоты жизни. Одну я не видела никогда, другого видела постоянно.

Мир, который я познавала вокруг себя, был полон предательства, но это не пугало меня, не делало излишне осторожной. Я отлично сознавала опасность, которую представляет для меня жена отца, но я также знала, какую я являю в ее воображении угрозу для нее. Поэтому, живя в доме моего отца, который был также ее домом, я предпочла взять на себя роль постоянно виновной. На самом же деле я не испытывала ни малейшего чувства вины и не совершала ничего такого, что требовало извинений, но сбивчивость моей походки служила мне щитом, с помощью которого могла отвлечь внимание мачехи, заставить думать обо мне как о жалком и покорном создании. Я не испытывала к ней ни малейшей приязни, хотя и не желала ей смерти, я только хотела, чтобы меня оставили в покое.

Ночами я лежала в своей кровати, прислушиваясь к звукам внутри и снаружи дома, отделяя знакомые звуки от незнакомых, реальные от нереальных, пытаюсь угадать, действительно ли вопли, что пронизывают тьму, издает летучая мышь или нечто, принявшее ее форму. Действительно ли внезапное хлопанье крыльев в пустоте, заполненной тьмой, производится птицей, а не существом, только ею притворившимся. Раздавался скрип калитки, то возвращался отец, много позже того, как все улеглись спать. Его шаги были тихи и уверен-

* Джон Весли (1703—1791) — основатель методистской церкви в Англии.

ны, он пересекал дворик, поднимался по ступенькам, поворачивал дверную ручку, открывал дверь, прикрывал ее, задвигая тяжелую задвижку, проходил в другую часть дома. Он никогда не ел, если возвращался домой поздно. Шум моря тогда, в ночной тиши, был слышен особенно явственно, иногда мягкие ленивые всплески его о черные камни берега, иногда яростный шум, будто от кипения воды в нестойком над огнем казане. И иногда — когда ночь была абсолютно черна и тиха — я слышала вздох чьей-то души, отлетающей в вечность. И вдруг этот звук приносил конец тишине, потревожив сон живых. Тогда собаки под домами, птицы на ветвях деревьев с шумом приходили в движение, будто хотели бежать куда-то. И, прислушиваясь снова, я слышала тогда, как, извиваясь, ползут по земле те, кто держит во рту отравленные стрелы, у кого сама слюна исполнена яда. Я слышала тогда вышедших на охоту и спасающихся от охотников; жалкие вскрики малых мира сего, уготованных в пищу сильным, и убоготворенное урчание сильных, когда они переваривают пищу. О да, я слышала все это — ночь за ночью, ночь за ночью, и звуки прекращались лишь после того, как мои руки, путешествуя по моему телу в любовной ласке, находили мягкое и влажное местечко между ног, и тогда вскрик удовольствия невольно срывался с губ, но я тут же подавляла его, не желая быть никем услышанной.

Перевел с английского Александр СУКОНИК



Дневник писателя

Михаил ПРИШВИН

Дневник 1938 года

Продолжаем публикацию дневников М. М. Пришвина 30-х годов*. Вниманию читателей представляем выборки из дневника 1938 года.

Пришвину в 1938 году исполнилось 65 лет. Жизнь его проходит между Москвой и Сергиевым Посадом. Он часто уезжает с младшим сыном Петром в любимые охотничьи уголки Подмосковья, весной предпринимает большое путешествие под Кострому в деревню Вежи на волжский весенний разлив. В результате поездки рождаются новый поэтический цикл «Неодетая весна» и сборник детских рассказов «В краю дедушки Мазая».

Пришвин сотрудничает с детскими журналами, готовит новые сборники для детей и юношества, с воодушевлением приступает к авторизованному переводу повести канадского писателя Вэша Куоннезина «Серая Сова» — о создании бобрового заповедника.

Дневник же писателя отражает не только его литературную работу, но и суровую реальность тех дней.

А реальность была такова: под гнетом жесточайших репрессий 35—38-го годов жизнь общества дошла до полного «замирания». Очередной московский процесс Бухарина — Рыкова, проходивший весной 1938 года, довел это состояние до крайней степени страха и неуверенности в завтрашнем дне. Наряду с этим именно в это время начинается взрывная миграция населения из деревни в город. Происходит окрестьянивание городов, сопровождающееся понижением общей культуры, ростом хулиганства, ослаблением рабочей дисциплины на производстве (именно в эти годы стали издавать приказы об увольнении с работы за опоздание на 20 минут). Резко обостряется жилищная проблема, не разрешенная во многих городах и до сих пор.

Обстановка тех лет преломляется у Пришвина в образы и мысли романа «Осударева дорога», к работе над которым он вновь возвращается.

Этот роман, рассказывающий о строительстве Беломорско-Балтийского канала, до сих пор вызывает у его читателей недоуменные вопросы.

Мы их не снимаем. Но, возможно, Дневник 1938 года поможет лучше понять сущность духовных поисков писателя в этот трудный период.

1 января. Летит редкая пороша.

С Петей¹ высказывали друг другу свое горе о разрушении таких сложных и редких организаций, как Мантейфель² и Мейерхольд. Вместе с тем подумали о всем повороте на «нового» человека и, как все, ничего в этом не понимали по существу.

Решил выбросить из числа верных людей всех, кроме единичных столпов, совершенно неколебимых. И для себя, своего спокойствия, и из-за них самих. А то ведь каждый раз, как сказал кому-нибудь лишнее, через некоторое время одума-

* Дневники М. М. Пришвина публиковались в «Октябре»: 1930 год — 1989, № 7; 1931—1932 годы — 1990, № 1; 1936 год — 1993, № 10; 1937 год — 1994, № 11; 1995, № 9.

ешья и раскаешься: «Зачем я это сказал?» Понятно, что при такой одумке допускаешь возможность доноса. И, значит, каждый раз, когда с кем-нибудь заводишь сомнительный разговор, тем самым оскорбляешь его. И, значит, разговаривать о некоторых вещах теперь вообще неприлично. Быть может, Куприяныч³ неглупо советовал повесить у себя какой-нибудь портрет и тем самым определить границы разговоров.

Закрепляю решение перейти от охотничьего положения на инвалидное.

Титов⁴ сказал: «Писатель отсиживается». Это плохо, значит, я не один такой и в «инвалиды» попасть не так-то уж просто.

2 января. После обеда выехал в Москву. Попал в архангельский поезд, в курящее, смрад! Но тут же в этом смраде где-то чудесный хор поет старинную русскую песню. И многих простых людей схватила за сердце, кто подтягивал, кто молчал, кто храпел и так про себя, так потихоньку, что не только не мешал, а усиливал силу песни: выходило, что народ пел. Во время перерыва песни перед заводом новый один человек, чуть-чуть навеселе, сказал:

— Хорошо поете, только старое все: кто старое помянет, тому глаз вон.

Из хора ему ответили:

— А кто старое забудет — тому два глаза вон.

— Нехорошо говорите, — сказал человек, — нужно бодрость вносить в новую жизнь, а вы вон что: старое воскрешаете, старое надо вон.

— А Пушкин? — раздался невидимый голос.

Сторонник нового на мгновение смутился, но скоро оправился:

— Пушкин — единичное явление, Пушкин мог тогда предвидеть наше время и тогда стоял за него. Он единственный.

— А Ломоносов?

— Тоже единственный.

— Нет, уже два, а вот Петра Первого тоже нельзя забыть — три.

И пошел, и пошел считать — чистая логика. В вагоне стало неловко: всем было ясно, что и Пушкин не один, и народную песню нельзя забывать. Но один человек, и тот выпивший, поднял вопрос, и раз уж он поднял, то надо как-нибудь выходить из положения: не в логике же дело. Тогда хор запел: «Страна моя родная». И все охотно стали подтягивать, песня всем была знакома. Однако виновник не мог слышать, он уже спал. После того опять запели новую песню о Сталине, потом военный марш, и все это было всем знакомо, и все охотно пели до самой Москвы.

Так вот единственный человечек, и тот выпивший, нашелся во всем вагоне, один, кто посмотрел на пение принципиально и весь наш вагон поставил на новый путь.

И вот на таких-то человечках, посыпанных в народе, как мак мелкий, и незаметных, и стоит весь Союз.

Вчера в разговоре с Коноплянцевым⁵ сказал о себе, что Гамсун чувствует природу и пишет не лучше меня, но он свободнее. А Александр Михайлович понял это в смысле «объективных» причин, сжимавших мое писание. Но сам я так не думал. И так оно и быть должно: пусть со стороны потом найдут причины, повлиявшие на сужение моего таланта. Сам же до смерти должен биться с условиями и причины неудач относить только к себе самому. И потом, что значит «свободнее»?

Я думаю исключительно о свойстве самого таланта: вот у Тургенева более свободный талант, чем у Достоевского, но удельный вес письма Достоевского больше тургеневского. И я думаю, что удельный вес «Корня жизни» больше, чем «Пана».

6 января. ...Вся вера в «прогресс» основана, конечно, на том, что когда человек находится в недоумении или пуст лично, то ему надо бывает схватиться за что-то вне себя: и вот эта иллюзия о мире величном, движущемся к лучшему, и есть «прогресс».

На самом деле мир всегда одинаков и стоит, отвернувшись от нас. Есть, однако, у человека возможность иногда заглянуть миру в лицо: и вот это и есть все наше счастье — заглянуть миру в лицо.

Большевизм остается неизменным, меняются области его нападения: то это были землевладельцы, то купцы, то интеллигенция, то самая партия... Что дальше? Дальше нужно бы с кем-нибудь воевать.

7 января. Рождество.

Нашел в музее Антиноя: да, да, у меня Антиной.

Слух о Кольцове — председателе Союза писателей. И это возможно, и это будет концом, и это надо будет перенести: журналист, хроникер станет на место писателя. Впрочем, о чем я тоскую? Все же это калифы на час. Надо благодарить, что дали народу Пушкина, усвоят Пушкина, а председатель тогда настоящий сам явится.

Когда на душе становится тошно, то целительно действует приведение чего-либо в порядок, а также хорошо заняться исправлением чего-нибудь: часов, автоматической ручки, — когда справишь, то становится хорошо.

8 января. Немного потеплело.

Подписал договор на «Журка» и «Еж» и обещал к маю приготовить четыре рассказа для маленьких. Обещал к 1 февраля приготовить том для юношества и наметил вопрос о лесной энциклопедии.

Будущее как принцип есть обман: для нас в этом смысле будущего нет, будущее — смерть. Но оно существует в виде младенца, дети — наше будущее и все наше лучшее в детях.

По выходе из музея античной скульптуры всякая человеческая голова на улице была значительна и скульптурна: как будто вынес с собою луч художественного прожектора. Вот если бы это всегда иметь внутри себя, с этим ходить по улицам. Похоже на лесные снежные фигурки: там и тут мир показывается в красоте своей бесполезности. Так то есть и **красота бесполезности**, тоже вот дым, облако. Есть ли, можно ли так сказать: **красота полезности**?

Чем, кому полезен был юноша Антиной, утонувший в 130 году на 20-м году своей жизни? А вот его статуя стоит теперь у меня, освобожденная от своей полезной службы.

Когда я вышел из музея и головы людей на улице предстали мне скульптурно, в то же самое время у меня поднялось сочувствие к человеку, музей оказался полезным, что «чувство добро он»...

Революция — это организованный политический самосуд с его обязательными жертвами, в революцию «боги жаждут». И мы христиански жалостливые или просто гуманно сочувствуя жертвам, неправильно судим революцию.

— Позвольте! — возразил N, — вы хотите освободиться от жалости, это я понимаю очень хорошо, но вот в том-то и дело, что не видно сейчас, из-за чего же все эти жертвы людьми. Дело это — взять производство — при устранении вредителей не улучшится, останется без перемен.

<...> — Так и везде: система виновата, а не исполнители. Если, например, завтра война, а мы занимаемся поэзией — это же глупо. Но и поэзию выгнать нельзя, а потому берет верх поэзия военной пользы.

— Пусть. Но почему же и там, именно в самом главном, обороне страны, то же самое вредительство, устранение людей без улучшения в деле?

— Быть может, Верховный Совет, когда соберется, прольет нам свет в эту сторону.

Ссылка писателя на «объективные причины» — все равно что ссылка борца на противника: противник, мол, сломил меня. Так у писателя его среда всегда является противником, и вот уж нельзя нам ссылаться на среду: надо ее победить.

10 января. Продолжаю ничего не делать. Только читаю немецкую «Серую Сову» и вижу, что книга будет замечательная⁶.

11 января. С утра выехал в Загорск. По пути понял, почему когда выходишь из музея скульптуры, то вглядываешься в каждую отдельную голову человеческую с интересом и понимаешь как некую значительность, и думаешь выходя: как интересен, как значителен человек на земле, и чувствуешь охоту к родственному вниманию.

Наоборот, когда идешь на улицу «по делам», то видишь какую-то серую жадную массу, жестокую, ужасную, и думаешь о будущих губительных последствиях размножения и т. п.

Все это вот почему. В музее скульптуры показан человек как личность, тут художник предлагает видеть человека и открывает смысл его, и заражает другого смотреть теми же глазами родственного внимания на другого человека. Напротив, на улице без этого мы видим массового человека без души, участвуем в его жадности, мы видим человека извне и чувствуем, до чего же он плохо и даже прямо ужасно живет. Мы видим там, выйдя из музея, как **мог бы жить** человек, а без этого видим, как он живет...

В поисках Павловны⁷ бродил по Загорску и чувствовал, как будто от кого-то ужасного ушел: кого-то на улице нет ужасного с его «темпом», идут, едут люди как люди, а не гонят их, и мальчики катаются с гор на салазках, и девушки, такие милые, несут воду на коромыслах.

12 января. Написал рассказ для маленьких детей «Утенок-стахановец». Вызвал Петю (оттепель, пороша: охота прекрасная).

13 января. —2°. Охотились с Петей и Яловецким⁸. Убит беляк. Но гонять нельзя, собаке снег по уши, идет шагом. Болела голова до смерти.

16 января. Приехал в Москву. Доделывал рассказ «Стахановец».

17 января. Начал писать «Индейцы», ходил к Бабушкиной в «Детскую литературу». Читал «Стахановца» с успехом. Решил у них напечатать. Подписал договор на сборник «Календарь природы».

Живу возле Третьяковки, и мне это приятно, хотя туда не хожу и ничем не пользуюсь: просто живу возле — и то хорошо.

18 января. Берут одного за другим, и не знаешь, и никто не может узнать, куда его девают. Как будто на тот свет уходят. И чем больше уводят, чем неуверенней жизнь остающихся, тем больше хочется жить, да, жить, несмотря ни на что! Так вот бывает: пир во время чумы.

19 января. «Постановление» (историческое), второе «головокружение»... Как и тогда, тоже некоторые глупо рады, некоторые погибнут за «перегиб».

Разговор о верующих рационалистах и о том, что, может быть, Ленин является завершением всего этого этического миропонимания, включая сюда и народников. Найти его философский том «Эмпириокритицизм и диалектический материализм».

20 января. Приходил директор Союзфото и просил меня дать мою карточку для воспроизведения в газетах 4 февраля: день моего 65-летнего юбилея.

21 января. В доме Союза писателей вечер Ленина. Думаю пойти из-за мысли о «верующем рационалисте».

Та резкая «правда», которую бросали в лицо верующие «рационалисты», из каких же именно элементов она состояла, и как она эволюционировала в современную «Правду» и в то, что называется «по-большевистски» (решительность, прямота до грубости, совлечение с себя всего лишнего во имя «пролетария»). Для этого надо анализировать самого «пролетария», как предмет революционной веры, как идола-бога.

Я лично и сейчас робею перед тем, что может предъявить ко мне «верующий рационалист» нечто прокурорское. Мне только думается, что слишком уж много играно на этой ноте и, наверно, сама струна ослабела. Или это есть и собралось все

в одном Сталине? Как можно это сохранить и соединить с чудовищным коварством политики?

Но пусть даже ни в народе, ни у самого Сталина не осталось этой правды «верующего», остался культ ее, тот бог. Да, все, что было когда-то в людях, в нашей интеллигенции, собралось теперь в бога (руководящий принцип), а люди соединились в церковь этого бога, с ее святыми, иконами, колоколами и т. п., и если бог этот «Правда», то Ленин был первосвященником «Правды».

Давно ли? Ведь всего какую-нибудь неделю-две тому назад Керженцев⁹ уничтожил Мейерхольда, а теперь Керженцев сам уничтожен.

Разговор с Аксюшей (родственница жены Пришвина Ефросинии Павловны. Помогала по хозяйству в его московской квартире.— Л. Р.).

— Кушай, кушай, Аксюша, беречь нам некуда, сегодня деньги лежат в сберкассе, а завтра это будет бумага, сегодня я накоплю дорогих вещей, а завтра их отберут и отдадут другому. Это все для того делается, чтобы жили мы настоящим днем, здесь, на земле, и освободили священное будущее от личной мечты обладания в будущем тем, чего у нас нет в настоящем. Вот ты ходишь на службу, работаешь там — это ты служишь будущему человеку, а пришел домой — живи, пользуйся настоящим: пропустишь — на будущее не рассчитывай.

Кустари власти.

Вспоминаются большевики, у которых нет дома (спят на диване): эти честные люди стали мешать своей правдой, штурмами, авралами, потребовались устойчивые люди, стал необходим для государства их дом, семья, начались хорошие квартиры, автомобили, колхозная частная собственность. Люди «без дома» стали опасны, потому что эти люди власти, это кустари власти.

У Л. Толстого тоже, как у Ленина, есть эта правда (обязательная) верующего рационалиста, и он тоже за отсутствием Бога выдумывает его и вколачивает свою веру в других.

22 января. Начал «Серую Сову».

Нельзя судить историю, и нельзя даже понять ее, имея перед собой только жертвы.

По правде сказать «Я» можно лишь на родном языке...

Не очень-то надо соваться с моей философией детства. Остерегаться рискованных положений на юбилее, потому что теперь время другое: теперь строже и, наверно, нельзя играть на подразумеваемом.

25 января. По жертве чувствуете жизнь или по деятелю?

Мы, старые люди, привыкли складывать мнение по состраданию к жертве. Теперь нас просят сочувствовать деятелям и оттого непременно быть оптимистами.

26 января. Решен юбилей.

Юбилей — это когда человека называют юбиляром, без всякого стыда по своему полному праву может говорить о себе, о своем личном пути. Он может так говорить <потому>, что в этот день общество действительно признает его.

27 января. Продолжается оттепель. Вработываюсь в немецкий текст «Серой Совы». Вечером в Загорске встреча с Петей.

28 января. Тогда был РАПП, и была тогда среда, в которой возможен был личный протест. В наше время бюрократизм не меньше рапповского, но сочувствия личному протесту не найдешь. Протест возможен лишь в организованном порядке, так называемый стахановский протест.

1 февраля. Карьера Ставского¹⁰: довериться никому не может, все сам, а самому одному работу выполнить — не может, и вот очередь в приемной, и вот бюрократ.

Так решадось где-то, что одних брать, а о других пускать слух, что взяли, и так создавать в обществе страх. Когда же паника примет размеры предельные и надо

сделать отдушину, люди, распускающие слух, объявляются вредителями, а берущие — перегибщиками.

6 февраля. Праздновал юбилей у себя. <...>

Так вышло хорошо, что рождался вопрос: где легче устроить юбилей — в обществе или у себя в доме? Выходил из этого тоже вопрос: где лучше было — в Союзе или у нас?

9 февраля. Получил собачку ирландской породы и назвал ее Травка. Вечером в собрании дошкольников выступал и продолжал юбилей.

10 февраля. Собирал сборник для юношества из своих старых рассказов, сборник в ответ на запрос о советском романтизме. Я хотел весь сборник назвать по рассказу «Марья Моревна». После стал думать, не лучше ли назвать по рассказу «Черный араб». Углубился в размышление: чего больше не хватает нашему романтизму — Прекрасной Дамы или же рыцаря? И нет — пришлось отказаться от Марьи Моревны: женщин хороших у нас еще довольно, а рыцарей очень уж мало. Нет! — пусть сборник, посвященный рыцарю, и называется мужским именем «Черный араб».

11 февраля. Чем больше скопляется на одном месте людей, тем труднее находить среди них врага общества, тем отвлеченней делается закон и тем больше получается жертв при его применении.

Если человек заявляет всюду, что он при всяких обстоятельствах желает оставаться самим собой, то правительство не может положиться на него и считать его своим человеком: как положиться, если в решительный момент борьбы он откажется выступить, желая оставаться самим собой?

12 февраля. Вечер у Ценского¹¹. Рассказ о Горьком, о войне.

Надо готовиться к смертному часу, чтобы не свиной умереть, — это раз. Второе — надо помнить, что воевать никому не хочется.

А впрочем... Это нам не хочется, а «прочим» (мальчишкам) всегда хочется.

С писателями «корифеями» нельзя никакого дела иметь: корифеи думают только о себе.

13 февраля. Мысль о войне: что «не переживем».

Почти решил — не выступать, скажу: ангина.

14 февраля. Скверно. Переделал для «Огонька» «Звездная пороша». И решил на 16-е выступить.

Гулял по набережной Москвы. Радость является, когда надо с чем-то дорогим расстаться... Если бы не было у нас конца, то нечему бы и радоваться...

Так вот приближается конец, и оттого жить особенно хочется, и так надо: быть самим собой со своей радостью жизни до конца.

Если в расчете на оскорбление в тюрьме как на выход из положения я думал о голодовке и не очень боялся, то почему же горевать, если скоро предстоит сесть на карточку и даже умереть от голода. Всегда же это имеешь в виду.

15 февраля. Весна света: солнечный день. Гулял по набережной. Мелькала большая мысль о невозможности фашистам уничтожить коммунизм в СССР.

16 февраля. Вечер в Доме печати, вечер очень удачный.

17 февраля. Слава тем берет человека, что делает его более чувствительным к оскорблениям: чем больше слава растет, тем больше растет и та чувствительность, и наконец до того доходит, что отравляет всю славу, как ложка дегтя отравляет бочку меду. И рад бы вернуться назад — нельзя: кажется, если больше и больше славы, то можно уйти от обид. Но нет! Обиды с такой резвостью бегут, что вся сладость славы исчезает, прославленный бежит от резвых обид, как заяц от гончих.

18 февраля. Болела голова. Был Дмитр. Иван. Свешников¹²...

Говорили, конечно, и о войне, не исключая возможности провала фашистов: и это правда, идеи какой-нибудь универсальной у них нет. И что цивилизация со сво-

ими газами и машинами, быть может, спасует перед силой сопротивления примитивного человека (японцы — Китай, немцы — мы).

Вот у меня прекрасная квартира, но я в ней, как в гостинице...

19 февраля. Всемирная катастрофа, как ее воспринимали мы в 1893 году через Бебеля, и та самая катастрофа, как мы все ожидаем ее нынешней весной (через 45 лет!).

Мируюсь с мыслью, что придется отложить «бобров». Ничего не поделаешь! Перехожу на «Канал»¹³.

Так фантастично, эфемерно существо личности (я), и так удивительно, что со стороны и оно живет, как все.

Сегодня вернулся к «Падуну».

22 февраля. Вечер китайского поэта Лу Синя (ихний Максим Горький). Близость китайского народа к нашему.

23 февраля. Был вечером Ивантер¹⁴. Говорили, почему писатели не ходят в Дом писателя. Куда угодно пойдут, только не в этот Дом: место такое.

24 февраля. День отдыха.

Читал «Серую Сову»: книга будет. На завтра президиум. Повестка: так и знал, оживление Союза (по письму в «Правде») будет принудительное — заставят ходить. А виновнику бузы — Толстому¹⁵ — вечер о его творчестве.

26 февраля. В Союзе писателей создано «безвыходное положение»...

27 февраля. Утром уехал в Загорск и считаю, что с Москвой кончаю: все устроено, и можно жить самому. 4-го буду выступать у туристов.

Слышал от женщин, бывших на моем юбилее, что от моих слов у них на время создавалась уверенность, что люди в чем-то имеют родство, что на время моей речи было такое чувство, будто все тут в родстве. И то же самое получается и от чтения моих книг, и, значит, в этой силе родственного понимания и заключается моя сила.

Есть множество сил, еще не открытых, но которыми мы бессознательно пользуемся. Так вот, есть сила излучения добра, когда самому хорошо, когда сам человек счастлив.

28 февраля. Страшные вести об отравлении Горького и др. Так продолжается разложение и отъединение всех нас от всех и каждого друг от друга.

1 марта. Думал на улице о всем: что вот ввяжемся мы в дело Китая или так и будем отсиживаться и что из этого выйдет, и думал о Н. И. Бухарине и других «псах», которые завтра должны погибнуть, и о том, что вот 20 лет такой ужасно тревожной, пещерной жизни — неужели все это даром прошло для нас и разве только как подготовка для европейской колонизации...

Вечером приехал в Москву.

2 марта. «Безвыходное положение» у Ставского разрешилось в сторону устройства самого размещанского клуба... Присутствовали на учредит. собрании настоящие дьяволы...

В дальнейшем кумиться с дьяволами и ставить себя от них в малейшую зависимость не надо и ходить туда пореже, однако иногда бывать? Или же послать к чертям...

Что-то там нечистое...

5 марта. Поездка в Загорск. —3°. Везде лужи, грязь, вонь. Сотни, а может, тысячи рабочих брошены на доделку мостов. Краны, машины, гул, свист, а на самой готовой арке сверху видно, как работают метлами...

Там возникает новый дом, там старый разрушают, там рельсы прокладывают, там трещат перфораторы и неустанно работают, а думы — о «кровавых собаках», псах и т. п., сидящих теперь в зале суда.

И как приятно было потом войти в свою комнату в Загорске и смотреть на березу, на засыпанный до окошка дом Тарасовны...

После обеда отдохнул, и снилось мне, что вот у Фаворских сын Максим¹⁶ делается большим художником. И [не] ни с того ни с сего он взялся: он культурный продолжатель длительной жизни культурного рода. И, как бывало, один такой дом встретится с другим, соединяется, роднится — и складывается быт, общество. И это было! Я помню еще это время.

Старухи идут и присматриваются к раковым шейкам у торговца: вот хотят же и они жить. Скрипят, а живут, живут. И все так: завтра, быть может, всем конец, а сегодня поживем, и нет, кажется, на свете ничего сильнее этого: хоть день, да мой. И те политики, сидящие на скамьях подсудимых, этим самым чувством живут...

Все отбрасываю к чертям. Пусть весна, одна весна, да моя она.

Новый дневник. Пусть наш Союз будет, как дрейфующая льдина, а весь остальной мир в его настоящем и прошлом — это будет мой читатель, которому я, быть может, скоро погибнув, дал весть о жизни моей. Писать, как Папанин¹⁷.

Вся моя жизнь с марксизмом, непугаными птицами, Павловной и всем-всем исчезает, как бессмыслица, когда думаешь о Клубе писателей. Это два взаимно уничтожающие себя начала.

6 марта. Весна у меня в душе ложится из года в год на весну, как в дереве годовые круги — кольцо на кольцо...

Вот опять лес просвечивает голубое небо, и в самой чаще лесной в гуще больших елок опять, как всегда от минувших метелей, кое-где остались фигуры белые, иногда будто статуи. И опять синичка стала пухленькая и поет новым, брачным голосом. Везде следы гона белок, зайцев, лисиц.

Кончил роман Хаксли «Контрапункт», прочитал и будто побывал в Англии и нашел, что и там, как у нас, и так везде на всем свете: та же самая жизнь. А то ведь и так могло бы выходить из книги: это не о нас с вами пишут, это — Англия.

Надо на дрейфующей льдине писать о жизни, о подлинной жизни заключенных на ней людей, постоянно имея в виду возможность спасения.

А подлинная жизнь — это жизнь каждого человека в связи с его близкими: в одиночку человек — это преступник или в сторону интеллекта, или же в сторону бестияльного инстинкта. Мой человек — это самое то, что наша интеллигенция называла презрительно «обывателем». На деле же это именно «сам-человек».

А что индивидуальность? Каждый «сам-человек» содержит свою собственную индивидуальность, и надо обладать родственным вниманием, чтобы уметь **отличать** в каждом свойственную ему индивидуальность, то есть именно самого человека, хотя бы вот Евгений из «Медного всадника».

Мой успех в выступлениях («Спасибо, хоть раз вздохнули свободно») основан на том, что я выступаю, как «сам-человек», открывая этим всем возможность чувствовать родственно своего соседа. Я этим даром обладаю, и он полярно противоположен дару сверхчеловека.

В большевизме содержится этот сверхчеловек, и оттого все эти процессы. Из самого большевизма выходит этот «враг» и говорит Сталину свое «нет».

Сталин — это смерть сверхчеловека: пока все эти претенденты на трон не вымрут, до тех пор не освободится «сам-человек» с его органическим творчеством жизни.

Будущее должно рождаться из настоящего и чтить в настоящем отца и мать свою. И это есть творчество жизни, а революция — всегда отцеубийство, всегда отрицание.

Будет или не будет война? По всему думается, что должна быть. Вот-вот капитулирует Китай, и тогда наш Дальний Восток в воле Японии. Это раз, и второе: наша война с Японией зажжет мировую войну, а с ней и возможность великих перемен в нашу пользу. В-третьих, мы готовимся отчаянно: и кутерьма с высылкой пораженцев, и кутерьма с экстренными заготовками. И особенно убедительно, что люди живут, как будто войны вовсе не будет, люди в эту сторону даже совсем и глядеть не хотят: поживем сейчас, а там будет, что будет.

У некоторых, многих есть такое же чувство в отношении к Сталину, как было при царе: убрать царя — и будет хорошо. Какие дураки были тогда мы, обыватели! 8 марта. Мое остроумие в заднем уме, и оттого я вне общества, и оттого я писатель. Могу только среди своих...

Так вот отчего меня отчуждают: они все были в политике, я же вне.

9 марта. Барометр медленно поднимается, а пороша все сыплется. Поутру можно думать, что сегодня будет солнечный день.

Еду в Москву. А роман буду сочинять на ходу — разве нельзя сочинять на ходу?

Женский день (вчера): истерический крик, в котором безусловное, повелительное «надо» с иступлением призывало уничтожить Бухарина и всех гадов.

«Красный пес Ягода» (статья Кольцова). Смотрю вместе с медведями, тюленями, моржами на человеческую льдину: колетса, гибнет, еще колетса...

В этом государственном коммунизме нет и зерна человеческого. Если спекуляция торговая осуждена, то политическая? Там (в торговле): не обманешь — не продашь. Здесь (в политике): не отравишь, не убьешь — и не возьмешь.

10 марта. -10°. Солнце. Едем в Завидово. Процесс как убедительное доказательство необходимости «сам-человека» и как исполнение пророчества: «Все растечется в грязь»¹⁸.

11 марта. На постройке моста: всякое строительство — здание ли это, в котором будут жить, мост ли, по которому будут ходить, есть поглощение настоящего будущим. И если все государство — одно только строительство, то в государстве этом все в будущем и нет ничего в настоящем.

Да не будет у меня места моего ни в городе, ни в деревне, а место мое будет там, где я создаю свою сказку.

12 марта. Утром порошит. Еду в Загорск.

Ягода — Смердяков, но Бухарин никак не Иван Карамазов.

Подале от Фени — греха мене. (Поближе к лесам, подальше от редакций.)

13 марта. Начало сборов в Кострому¹⁹.

14 марта. Погода — ни два ни полтора: ветер, но не буря, снег летит нехотя, ни тепло — ни холодно: градусов 7 и серо...

Охрана своего достоинства: когда удалось осознать сделанное, то надо эту самооценку поддерживать.

И тема, и название моей сказки пусть будет Падун.

А Бухарин-то ведь академиком был, и этого академика бандит Ягода называл своим Геббельсом. Да, сила-то необходимости серьезна, а человек, ее представляющий, большею частью несерьезен.

Укрепляюсь на Костроме.

Перед всякими событиями исторического государственного переворота — войны, революции — логика оставляет людей, и логически вывести войну из фак-

тов никто не может. Так и перед концом своим человек бросает логику. А Бухарин даже в смертный час не оставляет натяжки на логику.

Нашел — наконец-таки — письма Бухарина, прочел их, и оказалось, он тогда был прав и написал их как исключительно хороший человек. Надо было уничтожить письма, но мне стало неудобно делать это в то время, когда самого автора уничтожают. Да и нет ничего дурного в этих письмах! Эти письма приблизили ко мне «самого героя века», и стало жаль его: не знал, что творил... И если он не знал, то что же знают другие?

Они все хотели остаться в живых хотя бы только для того, чтобы всю жизнь смотреть из-за (тюремной) решетки... Вот что надо человеку и чем он может удолетвориться, и вот как мила жизнь...

Мосты в Москве зачищают, подметают, и вчера еще я видел тысячи людей, а сегодня метут немногие, заматавая остатки индивидуальности после расплавленных и заключенных в бетон и металл. Будущее, скрывшее в себя столько жизней, стало настоящим, и вот уже, обманывая охрану, врываются на мосты первые потребители.

16 марта. Грачи. Папанинцы. Радио: переход на Большую землю. Нам от папанинцев ничего не остается.

Врачи-вредители. Никогда я не верил в то, что они есть: всегда считал ссылкой на врага тех, кто не хочет и не может что-нибудь делать или просто если не выходит в силу всей политики, принципиально уничтожающей личность. И сейчас, после процессов, я все еще думаю, что если вредили, изменяли, то очень робко, и ничтожно, и бездарно — какие-то шалуны, что **настоящим врагом была сама природа человека**.

Например, Авербах²⁰: он искренно хотел пролетарской литературы, во имя ее, несуществующей, он искренно давил и существующую как буржуазную и вредил. Неверен был принцип: к делу, требующему свободного личного отношения, был приставлен чиновник. В принципе неверно, а если не выходит, можно свести к Авербаху.

Крыши на домах люди от снега очистили, в лесу с деревьев все дочиста ветер стряхнул. Деревья в лесу и крыши в городе стоят как летом, а снег самый глубокий вовсе не тронут.

Вечером в 9 вызов «с паспортом». Гибель писем²¹. Позорный страх — о, какой он знакомый! Какая «обида» знакомая, а «жить хочется».

17 марта. Все серое, дорога рыжая, на окнах первые следы весны. Выход на волю.

18 марта. Хватил мороз —10°. Окна в цветах.

«Медный всадник» и «Анчар»: у раба должны быть другие идеалы, чем у царя,— в чем они? Что сказал Евгений Медному всаднику?..

19 марта. С утра мороз —10° и метель сильнейшая. Вчера вечером, приехав в Москву, увидел, что мост готов и по нему движется вся Москва.

До крайности смутил спор Польши с Литвой: ясно, что тоже немцы орудуют. Главное, что все как по писаному разыгрывается. И если война и ее у нас предвидят, то все понятно, что делается у нас внутри и что будет. Не останется несвязанным ни один человек, и тогда, подняв все из прошлого, я должен буду стать за оборону. Я и сейчас за нее стою, но сейчас я писатель, мне это мешает. Это неминуемо выйдет...

Мост. Почему победа Сталина? Почему Сталин, а не идея, например, Сталина?

Почему (по Огневу)²² нельзя сомкнуться с временем... Огневу нельзя, только царю (только в Боге: помазаннику). Папанин в Бога не верит. Или верит в социализм.

Человеку не хочется связывать судьбу свою с вождем, потому что вожди меняются: верных убивают. А вождю нужны власть и подданные.

Так нужен был царь.

23 марта. Отъезд назначается на 26-е, в субботу.

Мысль о том, что дух не работает, открыто сказать нельзя (углубить: Моцарт и Сальери), но через мальчика можно: Сутулый **бегает**, а инженер не работает. Так и разделить всех: работают, заботятся (погоняют) и совсем не работают, а придумывают. Отсюда вывести протест шпаны²³.

Начинаю видеть необходимость, вытекающую из признания большинства, и их некий иск вольному человеку (личности).

24 марта. Еще солнечный день. Ночью 2—3 градуса мороза. Думал ночью еще раз о сходстве силы жизни с силой воды.

26-го вечером поездка в Кострому: 25-го достать деньги.

В природе душа раскрыта: это ветер, свет и вода — вот и все! У человека душу не видно, всякая бывает у человека душа, но каждый зовет ее одним именем: «я».

26 марта. Неважно прошли у меня и детство, и отрочество, и юность, и вся молодость — все суета. Но старости начало (65 лет) меня радует. Первое: спешить стало некуда, второе: на всяком месте приблизительно одинаково, в том смысле, что не место человека красит, а человек место, за исключением места с клопами,— этого я еще не преодолел.

В Москве день горел... Вечер 7.10, в костромском поезде сказали: в Калининском ледоход. Ниже Самары ледоход. В Костроме должен быть снег, и Волга пойдет не скоро. В лесах почти нет снега.

28 марта. Снег мокрый, снежинка в яйцо. После обеда серо, тепло.

Чувство природы (душа) как чувство жизни, за которым все.

29 марта. Хорошо спалось, как дома. Туман.

Зайцев жалеют, а самим хуже зайцев.

Есть в каждой семье довольно чего-то такого, что со стороны покажется полной глупостью: нечто существующее исключительно в черте этой семьи. Так точно и в каждом народе очень много всего, не имеющего никакого смысла в условиях интернационала. Ужасно, что за это никакой разумный человек не может стоять, а без этого жизнь совершенно бездушная.

— Зальет Большая Волга.— Все зальет, все кончится, а и, так сказать, может быть, и не зальет? — Конечно, может, и не зальет, как пойдет история.

30 марта. С вечера сильный мороз и утро ярко-солнечное, морозное.

Трудно себе представить более обиженного человека, чем я, и так же редки те героические усилия, какие извлек я из жизни, чтобы примирить себя с этим и стать выше этой обиды: геройство в борьбе с собой и свидетельство моей победы есть книга «Жень-шень».

Может ли быть назван героем, кто всю свою жизнь отдал на борьбу с самим собой и таким образом удержался от зла?

31 марта. В кабинете Ягоды, наверно, не раз поднимался вопрос о Пришвине: не прибрать ли его к рукам? Но стеснялись Горького, ждали случая, за который можно бы ухватиться. И, возможно, даже был он и решено было покончить со мной на вечернем заседании. Но в промежуток утреннего и вечерних заседаний случилось нечто очень важное, и о Пришвине забыли в тот вечер, а на другой день сами боги полетели к чертям. Случай, наверно, случай, и так у всех и выходит случай, и нет в живой жизни никаких законов, никаких причин, действующих вне связи случайной...

По существу, мой «случай» есть Судьба, или Промысел, но, однако, и не складывается с этим понятием, потому что, когда создавали эти понятия, меня не было, я в создании их не участвовал...

Вся жизнь — одна ли, две ли ночи... Пушкин.

Большаков давно умер, но, помню, в дороге с ним ехали в тоске, он в своей, я в своей, и друг другу, кроме пустых слов, сказать было нечего. Впрочем, и о любви обмолвились.

— Да были ли ночки-то? — спросил он.

— Были, конечно, — ответил я поспешно, — конечно, были.

— То-то, — сказал он.

И мы опять замолкли. И мне стало худо: ночек-то ведь не было. И сколько лет прошло с тех пор, и все их не было, и так я и остался без ночек²⁴.

Теперь приятно жизнь описать: интересная вышла жизнь! Да, конечно, интересная: столько событий видел я между кончиной царя Александра II и правлением Сталина.

И вот эти пустяки, раз ничего не было, не стоит описывать.

2 апреля. То снег, то солнце, и все мороз, и все те же ослепительно белые просторы занесенных лугов, а на горизонте кругом пойменные леса.

Эта задержка весны с возвращением зимы похожа на те перерывы в своем бытии, похожие на временную смерть.

Не могу с большевиками, потому что у них столько было насилия, что едва ли им уж простит история за него. И с фашистами не могу, и с эсерами, я по природе своей человек непартийный, и это не обязательно — быть непременно партийным. Я верю и веру свою никому не навязываю.

«Масса» большевистская.

«Масса» творческая (народ).

Чтобы удержать власть, надо «ближе к массам», и эта близость власти на пользу, но массе не на радость.

Я люблю борьбу весной, когда знаешь, из-за чего она — из-за рождения жизни. Знаешь, что все кончится хорошо. Но осенью борьба кончается смертью...

4 апреля. Я, конечно, в конце концов верю в себя, который не унижится и выйдет невредимым из всякого унижения. В конце концов да! Но я страх имею постоянный перед унижением, и это ослабляет мою силу и подавляет возможности: мне всегда кажется, что сделанное мною ничтожно, а при счастливых условиях я бы мог сделать в тысячу раз больше. А вот Пушкин был счастлив.

5 апреля. Дураков, настоящих, доказавших себя дураками, партия не трогает, и они живут на удивление всем только за то, что дураки.

8 апреля. Вооруженное восстание офицеров (Николай I): пять человек повешены, и Пушкин чуть с ума не сошел от гнева («Пророк»): что же было делать Николаю?

Все было бы понятно, если бы Пушкину нынешнее наше состояние могло бы представиться достижением, но... из-за чего же?

Говорят: обмануться, но, может быть, на самом деле это значит как раз очнуться от сна, который называется правдой.

Иначе как объяснить иллюзии и сны о свободе Пушкина в отношении их к «правде» царя Николая I: разве как глава государства Николай был не прав, что он казнил пять человек из офицеров, выступивших с оружием в руках против государственного строя, который они обязаны были защищать? И тем не менее мы сочувствуем до сих пор Пушкину, потрясенному той казнью, назвавшему того царя убийцей. И особенно остро это сочувствие поэту в наши дни, когда врагов государства убивают непрерывно и сотнями тысяч отдают в рабы. Где же правда, где же сон?..

И на обломках самовластья...

Именно вот теперь как будто наконец-то и выступают правда и необходимость власти — правда Николая I, казнившего пять декабристов, и эфемерность «свобод» Чернова²⁵ («селянский министр»), Бухарин, Разумник²⁶.

Но Пушкин?

Всё теперь против свое-волия. Например, в колхозе: не рыбку ловить, а для себя 1/2 литра, это — я, колхоз — это «они» (но никак не «мы»). А надо сделать из «они» — «мы», «они» — большевики и «мы» — 1/2 литра и песенка: мы пьем и поем. Пушкин и есть эта поллитровка и песенка...

Быть самим собой, и в этом образовать «мы», и никогда не подменять этого «мы» тем «они». Пушкин — это «мы», Николай, Сталин — «они».

Вот откуда у меня ненависть к общественной работе: там «они», а тут «я» и «мы», мой личный труд. Я есть в творчестве своем «мы», и это опережение процесса, превращающего насильственно «они» в «мы», — трагедия писателя.

Правительству мало налога, ему хочется души... И вот готова инсценировка души (душа истинная спряталась в бутылку).

Ныне душа русского человека в бутылке: вино — реализация скрытой души, а для государства — питейный доход. И если бы перелить удалось поэтические творения, чтобы их пить, это бы стало питейным доходом.

13 апреля. Диктатура погоды.

Узнал, что Волга в Костроме пошла 11-го в 5 час. вечера, третий уж день идет, а у нас ничего. Есть опасения у некоторых, что так измором и пройдет вся весна и не будет воды...

14 апреля. Одна трудность — переносить пустыню, другая — оставаться самим собой при встрече с другим человеком. В первом я что-то достиг (мои сочинения), во втором я хорош среди своих и никуда не годный среди чужих и врагов, то есть те, кто не понимает меня (дураки), не признает и не любит.

Часто приходит в голову затея что-то предпринять, куда-то отправиться, в чем-то перемениться, а одумаешься и скажешь: это можно сделать и тут, у себя, и переменится все.

15 апреля.

— Идеи, идеи! Вот увидите, идеи коммунизма пожрут самый коммунизм. Идеи имеют основание, на котором они возникают, почву, землю, которая питает их. И падают.

16 апреля.

Труд одиночества: ныне праздное одиночество позорно, но есть одиночество трудящихся людей и, вернее, даже труд одиночества, борьбы за свою личность в интересах самого же коллектива.

Одиночество есть форма труда — значит, борьба, борьба за себя самого, за самую свою личность. И победа над одиночеством — значит завоевание своего положения в обществе.

А идеи сами по себе в глупой голове обратятся в свою противоположность.

19 апреля. Рыбачья база Ожога. Вечер на пойме. Ночь, костер, рыбаки. Появление Мазая.

21 апреля. Снаряжали в Кострому за вещами.

Снежная тропинка на лугу растаяла и совершенно исчезла, зимняя дорога ушла под лед, вместе с укрывающим ее навозом ушла под воду.

Выяснилось, что воды больше не будет, — все стало понятно: вода ушла в Волгу.

22 апреля. Движение березового сока 22-го вечером. В эту весну сок и теплый дождь сошлись. И зашевелились лягушки еще в холодной воде.

Легче, кажется, каплями сока березы человеку напиться, чем лосю зубами нагрызть себе питание.

24 апреля. Пасха.

Всю ночь лил дождь, и утро все окладной дождь. Почти залило нас. Несколько газет из Москвы после перерыва — и стало ясно. Мы окружены врагами, как в деревне Вежи водой, и это, вероятно, есть такой закон, что появляется при этом внутренний враг. Враги вызывают наше военное строительство, а такое строительство <3 слова нрзб.> разоряет, опустошает страну материально и духовно. И так надо, и нет выхода.

25 апреля. Мороз. Ясно. Тихо. Хрустальная, как будто неживая, вода... Такая тишина!

27 апреля. Утро. Мороз. Солнце. Вопросы: ехать к 1-му или остаться?

Весна была изморная, но все-таки весна, на короткие дни и часы показывалась она во всей прелести, и мы ими пользовались, и так все было, будто сидели мы взаперти, а время от времени нас выпускали на волю, и эта наша воля на короткие дни и часы была милей, чем если бы вовсе нас отпустили.

Никто не таится так, как вода, и только сердце человека иногда затаивается в глубине и оттуда вдруг осветит, как заря на большой тихой воде.

Затаивается сердце человека, и оттого свет...

29 апреля.

Так сказал бедняк: «Хороша колхозная жизнь»,— заплакал и пошел в колхоз.

2 мая. В состав моей свободы входит способность **служить**: я **служу** своей свободе, а не потребляю ее, и моя служба есть накопление моей свободы. И так точно жил скупой рыцарь, только у него золото, а у меня золотые слова.

Мораль читать доставляет удовольствие очень большое, потому что, вычитывая, человек, в сущности, говорит о себе, и это очень приятно, и это есть своего рода творчество с обратным действием, то есть не освобождающим, а угнетающим <...> мораль есть творчество бездарных людей.

В 8 веч. выехали в Москву и приехали в 1 час ночи: поезд стоял возле Софрина без объяснения причин. И пассажиры не спрашивали. А когда, простояв на месте более 2-х часов, двинулись, то все очень обрадовались и даже запели. Вот какие мы...

В Москве народ, и вот именно: это простой деревенский народ, потерявший свою простоту, и сколько народа! Из всех щелей повылезли, и всем **хочется** в город.

3 мая. Москва.

Дождь. Возле Третьяковки распустилась черемуха.

4 мая. Под свободой часто понимают личную свободу личного потребления.

6 мая. Туман, как осенью, с обеда солнце.

Утро года.

Растения чувствуют, но не скажут, что больно им,— выберешь бутон черемухи, сорвешь понюхать, и жалко, а им ничего: они до того покорны и преданны, что им смерть — и как будто это так надо.

8 мая. Был человек, и его от нас «взяли», как тигры в джунглях, бывает, возьмут человека: взяли без объяснения причины, и мы не знаем, где он. Завтра, быть может, и меня возьмут, если не эти, так те, кто всех живущих рано или поздно возьмет...

10 мая. На маленькой березке раскрываются почки, зеленеют, и слюна их на солнце ярко блестит, но лес еще не одет, и в нынешнем году кукушка прилетела на голый лес.

Так уединенно было и глухо, что я стал сам с собой вслух разговаривать и вдруг... вижу: стоит за кустом человек с корзиной сморчков и слушает меня. Как это страшно!

11 мая. Тем самым, что я существую в родной стране, как художник-писатель, признаваемый за талант и врагами, я защищаю страну в тысячу раз больше, [чем] если бы стал плохо, как все, писать прямо об обороне страны.

Если бы взяли меня, как других, это было бы свидетельством для меня, несомненно, что берут нас враги и что спасения от немцев нам нет.

Будем ли мы жить, если нас займут немцы, ни один политик сейчас не может сказать, решение скрывается в вере, и если я пишу и у меня есть читатели, то, значит, я еще верую, что наша страна будет свободной. И потому не надо раздумывать много, а побольше и лучше писать.

12 мая. ...В любви все светит, и весь мир прелестью становится, все хорошо, но пройдет — и нет ничего, будто сошел паводок. В **человеческом** же чувстве любви есть настоящая **вечность** и **долг**.

1 июня. Между личностью и обществом есть люфт, когда и личность может надеть беды обществу и общество может погубить личность,— и тут вся игра, стоящая целой жизни. Правда, стоит заниматься этой игрой, и оттого занимаются и существуют политики и дипломаты, цари.

«Надо», в котором соединяются общество и личность, есть Бог.

2 июня.

Величайшая роскошь, обеспеченная культурой,— это доверие к людям: среди вполне культурных людей жить можно и взрослому, как ребенку.

5 июня. Никто никогда бы и не подумал, что «Стахановец» тем вредный рассказ, что снижает стахановца, низводя его до утят. Но одна высокопоставленная дура высказала это, и теперь поди доказывай, что ты не верблюд²⁷.

Вчера шел по Каменному мосту, смотрел на Кремль и думал о Великой Тайне, что ею окружена каждая человеческая личность и каждое существо в природе и мы через быт, науку, искусство только **знакомимся** с этими существами, но Тайны не постигаем. Мы до того привыкли к Тайне, что не обращаем даже никакого внимания на нее и только в исключительных случаях, чтобы усилить безгранично силу царя, запираем его в Кремль и говорим о Великой Тайне: «Мы, милостью Божией и пр. и пр.». И теперь тоже Сталин, как царь, на месте царском в Кремле окружается Тайной.

6 июня.

Бывает, снится что-нибудь, и страдаешь от видений своих ужасно, и кажется, нет никакого выхода. Потом мелькнет внутри самого сна, что это ведь сон... И ты еще не проснулся, а знаешь, что есть выход из ужасного положения, и выход этот — в желании проснуться. И так наконец делаешь усилие, просыпаешься, приходишь в себя и радуешься, радуешься, что все было сон.

Так я чувствовал себя писателем в Детгизе, когда там было запрещено писать сказки о природе, и после, когда самым главным писательским учреждением в Союзе управляли плуты.

Я так обрадовался пробуждению от скверного сна, что, конечно, мне в Детгизе теперь все хорошо. Да и в самом деле, я же не природно-детский писатель <1 строка нрзб.>. Я даже склонен в недостатках упрекать не администраторов, а самих писателей, которые не могут создать между собой среду дружественного сорадования в творчестве, совершенно необходимого в творчестве для детей. Однако вопрос этот выходит за пределы детского издательства.

Ославить человека: всякий человек тем самым, что он человек, живет как бы в этой даровой славе бытия, и вдруг кто-то сказал «ославил», хотя ничего и не было. Но дело сделано, и восстановить репутацию очень трудно...

7 июня. Так что остаются только свои семейные да еще два-три старичка, с которыми можно говорить о всем без опасности, чтобы слова твои не превратились в легенду или чтобы собеседник не подумал о тебе как о провокаторе. Что-то вроде школы самого отъявленного индивидуализма. Так, в условиях высшей формы коммунизма люди России воспитываются такими индивидуалистами, каких на Руси никогда не бывало.

8 июня. Зашел посмотреть то местечко на Крючикове, где было так много ландышей и где у меня рождались поэтические замыслы и по мере сил моих осуществлялись. Ничего особенного не произошло тут, те же две сосны сплели свои корни, как руки, так, что на сплетение удобно было сесть. Только людей заметно прибавилось, всюду лежали газеты, бумага, скорлупа яиц. Та же самая звучала приятная мне флейта иволги, и кусты орешника по-прежнему были густые, и я сам как будто мало изменился. Но ландыша в этих ореховых зарослях вовсе не было, ни одного.

Их ведь тысячи было, и теперь ни одного! За десять лет сколько прибавилось <1 слово нрзб.>. И я книг много написал и получил много похвал, все хорошо! И только ландышей нет...

9 июня. Ветрено. В пух разносит ветер везде одуванчики...

Крестьянин русский, индеец, рабочий — все они проходят суровую школу природы, и вот этот закон, вероятно, и является стимулом особенного уважения к «трудю» в Советском Союзе и явной ненависти к книжной интеллигенции и бюрократии. На этом и должно бы вырасти движение к стахановцу, романтика, подобная романтике индейца. Но почему-то нет этого...

Сегодня в гараже один старый шофер сказал:

— Какому настоящему мастеру охота работать за такие деньги по-настоящему, вот отчего и нет мастеров, а одна только стахановщина.

10 июня. Читаешь газеты каждый день: там бомбардировали такие-то города, там — другие, там убитых тысяча человек (напечатано: «убитых **1 тысяча**»), а не написано: одна, отчего получается легкая цифровая возможность: 1, или 2, или 3 тысячи. Попробуй-ка с этим помириться...

Господа бандиты — и больше ничего.

Ошибка при механизации и нарастание зла.

Вечером К. и Ц. В Москве есть слух, что вместе с С. взяли Пришвина: гадость какая! (Лица не установлены.— Л. Р.)

11 июня. С утра жарко. Встретился по пути к метро простой пожилой бородатый человек. «Вы не Пришвин?» «Да, это я сам». «О, как я вас люблю! Очень, очень!» Сияющий пожал мне руку и удалился, обернулся, удаляясь: «Я ведь тоже охотник, очень, очень люблю!»

12 июня. Троица. Жарко. На Крючикове береза, и под ней осыпается песок в овраг, корни из года в год обнажаются. На песке возле корней трясогозка, птичка, с которой еще в Египте художники брали образ души человеческой...

Свобода — это прежде всего есть освобождение от необходимости быть полезным. Вот почему, как только почувствует себя кто-нибудь полегче, он заводит себе игрушку, бесполезную вещь, или ищет себе бесполезное занятие: собирает марки, морские камешки.

Есть миры открытые (Америка), и разные есть миры, где-нибудь за пределами стратосферы, неоткрытые, которые, впрочем, рано или поздно будут открыты. И на других планетах все со временем будет изучено, даже и в этих еще совсем неизвестных мирах. Но есть еще миры **закрытые**, которые никогда не будут человеку доступны, этот мир в Библии называется небесным, и лицо небес — Бог.

Религии дают нам отношение к закрытым мирам. И все преступления лиц в этой области, сектантские, теософские и т. п., сводятся к дерзновению открыть закрытые человеку миры.

13 июня. Духов день.

Утро солнечное, после гроза и дождь до вечера.

Курица кормит утенка, соболь кроленка и т. д...: молоко соболя, коровы принадлежит **всем**, и **надо** кормить.

И раз уже села курица на яйца, недоглядев, что это утиные, то ей **надо** сидеть, надо высидеть и надо потом выхаживать утят. Так вот она и водит их теперь и не позволяет себе разглядывать их с сомнением и вопросом: да цыплята ли это? Для этих сомнений и вывертов существует на Земле человек, а она просто курица и должна делать, как надо.

15 июня. Солнечно росистое утро — это как новая, неизвестная земля, как неизведанный слой в небесах. Утро такое единственное, и никто еще не вставал и ничего не видал...

Всюду беспокойная трескотня дроздов о своих порхунах, и дятел устал: много ему надо для своих прожорливых детей.

Вставай же, друг мой, собирай в пучок лучи своего счастья, будь смелей, побеждай тьму, борись, помогай солнцу.

Враг! Ты не знаешь вовсе и, если узнаешь, не поймешь того лучшего, из чего я сделал радость людям на пользу их пищеварения. И если ты этого не знаешь, то

как же ты смеешь хвататься за мои ошибки и строить на них свои обвинения против меня!

Из всеобъемлющей страсти рождается стиль, а вы хотели этому учиться, как мастерству.

18 июня. Продолжается сплошной дождь.

Шевелятся все листики на липе от капель и даже иногда бледные ленточки с бутонами липового цвета. Сам в такую капель становишься вроде мокрой птички или зверушки и думаешь о себе, становишься близко так к себе самому и понимаешь себя как близкий предмет. Недавно, почти на днях, я почувствовал этот поворот к себе — не тянет больше никуда, и дорого мне только то, на чем я стою, что возле меня... Неужели тоже от старости?

Вчера написал рассказик для «Комсомольской правды», сегодня переписываю: «Пиковая дама».

19 июня. Погода весь день — сквозь слезы смех, дождь при солнце, к вечеру стало прохладно.

22 июня. Что по воде плывет, того не переловишь, и что народ говорит, всего не переслушаешь.

Такие женщины, как Караваева или Герасимова²⁸, могут за правду постоять, и я всегда в их общении со своей литер. индивидуальностью сплюсциваюсь, как будто сознаю, что в основе индивидуальности заключен порок! А Крупская!

Я доложил в Правлении Союза, что всех деятельных охотников охоторыболовного кружка посадили, совсем нет охотников: остались одни рыбаки. «Остались рыбаки!» — подхватили Иванов, Федин. И все очень смеялись, что остались одни рыбаки...

И. А. Новиков посредством своих книг «Пушкин в Михайловском» и «Слово о полку Игореве» стал современным писателем и таким влиятельным, как никогда. В соответствии с этим он сбрил свою бородку интеллигента, отчего лицо его стало много хуже, неприятным даже, но современным.

24 июня. Дождь все не унимается, не помешал бы опылению ржи.

Прочитал вчера, что 22-го умер писатель Огнев. Так быстро осыпается интеллигенция, будто лес в октябре. Но я все стою и совсем не унываю: по всей вероятности, мне предстоит еще что-нибудь хорошее сказать.

Время такое, что любви и внимания спрашивать нельзя ни с какого человека. Время, как быстрый поток, и каждый переходит поток по своему камешку, на котором может стать только одна его нога, по жердочке, по бревну. Идет, держится, качается, прыгает, и кто свалится, о том не помнят и не хотят помнить, все подошло так, чтобы хоть как-нибудь самому перейти.

26 июня. Выборы. Если бы возможно было каждому, получая свободу, как было в 17-м году, забыть свою собственную личную в ней заинтересованность и отдавать, хотя бы на то время, себя для свободы, то не вернулось бы назад опять принуждение. Но каждый, получая свободу, сейчас же ею пользовался лично для себя и за это должен был с течением времени ответить.

На редакционном совещании зав. отделом предлагает послать корреспондента, чтобы написал очерк о том, как «проводится ликование»²⁹.

Интеллигенция русская революционная в существе своем была с Богом, но ей пришлось поднять меч, и должна была умереть по закону: взявший меч от меча и погибнет. Тех, кто вовремя успел умереть, того прославляют, а кто опоздал умереть — того умертвили с позором.

Голосование походило на какие-то торжественные похороны: молча люди подходили к избирательным урнам и уходили. И это были действительно похороны

русской интеллигенции. В этот удивительный день совершилось в огромном народе то самое, что совершилось в глубине моего личного сердца тридцать три года тому назад: я похоронил своего личного интеллигента и сделался тем, кто я теперь есть.

27 июня. Выхожу в разведку за грибами с таким решением, чтобы не думать о том: вот я туда-то приду и там будет хорошо. Нет, везде хорошо, надо быть только внимательным и оценивать счастье дней твоего возраста: мне 65.

29 июня. Самое нехорошее в литературе, что писатель откуда-то берет себе право смотреть на жизнь как на свои материалы и пользоваться ими, то есть он делает то же самое, что и охотник за шкурами бобров: сдирает шкурку, а самое животное бросает.

Смотрел на цветы у соседей через щелку забора, и от них в душе моей начинается музыка, я весь наполнен ею, и далеко где-то звуки моторов, на фабриках, на шоссе, в воздухе, и звуки радио (учат гимнастике), и перекличка паровозов, и много чего-то всего такого мне сливается в один образ Медного Всадника, что это он там где-то скачет. А я — это душа всего, это Евгений, который пережил свой страх и свой гнев на Медного Всадника, и ему довольно смотреть на цветок через щелку забора, чтобы участвовать в этом великом существенном, перед чем Медный Всадник кажется чем-то вовсе даже и не мешающим: медь и медь — там у него, а тут у нас — душа. Несколько смешна только с душевной точки зрения фигурная чопорность Медного Всадника: сущности нет, одна форма, а между тем сколько гонора вздыбилось!

Медного Всадника и Евгения можно понимать как спор между горделивой формой и смиренной материей, за счет которой эта форма создается.

1 июля. В Москве. Заключение договора с «Молодой гвардией».

В Москве, на улице, в жаре, в толпе людей я думал о том удивительно прекрасном Боге, которого создало себе человечество: вот это самое бегущее в суете, в жаре, вечно рождающаяся и умирающая, человечество создало Христа!

2 июля. Жаркие дни. Вечером вернулся в Загорск.

3 июля. Жаркие дни. Взятся крепко за «Серую Сову». Разговор с Ц. о непогрешимости папы и всестерпимости католической церкви (Лютер — преступник, но лютеране спасутся). И о том говорили с тревогой, как будет жить молодежь после нас: мост, соединяющий поколения, как будто разрушен...

4 июля. Жара продолжается. Работа над «Серой Совой». В «Комсомольской правде» мой рассказ «Пиковая Дама». Дух молчит: забит работой.

Одному замечательному мыслителю пришла великая мысль в то самое время, когда он был на Воробьевых горах. Узнав об этом, другой, очень подвижный гражданин пошел на Воробьевы горы, на то самое место, и ему в голову никакая особенная мысль не пришла.

Желание видеть писателя лично, ехать к нему — в огромном большинстве случаев — стремиться на Воробьевы горы, где одному кому-то пришла в голову счастливая мысль.

Из разговора с Ц. узнал, что умер Шалапин. «Когда же?» «Не очень давно».

При таком легком и приятном разговоре и вдруг осечка: «Умер!» «Так, значит, умер? Давно ли?» «Не очень давно». «А откуда узнали, в газетах было?» «Нет, в газетах не было: кто-то сказал».

Молчание.

— Но позвольте, о чем же мы говорили.

И не можем вспомнить, о чем.

5 июля. Жара. Вечером ездил в лес: все гудит, везде ото всего пахнет медом.. Цветет спирея.

Есть слух, что в тюрьме умер наш доктор Кочерыгин. Иногда вспыхивает то же негодование, как в 18-м году, но тогда были виноваты большевики. А теперь? И такой скрежет войны.

Приходила Таня³⁰, вся в слезах, ходит и плачет, плачет.

— Ненормальная?

— Нет, именно она-то нормальная, такими все бы мы должны быть, если бы не жирели. Но я при виде таких беспомощен, мне стыдно за себя.

6—7 июля. Выходной день — все равно, что в прежнее время в деревне годовой праздник; теперь же это из деревни ушло и разлилось всюду как хулиганство. Причина же всему — пьянство.

Русский язык как международный язык социалистических государств (в «Правде», и вывод: принуждение в изучении).

9 июля.

В глазах католической церкви Лютер был еретиком и, может быть, антихристом. Но лютеране вовсе не виноваты в его грехе и, будучи лютеранами, тоже могут спастись.

Так понимает это католическая церковь (слышал от Цветкова³¹). Это замечательно, и через это легко понять, что народ и при большевистском вожде может спастись во Христе.

12 июля. Петров день. Липа цветет.

«Масса» в отношении творчества, создания нового, лучшего, различается на личность-производителя и личность-охранителя на фоне множества потребителей, которые представляют собственно массу в смысле черни.

И когда я понял себя, что я могу быть сам с собой, тогда тоже все вокруг меня стало как целое и без науки. Раньше при науке было мне, что все в отдельности и бесконечном пути и оттого утомительно, потому что вперед знаешь, что до конца никогда никто не дойдет. Теперь каждое явление, будь то появление воробья или блеск росы на траве,— все это была черта целого, и во всякой черте оно было видно все, и было оно кругло и понятно, а не лестницей.

Разве я против знания?— нет! Я только говорю, что каждому надо иметь срок возраста жизни и права на знание.

Конечно, люди, только люди одни виноваты в безобразии мира. Иначе откуда же чудесные мгновения постижения прекрасного и откуда такая цепкость людей? Одна мерзость — и все-таки цепляются.

16 июля. Вечером вернулся в Загорск. Засуха.

Купанье и ловля пескарей на месте соединения Вори с Пажей. Восторг от купанья: у человека нет ничего, он гол, и другой человек рядом тоже гол. И сверху солнце.

И вот оно, **крещение**, в радости жизни. Святая плоть. Мелкая рыбка ноги щечочет. Купавы. Стрекозы синие. Песок. Осоед спланировал. Египетская трясогузка, кулик на бревне...

18 июля.

Хамство лежит в природе человека, и возбудителем его бывает власть. В феодальные времена против хамства была культура чести, в буржуазное — эта честь перешла к интеллигенции. Что же теперь, когда интеллигенция так же истреблена, как в былое время феодалы, может предохранить государственную власть от хамства?

19 июля. Жара продолжается, но по вечерам стало довольно прохладно. Обработано 6 1/2 листов «Серой Совы». Намечаю 28-го закончить и до начала охоты поправить и сдать в журнал.

Чего я никогда не приму из нашего времени — это государственное самохвальство и гражданское: держи выше нос («На что вы освободили осла!»).

20 июля. Жара.

Одна собака, умная и великодушная, с большими человеческими глазами, привязывалась на тонкой веревочке и целыми месяцами дожидалась, когда хозяину за-

хочется взять ее с собой на прогулку. Другая собачка, так себе, ни ума себе еще не нажила, ни опыта, а вот сразу догадалась, в чем дело, и веревочку перекусила. Но хитрая не пересилила умную и великодушную. Та и до сих пор сидит чуть ли не на ниточке, уважая волю хозяина. Если только ей вздумается заняться своеволием, во всякое время может она перекусить свою ниточку, это в ее воле. А хитрую посадили на железную цепь, и никогда-никогда больше уж ей не сорваться.

Утром, когда в парке нет никого, еду по тропинке между соснами к Вифанскому пруду³². Там, на берегу большого пруда, есть горка, с которой видны выходящие из темных лесов холмы. И здание Академии Платона с перекрытой бывшей церковью (теперь Академия превращена в птичник) из-за деревьев похоже на древний замок. Все вместе с пейзажем — Германия.

И мне стало больно: сколько там в Германии всего, за что рядовой немец может уцепиться мечтой! Ведь как густо живут, немец на немце, и в прошлом — рыцари, поэты, философы, рыцарь на рыцаре, ученый на ученом. И так у них Германия — это реальность, кругом, везде и всюду, в прошлом, настоящем и будущем — все Германия. И пусть сам с ноготок, от земли не видно, а каждый захочет и раздуется в Гитлера.

Но вот давно ли была тут в Вифании духовная академия, монахи были черные, а теперь сто тысяч белых петушков живут с красными гребешками и сто тысяч кур белых, и все называется «Птицеград». Чепуха! Нет ничего.

Нет? Надо выдумать...

И вот додумались: есть «Слово о полку Игореве».

— Не веришь в «Слово»?

— Не верю.

— Взять его, негодяя: это враг народа!

Другие все напугались и твердят, как первоклассники, о своей великой родине. Но дунет что-нибудь — и опять нет ничего, и опять nihil-изм, но уже надземный, все-народный, без мужицкого фона.

И все-таки чем-то это сильнее, страшнее в тысячу раз, чем раздувшийся Гитлер. А там Китай, Индия. Как это все Гитлеру к рукам прибрать?

Но если <1 слово нрзб.> закон весь на фу-фу, если в Азии nihil, то из чего же будет жизнь складываться?

И где я живу? Ведь я живу так, будто жизнь уже складывается...

Сын тысяцкого. Найти выше сделанную заметку о бородке И. А. Новикова и прибавить, что он, сбрив бородку, осмелился сказать об авторе «Слова», что он был сын тысяцкого (то есть пролетарий). Над этим в Москве все посмеиваются, и когда кто-нибудь услышит «Новиков» и спросит: «Это какой Новиков?» «Сын тысяцкого», — отвечает другой.

Президиум Верховного Совета: ни одного интеллигентски-осмысленного лица, все как результат нигилизма, то есть что не в этих мечтах-«надстройках» суть дела; все это — ничто, а жизнь идет **своим ходом**.

26 июля. Преодолеть какое-нибудь зло в себе еще не значит преодолеть его целиком: оно продолжает жить в другом. И вот эта борьба со злом, живущим в другом — это выходит за пределы личной этики...

27 июля. То вставал, то ложился. Читал «Одноэтажную Америку», раскладывал пасьянс.

Встал и возвратился к работе.

28 июля. Написал детский рассказ «Любовь». Обдумываю о «господстве» как об основном зле современного человека: «господство» над людьми доходит до человека — господина всего живущего, человек — господин Вселенной. В то же время сам он постепенно делается рабом им же сотворенных вещей, и они вовлекают господина Вселенной в мясорубку современной войны.

Сохранится только человек, сознающий себя частью целого.

29 июля. Человек, животное, растение в чем-то соприкасаются друг с другом: это «что-то» есть равенство всех и всего на свете в его представительстве, по-

тому что все они, как гости большие и малые, представляют собой Единое Целое. Вот обладая этим чувством целого, можно всем разнородным существам на Земле понимать друг друга.

30 июля. Времена года любят капризничать, но, по существу, вернее их ничего нет на свете: весна, лето, осень, зима.

Закончил вчерне «Серую Сову» и доволен работой. Остается выправить и переписать.

31 июля. Жара продолжается.

Дивился липе, ее морщинистой коре и что она молча, без всякого ухода за собой проводила старого хозяина дома столяра Тарасова и так же молча начала служить другому. Скорей же всего она ни малейшим образом не думала о службе людям, потому что правдой своего молчания, своего послушания заслужила право быть совершенно самой по себе.

И еще я думал, что их согласованности с **целым** в человеке отвечает только религия, что и весь смысл возникновения Бога у человека и религии состоит в необходимости согласия с миром, которым обладает непосредственно каждая тварь.

И Шекспир тоже, конечно, писал о человеке, глядя в ту сторону, где все человеческие характеры сходятся в единстве.

Вот к этому бы и жизнь свою привести и, оставив **это** (жизнь) за собой, перейти к единству. И если умереть с сознанием единства, преодолевающего жизнь, то это и будет достижением бессмертия. Вот бы начать этот опыт, надо еще в силах собраться, вот бы успеть **заправить** себя... (Так? А между тем опыты эти уже сделаны и на таких **мощах** была построена система спасения **мира**.)

Так вот где корни моей «экологии».

1 августа. «Серая Сова» о чувстве целого и вытекающего из него **самоограничения** (а я это называю «смирением»).

В этом самоограничении в свете чувства целого зарождаются страстная любовь к жизни и чувство родственного внимания.

2 августа. Ильин день. Ввиду жары запрещение охоты.

Сдал всю «Серую Сову» в переписку и очень доволен: вот будет какая отличная книга!

Лев Толстой до нашей революции был как Руссо, и со временем так и будет считаться: Толстой, Горький... и так выстроится очередь предшественников (идеологов) революции.

«Смерть» Тургенева, где автор дивится, что простой человек, умирая, спешит распорядиться своим имуществом и проститься со своими близкими. Чрезвычайно для нас теперь непонятно, странно кажется, зачем об этом автор писал, когда мы все такие, и почему это приписывается именно **простому** человеку и **русскому**. Или в то время эти либеральные господа, имея все, мечтали о **простом**, будучи безродными странниками в своей стране, не могли себя чувствовать, как хозяева, как просто русские?

Иногда вдруг мелькнет что-то, и словно очнешься от сна или опомнишься: и тут увидишь, как ты унижен, как ты несчастлив, как жалок, если посмотреть на себя со стороны. Это бывает у меня не от встреч с людьми, живущими где-нибудь за границей, а именно с теми своими, которые не чувствуют, насколько их жизнь ниже их самих...

6 августа. Сегодня окончил «Серую Сову».

Началась лихорадка.

9 августа. Сегодня нет приступа. Диагноз: малярия.

12 августа. Миллионы маляриков, и нет хинина (только в Кремлевской аптеке, в которой не прописывают, а отписывают). И вопрос об этом нельзя поднять, потому что это «мелочь». В таком случае как же мы живем?

Царедворец Алеша

Есть слух, что Сталин вынул трубку изо рта и подарил Алексею Толстому. Вспомнилось, как Толстой мгновенно **замечает**: он заметил меня в огромном собрании и сказал: «Еще бы в шубу оделся».

Никто еще не мог конкретно представить то, что ненавистно ему в советской власти. Всякое представление зла расплывается, и часто сама власть признает это же самое злом. Иногда я думаю, что сущность советской власти — именно то, что она вызывает, это сильная личность: Павлову и Станиславскому³³ можно было и Богу молиться.

13 августа. Единственное и «священное» стремление для человека — это «хочется», но **«быть самим собой»** — это включает реализацию этого хотения в отношении общества.

14 августа. Читал «Записки из подполья» с точки зрения человека, который **долгом** своим считает жить «как хочется», не уступая ни в чем «надо». (Анархизм.)

Хочу террасу делать (стоит три тысячи), и руки опускаются: «А если завтра война?»

Над всей страной, над каждым существом в стране легла тень смерти. Хорошо одним пьяницам да тем, кто вовсе устал и жить больше не хочет.

Коробочка хинина с этикеткой «Кремлевская аптека». Говорят, что только в этой аптеке можно достать хинин. И вот ведь знаешь, что это скверно: я могу достать из Кремля, а миллионы маляриков, не имея доступа в Кремль, должны трястись в лихорадке. Не будь у меня хинина, я проклинал бы счастливых, я бы требовал, чтобы они вместе со всеми тряслись. Но у меня есть коробочка с этикеткой Кремля, и так теоретически я, конечно, с маляриками, но посмотреть на коробочку все-таки приятно, и самое скверное, что, может быть, даже приятно будет, когда кто-нибудь увидит эту коробочку и, прочитав «Кремлевская аптека», с уважением подумает: «Ему дают из Кремля». Вот Достоевский ведь такую гадость собрал, сделал такую вытяжку из порядочного человека и написал **Подполье**. Да так и Гоголь работал.

15 августа. Работал над дневником. Вести с границы. Чувство тревоги и неуверенности. Чтение «Одноэтажной Америки»: очень вредная книга — заставляет видеть свое в скверном виде.

16 августа. Чем больше будет войны, горя, тем яснее будет показываться мир желанный и крепче будет вера в то, что он таким сотворен и существует возле нас. Мой путь яснее...

Вы меняетесь, а я все тот же. Все начальники действовали на меня (например, Авербах), как будто они вмещают политику советской власти. И все они подозревали во мне врага советской власти. Теперь все они погибли и признаны врагами народа. Остаются на местах только те, кто вовремя умер.

19 августа. В 7 вечера выехали и часов в 11 прибыли в Щербинино. Вид понравился. Дача. Бабыя гора. Петух замучил ночью, утром куры. А сено прекрасное и пахнет смородиной.

20 августа. Плохая охота. Убил черныша.

22 августа. Чей народ дольше вытерпит свое правительство, у того и будет победа. Наш народ много терпеливей германского, и потому победа наша возможна.

23 августа. Написал рассказ «Дождик», в котором соблюдены величайшая экономия в литературе и чрезвычайная скорость создания.

Все хорошее — в том числе и хороший рассказ — происходит не от личного усилия, а само высеивается, как яблоко, на стволе человеческой личности.

31 августа. Социализм допустим и прав во всем своем материализме, если только этот материализм не направлен против Духа (творческого).

Вечером я познакомил Петю с книгой Экклезиаста и сам сказал в заключение:

— Суета сует!

— Но что же остается? — спросил Петя.

— Конечно же, Бог, — ответил я, — именно у Экклезиаста и отдается вся жизнь суете ради подтверждения реальности Бога: только Бог — не суета.

— А что же?

— То «настоящее», что ты сам чувствуешь во всякой суете.

И он понял.

6 сентября. На Заборских лугах: сила России, что люди не жили, и оттого им очень хочется жить. И это видно по людям — как они сгибаются, как они подхалимствуют! Страшно становится за человека: стоит ли жизнь того? Но, очевидно, стоит.

12 сентября. Куминово. Первый дождь. Живем, как в курной избе.

Они поступали омерзительно гадко, но они делали то, что надо. Ничто не могло остановить их, никакая сила человеческая, Бог не вступился, он допустил. Чувствовать в этом «надо» волю Божью и оставаться самим собой — вот была задача в то время, когда все приказывало быть, как все.

13 сентября. Мои прогулки в Куминово и вечером в Песчаное. Накрапывает дождь, холод сменил жару.

14 сентября.

— Трудно правительству, и ему сейчас не до нас, а все-таки первого сентября видели: все дети в школу идут? Вы-то, Михаил Михайлович, как в люди вышли?

— Обыкновенно: учился.

— Знаю, обыкновенно, а как же все-таки вышло, что учиться могли?

— Был случай...

— Ну вот, случай, а тут все.

15 сентября. Дождь весь день (наконец-то!). Ходил на вальдшнепов вечером в Абрамово.

— Уходит, — сказал Василий Иванович, — капля воды по реке, и не знает она своей судьбы: пришла и ушла. Но мы знаем, что капля бессмертна: она поднимается в небеса и возвращается опять на землю. Так, может быть, и мы, люди, как капли, не знаем ничего о себе... О капле знает человек, а о себе? Вы как думаете?

16 сентября. В ночь на семнадцатое ночной сторож Морозов постучал в окно и на всю деревню прокричал: «Михаил Михайлович! Что Бог ни делает, все к лучшему: дождь пошел, да такой теплый, да такой частый».

А он был когда-то (лет 20 тому назад) председателем исполкома.

Болота сами колхозники выжигают, чтобы собирать дрова, а с болот пожар перекидывается и в строевой лес.

Черная пустыня сожженного болота, там и тут лежат черные, обугленные головешки самых причудливых форм и так, что, куда только хватит глаз, везде черное море.

В течение всего полумесяца вся умственная жизнь была истрачена на хождение. Не ясно ли, что для умственной жизни необходимо освободиться от физического труда или соблюдать в нем посильную меру и что труд физический консервирует духовного человека, и об этом освобождении духовно-творческого человека и думают освободители, как о счастье. И оттого радуешься, когда первого сентября по всей стране густой сетью идут школьники, и надеешься, что из этой массы учащих со временем выйдут не одни только бухгалтера и техники.

Но, Боже, какой ценой это досталось и как похожа эта выжженная черная пустыня с чуть зеленеющими стрелками мха на нашу современную жизнь!

Создаются социалистические берега, но сама река, самое творческое дело воды направлены против этого берега и тем более против, чем выше и крепче становятся берега.

А не все ли равно? В конце-то концов бессмертная влага прибежит в океан и поднимется в небеса.

И каждая капля сознает себя в единстве с другой, и всей рекой, и всеми морями и океанами.

Так и человек может сознать себя победителем единства со всем миром.

17 сентября. Дождь с ночи да и день. Вечер — солнце. Оранжевая заря на Нерли.

18 сентября. Мороз (первый). Спас-Нерль.

После дождя листья мокрые замерзли тяжелые. Солнце разогрело — капли полились и стали сшибать тяжелые листья, и они падали прямо, как камни... Лист потек.

19 сентября. Второй мороз. Выезжаем домой.

Вчера слышали улетающих журавлей. Сегодня на дороге табуны скворцов и табуны грачей.

Продолжаю пребывать безмысленно, хотя и не бессмысленно.

22 сентября. Охота мне дорога из-за того, что я работаю ногами и не думаю, но все, что пропущено, в голове потом является сразу с такой силой, какой не добьешься в правильной жизни.

Кошмарный сон... Будто бы среди множества людей я, как в лесу, заваленном сучьями в три яруса: люди вплотную везде вокруг и даже подо мной. Я плюнул туда вниз и, взглянув туда, в направлении плевка, увидел, что два доктора режут кому-то толстую ногу. Я вздрогнул и ахнул от ужаса. «Вот барчонок какой, — раздался голос снизу, — неужели еще не привык?» И я, сконфуженный, поправился очень ловко: «Я не тому ужаснулся, что человека режут, а что я, недоглядев, плюнул туда». И тут я заметил, что всюду по серым, лежащим на земле людям перебегают большие крысы. Одна и по мне поперек прошла по животу, другая ближе, и я даже отпихнул рукой. И вдруг она остановилась и глянула на меня страшно, готовая броситься, и я понял, что она сейчас находится в своих крысиных правах, имеющих силу перед правами человека, и я смертельно обидел ее, и обиженная крыса может сделать со мной что только ей захочется...

В Москве прочитал о капитуляции Чехословакии и вспомнил, что, сидя в лесу целый месяц без газет, узнал от старика дяди Васи, что Франция от нас отказалась и мы остались одни. Но он не злорадствовал, как раньше было, а тревожился: только начали жить, только детишек в школы наладили — и вот опять. «Не дай Бог, — сказал он, — опять революция, тогда уж камня на камне не останется».

Так вот человек привык жить на вулкане, мало-мальски обжился, корову завел, сына женил, яблони посадил для внуков и начал радоваться даже образованности в детях...

Как явно, что простое, естественное желание человека жить хорошо и радоваться жизни действует против **революции**, и революционер такого гражданина называет **обывателем**.

И все насильники непременно **идейные**. И Гитлер, и Ленин, и в их идеях счастье в будущем, а в настоящем **смерть**.

Не все ли равно — Муссолини, Петр, Гитлер: Муссолини идет через абиссинца, Гитлер через чеха, Петр через несчастного Евгения. И все мы, обыватели, сочувствуем абиссинцу — чеху — Евгению против строителей будущего. И замечательно, когда это чувство личное, живое и непосредственное: жалко такого-то человека, этого Евгения, этого абиссинца, мы правы, и протест наш священный. Но как только мы возводим абиссинца, чеха, Евгения в принцип и хотим согласно принципам демократии и социализма **действовать**, мы сами обращаемся в насильников и сами создаем своих Евгениев.

Так вся природа и все лучшее в человеке (левая рука не знает, что делает правая) действуют **без принципа** и просто **живут** до смерти, которая является единственным принципом жизни, к чему она неизбежно приходит, понимая себя как суету

сует. Но, пока она не пришла к этому, она будет бороться со смертью, она контрреволюционна, если Принцип и Смерть считать революционными.

В Москве за всем почти километровые очереди: обыватель лезет, давит друг друга в борьбе за право жизни. Кто-то глянул и покачал головой, а из очереди ему кто-то ответил: «Чего качаешь головой? Видно, нужды нет, а пришла бы нужда, стал бы с нами, как миленький».

И это правда: пока сыт и устроен, все такое кажется ужасом, а когда придет нужда, будешь стоять безропотно и, достигая куска хлеба или метра ситца, будешь радоваться и такому, как счастью. И все это мы испытали, все знаем.

Обедняясь для защиты родины все больше и больше изо дня в день, мы все больше и больше будем видеть принципы революции висящими в воздухе, и... останется лишь бросить народ на войну или идти на компромисс.

Конечно, Сталин — всё.

26 сентября. Бострем³⁴ вчера говорил, что наше время характерно стремлением каждого устроиться, поместить деньги в вещи (деньги падают). Растут неизменно в цене маленькие домики, и чем меньше, тем относительно они дороже. Дома продаются частями.

Истоки господства: индивидуализм и рационализм (капитализм).

И то же господство из коммунизма и рационализма, следовательно, если рации есть определяющая сила господства, то все равно, капитализм или коммунизм одинаково приводят к насилию, господству и чванству, враждебному пониманию мира как органического целого.

Нынешнее время: надо меньше выступать ярко, лично. Все личное скрывается, затаивается в мельчайших, недоступных порах жизни. Всякое искреннее выступление — это во вред себе, неискреннее — для меня тоже во вред.

Нынешнее время похоже на мое личное переживание, когда устраивал себе дом (жена, дети, покупал столы, стулья, диван и пр.), самую скудную **обстановку** жизни, осуществляя примитивную материализацию себя. В этом состоянии **молчания** накапливаются богатство и личная сила (сюда входит и стремление к учению, создание положения, пусть бухгалтера): это как бы предвечное обывательство, мещанство, действующее против господства Горы (с Планом).

Действительно, все теперь, кажется, совершается в оправдание обывателя. Вспомнилось, как в 19-м году я пожаловался Семашке³⁵ на безобразии расстрела в Ельце, а он меня упрекнул в **обывательстве** и сказал: «Поймите же, что совершается **большое** дело».

Гитлер тоже оправдывается большим: «большая война». И какая-то мораль, общая фашистам и большевикам: при большом малое теряет смысл и право на бытие. Так вот и рождается «абиссинец». Но вот теперь, когда «большое» изжилося и от него остались пустые слова, абиссинец появляется как единственная реальность без всякого смысла, но никак уж не бессмысленная.

28 сентября. Почему это, если милиционер спрашивает, не встречался ли где-нибудь тот, кого он ловит, хочется помочь ему и навести на след беглеца. Если же беглец встретится и спросит, не видели ли где-нибудь по пути милиционера, который за ним гонится, то хочется ему тоже помочь. На этих чувствах нейтрального человека, скажем, читателя, и основаны романы: это во власти автора направить сам талант читателя к своему герою, все равно будет героем милиционер или преступник.

29 сентября. Вклинился вопрос, как заноза в теле, и ничего другого не впускает в душу: быть войне из-за Чехии или помирать все: чехи с утратой, демократы с Гитлером. То или другое, но мы опять помчались к нищете, и скоро опять единственной работой души у обывателя будут поиски средств существования. Это чувствуют все, и все чем-нибудь запасаются.

А я, когда делается плохо, начинаю заниматься фотографией.

Тот не страшен, кто живет своими чувствами и согласным с ними умом: это и есть человек, каким все мы должны быть. А страшен — кто обошел свои природные страсти холодным умом и огонь души своей запер в стены рассудка.

6 октября. Друзья, так почему же вы живете, как заключенные и обреченные, разве победа не в ваших руках? Только захотите — и все будет по-вашему. Если же вы не можете хотеть, то не перекидывайте вашу слабость на всех.

Люди умирают не от старости, а от спелости.

7 октября. Мы все вовлекаемся поневоле в **большое дело**. Совершается переделка всего мира. Вот отчего так все кругом спешат лично устраиваться: «большое дело» с лицами не считается, а ведь из лиц состоит человеческий мир, и если кто собрался плыть, то надо же сколотить и корыто, в чем плыть. И пусть весь мир загорится, сейчас-то он ведь еще не горит, и хоть день остается, да вот один день да мой.

Поэзия — это кладовая чудес для неверующих.

8 октября. Узнал, что «князь» и Варя (Трубецкие) исчезли, а Гриша и Тася в конц. лагере³⁶. И что Бор. Мих. Новиков умер³⁷. «На своей кровати умер», — с удовлетворением сказал, то есть не в ссылке.

Траурная жизнь и радужные перспективы. «А как низко Англия пала!» «Нигде не падала, это **большая** политика». «Опять большая». И так всегда: если хотят оправдать какую-нибудь мерзость, говорят: «большое дело», и тогда «мерзость» объясняется как неизбежный этап к отдаленной цели.

Г. пытался Горького представить как ученика Федорова, как борца с природой (со смертью) и тем объяснить его оптимизм («Чаю воскресение мертвых»).

Так или иначе, а такие попы рано или поздно пристегнут революцию к какому-нибудь циклу религиозно-философских идей.

Неужели великое наше **молчание** кончится такой болтовней?

Очень подозрительная личность с большими идеями.

9 октября. И что он говорит о господстве над смертью и воскрешении отцов, то все равно неизбежно приведет к господству человека над человеком, «бессмертного» над смертным, как в классах господствует один класс над другим. И что этот тип пролазы наиболее опасный из всех претендентов на трон.

У Федорова в ученье «Общего Дела» ничего нет больше, чем в Евангелии. Во всяком случае, эта тема в природе «оптимизма» Горького очень интересна, и притянуть его и всех большевиков к церкви (пусть новой) — это задача сверхчеловеческая. Г. может быть героем современного романа с охватом всех возможностей «выхода» из современного мирового положения.

Возражение всем «господам»: бессмертие и вечность суть не идеи, а чувства такие же, как зрение, обоняние, осязание и другие средства восприятия мира личностью человека. Может быть, в отличие от обычных пяти чувств, свойственных всем людям, это чувство бессмертия и стремление к воскрешению мертвых есть специфическое чувство личности человека, то есть человека, собранного в единство первоначальное и бесконечное.

Та капля росы, с которой на один момент я соединил всего себя и вместе с собой весь мир как целое, и есть вечность и бессмертие. Пусть роса высохнет и я «поспею» — это не смерть, потому что и роса, и я с ней уже тем самым, что видели бессмертный мир, просто поспели и кончились в целом. И есть действие в эту сторону, эту вечность можно достигать творчеством. Положить свои силы на достижение этого прекрасного мира и есть путь к бессмертию, и всякий другой путь есть путь к господству.

Творчество Дома есть творчество бессмертия.

10 октября. По Серг. Ив. Огневу вспоминаю все либеральное дворянство, и Стаховичей, и всех, включая Герцена. И все они теперь встанут в моей памяти, как шалуны, а народ возле них, как швейцары, няньки и дядьки. И, как дети часто бояться и должны бояться своих нянек, так и они боялись своего народа, и этот народ их все более и более нагнел. Старик Голицын, несколько лет тому назад умерший, до смерти сам не умел себе завязать галстука³⁸. А Мережковский, который спрашивал меня, где и как можно им с Зиной (Гиппиус) **записаться** в партию соц. революционеров. И так все было, что я чувствовал всегда как смешное и для меня, скажем, демократа, досадное. Именно досадно было, что все эти «шалуны» легкомысленные заключались привилегиями в круг и могли оскаливаться, рычать, когда кто-нибудь мешал им глотать брошенную сверху кость. Но они у себя в кругу жили весело, непринужденно, как следует жить, что у нас, демократов, возбуждало зависть.

Мое искусство в революции имеет корни такого рода: что теперь стало «все можно» и тоже заниматься красотой и искусством. Ведь один раз живем, и время такое, что нынче жив, завтра нет тебя, так вот хоть день один, да мой, да буду в нем сам, и от этого день мой за вечность сойдет.

12 октября. Вчера Федин позвонил мне и с удивлением сказал: «Я сейчас только узнал, что вы живете со мной в одном доме». «И целый год!» — сказал я. «Целый год!» — повторил он.

А раньше, бывая в Ленинграде, я заезжал к нему, и он, бывая в Москве, заезжал. И так все писатели живут, скрывая друг от друга свою личную жизнь, как будто вместе, сообщая делают какое-то скверное дело и в частной жизни им противно друг на друга глядеть.

13 октября. Жестокость («без права переписки») власти безмерная, невозможная — это темное пятно в нашем Союзе: для народа все, для личности — смерть...

Ужасные провалы в культуре!

17 октября. Журналы наши потому скучны, что несовременны, хотя пишутся исключительно только на современные темы.

26 октября. Утром в 9 Петя отправляется в военкомат на проверку своего положения в отношении воинской повинности. Перед этим за чаем мы обсуждали восхитительный план на весну 1939 г., что мы первого января закажем лодку с каютой, приспособим к ней наш мотор, и весной по воде мы поедим в фотоэкспедицию для иллюстрации моей книги. «Какие перспективы!» — сказал я ему в передней. «Да, — ответил он, — перспективы, а через полчаса вернусь из военкомата с другими перспективами: через три дня с узелком...»

И в таком вот чувстве, что жизнь прекрасна, что тебе так хочется жить, а может быть, завтра же тебя убьют или обратят в раба, — в этом особом чувстве человека, не только нашего советского, но и на всей земле, и заключается вкус изюмины XX века.

27 октября. Вокруг смерть косит людей, но живые в этих смертях себе примера не видят и живут, как будто они бессмертные: и каждому в отдельности больше хочется жить, чем если бы не было ежедневного примера смерти прямо же на глазах.

Есть прекрасные деревья, которые до самых морозов сохраняют листву и после морозов до снежных метелей стоят зеленые. Они чудесны. Так и люди есть: перенесли все на свете, а сами становятся до самой смерти все лучше. Есть такие люди, но только мало.

28 октября. Вчера итоги подводили о том, как деньги падают и как рушатся на глазах все экономические «планы», каких средств и жизней стоит все хорошее в промышленности... Ничего не сказав, как раньше, о перемене, стали думать о личном выходе из трудного положения.

30 октября. Несколько дней уже погода стоит на нуле и чуть шевелятся в сырой мгле последние желтые листья. У меня не то грипп, не то последствие мая-

рии, дряблость, насморк, и я не могу выйти из дома и привожу в порядок свои негативы за 10 лет.

31 октября. На охоте. Теплый день. Мокрая мгла. Не узнаешь, земля вверх поднимается — холм или лес. На почках деревьев собираются капли. Сырость мелкими каплями осаждается на деревьях, эти мелкие собираются в огромные, стекают на низ ветвей на почки и, огромные, висят весь день...

Время года, которое никто не описывал, и художнику оно недоступно. Только охотник может понять его особенную прелесть и глубину сокровенную. Сколько неожиданностей: папоротник ярко-зеленый. Поляна освещалась несколькими березками с тонкими светло-зелеными листьями, то будто фонарики: светло, радостно, легко.

Только одно к этому еще запомните, деточки, что жить для игры и сказки трудней и больней.

1 ноября. Совсем тепло: +10°. Начал по-новому писать «Этажи»³⁹. В 5 1/2 выехал в Москву, в 7 1/2 был у себя в квартире. По пути обдумал главу «Весна света».

Своими глазами наблюдая тени на снегу, я видел такое, чего еще, очень возможно, мало кто видел, но как это снять — я не умел и снимал неверно, хотя один из ста снимков выходил прекрасным.

Известно, что в Москве слово «дом» в смысле личного человеческого обитания заменилось словом «жилплощадь», то есть как будто слово стало, по существу, бездомным и живет на площади.

4 ноября. Приехал в Загорск. Тепло. После обеда солнце, и как оно прекрасно в это время!

6 ноября. Жизнь желанная — это игра, все, кто может, играют, а кто не может — трудится в надежде когда-нибудь поиграть. Иные, даже вовсе потеряв надежду когда-нибудь поиграть, переносят мечту свою в будущее, на «после нас», или даже совсем далеко, на тот свет.

Этот маленький поэт выправлял мою рукопись. «Если бы так Пушкина или Лермонтова, — сказал я, — выправляли, то не было бы их. Помните, когда Лермонтову в редакции указали на стих его: «Из пламя и света рожденное слово» и он взялся выправлять стих, чтобы вышло не «из пламя» — из «пламени», и не мог ничего придумать и оставил так, и так его напечатали, при Лермонтове поэзия была грамотнее? «Но вы же не Лермонтов», — сказал мне поэт. «Да, — ответил я, — но и вы, дорогой — увы! — тоже не Пришвин».

С 7-го на 8-е ночью выпал глубокий довольно снег, и мы весь день охотились: брусника из-под снега, подбеленные бороды (лишайники).

11 ноября. Ночью легкая пороша. Мороз поменел — 3.

Директора производств, имея власть уволить плохих рабочих, не увольняют их, а уговаривают, на эти уговоры и тратится основное время директора. Вот этого не покажешь, а это и есть наше лучшее.

Боюсь, что система уговоров именно и приводит к необходимости лагерной работы.

12 ноября. Чувствую, что радость жизни моя аскетического происхождения: я не растрачиваю, я сохраняю жизнь в себе и так заставляю ее выражаться в сознании.

16 ноября. Вчера к вечеру переехали в Москву.

С первых дней революции из деревни в город начали выходить грудастые девки с широкими спинами. Эти девки народят скоро других таких же грудастых в красных и белых беретах с прической «перманент» и...

20 ноября. Родина, как я ее понимаю, не есть что-то этнографическое и ландшафтное, к чему я теперь прислоняюсь. Для меня родина — все, что я сейчас люблю и за что борюсь, родина — это я сам как творческий момент настоящего, создающего из прошлого наше будущее.

22 ноября. Солнце.

Запрос был на такую сказку, чтобы она могла быть людям как хлеб.

Все, кто был в то время моими врагами, теперь стали врагами народа. Но тогда они диктовали, выдавая себя за представителей революции. Некоторые называли себя урбанистами и вели борьбу с теми, кто писал о природе. Мои рассказы в детских журналах перестали печататься. Я же принял вызов и не стал писать о машинах, я <ушел> глубже в лес: ближе к истине.

25 ноября. РАПП: разобрать, из каких элементов состоит это явление, свойственное русской общественности (литературной) во все времена (и до РАППА, и теперь).

Падая в непостижимую, безмолвную вечность, уже созерцая в себе ее величие и непостижимость, человек хватается за минутки жизни. И мы не понимаем в это время, что при встречах с нами такой человек за нашу встречу хватается, как за соломинку жизни и... (Воронский⁴⁰ погибал...).

30 ноября. На небесах, конечно же, нет ничего, но до чего же хочется подняться и поглядеть — и надо подняться.

1 декабря. Заседание Тургеневского комитета (Тургком). Возвращение в Загорск. Пороша.

5 декабря. Внутри СССР скрытое устремление к роду, такое же, как у фашистов, только песня другая.

Политические планы сменяются: был нэп, стали колхозы, проходят одна за другой пятилетки. Но есть же внутри всего этого нечто настоящее, вокруг чего движутся все перемены. Может быть, это Я?

15 декабря. — 24! По-видимому, кончилась безразличная погода.

Машины — это вместо рабов, и люди при машинах — тоже рабы.

17 декабря. Тот же мороз.

Чкалов погиб, и ему отдаются все почести как герою. Но люди прекрасные частенько погибают сейчас у нас на глазах без всяких почестей, просто как будто на твоих глазах люди проходят куда-то совсем «без права переписки» с оставшимися. Есть что-то великое, библейски беспощадное в этой непрерывной смене людей: уходят без благодарности, проходят, не оглядываясь на предшественников. Мало-помалу должна же прошибить всех мысль о том, что не в нас тут дело...

23 декабря. Вернулись морозы, было ясно, солнце и —22°.

Неотступно преследует тревога о нашем положении. Быть может, еще сколько-то протянем, сбрасывая балласт вроде Ежова и проч., но больше ничего не видно: упадок небывалый. Упрекаешь себя за попытки понять непонятное.

31 декабря.

Говорят, комнаты в Москве подешевели, можно за 5000 р. купить. Это оттого, что высылают мужчин, а женщины, отправляясь к мужьям, ликвидируют квартиры в Москве.

Желание, загаданное мною, было одно: дожить до Нового года и всем опять встретиться. При сложившихся внешних и внутренних обстоятельствах это простое желание — пережить год — значит очень много!

4 февраля мне будет 66 лет. Вот получается теперь так, что грусти о коротком остатке жизни не может быть: год один — и то кажется так долго! В старости жизнь упрощается до формулы: «Хоть денек, да мой!»

Комментарии

¹ Пришвин П. М. — младший сын писателя.

² Мантейфель П. А. — ученый натуралист, возглавлял работу московского Клуба юных натуралистов, в связи с приходом в Клуб нового руководства в 1938 году деятельность учено-го фактически была прекращена.

³ Чувиляев Д. К. — инженер-лесовод, знакомый Пришвина.

⁴ Лицо не установлено.

⁵ Коноплянцев А. М. — друг Пришвина с гимназических лет, родом из Ельца.

⁶ Речь идет о повести канадского писателя Вэша Куоннезина «Серая Сова».

⁷ Ефросиния Павловна — жена писателя.

⁸ Товарищ по охоте, юрист.

⁹ Керженцев П. М. — публицист, в 1936—1938 годах был председателем Комитета по делам искусств при СНК СССР.

¹⁰ Ставский В. П. — писатель, журналист, в 1937—1941 годах — главный редактор журнала «Новый мир».

¹¹ Речь идет о писателе Сергееве-Ценском С. Н.

¹² Лицо не установлено.

¹³ Одно из первоначальных названий романа «Осударева дорога». Во время написания романа сменилось несколько его названий: «Падун», «Быль», «Былина», «Царь природы».

¹⁴ Ивантер Б. А. — писатель, в 1933—1938 годах был главным редактором журнала «Пионер».

¹⁵ Имеется в виду писатель Толстой А. Н.

¹⁶ Речь идет о сыне известного графика и живописца Фаворского В. А., жившего в Сергиевом Посаде.

¹⁷ Папанин И. Д. — полярный исследователь, в 1937—1938 годах руководил первой советской научно-исследовательской станцией на дрейфующей льдине в Центральной Арктике — «Северный полюс».

¹⁸ Слова о возможном конце русской революции принадлежат Ф. М. Достоевскому.

¹⁹ Речь идет о поездке с сыном Петром под Кострому в некрасовские места на весенний разлив.

²⁰ Речь идет о генеральном секретаре Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) Авербахе Л. Л.

²¹ Пришвин уничтожил письма Бухарина Н. И., адресованные ему во время их сотрудничества в газете «Известия».

²² Огнев С. И. — ученый-зоолог.

²³ Разработка сюжета романа «Осударева дорога».

²⁴ Воспоминание относится ко времени работы Пришвина земским агрономом в Клину в 1902 году. Этим сюжетом начинается поэма Пришвина «Фацелия».

²⁵ Чернов В. М. — один из лидеров партии эсеров, короткое время был министром земледелия Временного правительства.

²⁶ Имеется в виду известный литературовед и социолог Иванов-Разумник Р. В., многолетний друг Пришвина.

²⁷ Речь идет о Крупской Н. К., которой не понравилось в рассказе Пришвина сравнение утенка со стахановцем.

²⁸ Караваяева А. А., Герасимова В. А. — советские писательницы.

²⁹ «Ликование» по поводу проводившихся выборов.

³⁰ Имеется в виду дочь писателя Розанова В. В. Татьяна Васильевна Розанова, жила в Сергиевом Посаде, дружила с Пришвиным. По впечатлению Пришвина, Т. В. унаследовала главную черту отца — сверхобостренное восприятие окружающего мира.

³¹ Лицо не установлено.

³² Пруд в Сергиевом Посаде.

³³ Имеются в виду известный ученый физиолог Павлов И. П. и режиссер Станиславский К. С.

³⁴ Бострем Г. Э. — художник, друг писателя по Сергиеву Посаду.

³⁵ Семашко Н. А. — нарком здравоохранения, гимназический друг Пришвина, родом из Ельца.

³⁶ Имеется в виду семья В. С. Трубецкого, жившая в Сергиевом Посаде. Трубецкой был другом Пришвина и товарищем по охоте.

³⁷ Лицо не установлено.

³⁸ Имеется в виду князь Голицын В. М., бывший городской голова Москвы, жил в Сергиевом Посаде.

³⁹ Имеется в виду рассказ «Этажи леса» из цикла рассказов о природе для детей «Дедушкин валенок».

⁴⁰ Воронский А. К. — критик, писатель, редактор первого советского лит.-худ. журнала «Красная новь».

*Вступление, подготовка текста,
комментарии и публикация Л. А. РЯЗАНОВОЙ.*

Т. А. АЛЕКСЕЕВА, Б. Г. КАПУСТИН,
И. К. ПАНТИН

«Национальная идеология»: иллюзия или непонятая потребность?

Предварительные замечания

В нашей журналистике всю развернулась дискуссия вокруг понятия «национальная идеология». Привлекаются лучшие публицистические перья, отыскиваются наиболее убедительные аргументы pro и contra, старые противники обмениваются новыми полемическими ударами. Авторам этой статьи, политологам по специальности, трудно включиться на равных в развернувшуюся полемику — мы привыкли к строгим научным обоснованиям. Сейчас же трибуной завладели журналисты с их броским, острым словом. И все-таки мы решили высказаться по проблеме «национальная идеология» для России потому, что не согласны с самой постановкой вопроса большинством участников дискуссии. Соответственно главным в данной статье будет переформулировка проблемы «национальная идеология».

По крайней мере две основных позиции можно проследить в развернувшемся споре. Первая — мы бы назвали ее апологией «русской идеи» — исходит из необходимости возродить единое национальное самосознание русских в духе той соборности, которую вынашивали когда-то теоретики «русской идеи». «Мы, русские, — большинство в стране. Неужели нам не найти общую программу действий?» — восклицают они. В «русской идее» нет ничего имперского, здесь нет стремления утвердить свою исключительность и покорить другие народы. Пришла пора вернуться к истокам. Что нужно для этого? Во-первых, возродить уверенность русского народа в своих силах, в способность самим устроить свою жизнь, сохраняя и развивая собственную самобытность. Во-вторых, укрепить русское государство. Не внешние формы государства определяют его сущность, а то, как государство оберегает национальные интересы, действует ли оно на пользу или во вред народу. Наконец, в-третьих, не следует забывать, что стержень русской культуры составляет православная религия. Истинно русский человек, даже атеист (двум поколениям русских людей прививали безбожие), тянется к национальным святыням, а следовательно, к православию.

Итак, уверенность, сильное государство, православие — вот три составляющих «национальной идеологии».

Мы специально не закавычивали приведенные положения (они взяты нами из книги А. Гульги «Русская идея и ее творцы». М., 1995), потому что считаем их наиболее репрезентативными, выражающими суть позиции сторонников «русской идеи» как стремления объединить людей вопреки тому, что образует их своеобразие (этнос, религия, политические убеждения и т. д.). К сожалению, позиция их оппонентов не сформулирована столь четко и развернуто. Поэтому, излагая их точку зрения, нам придется прибегнуть к цитированию ряда авторов, примириться с некоторой фрагментарностью выражения их взглядов.

* Татьяна Александровна **Алексеева**, доктор философских наук, заведует лабораторией философских проблем политики в Институте философии РАН; Борис Гурьевич **Капустин**, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН; Игорь Константинович **Пантин**, доктор философских наук, заведующий лабораторией сравнительной политологии Института философии РАН.

Если попытаться вычленить основной довод противников «национальной идеологии», то он будет звучать примерно так: «Национальная идеология» — это селекция идей силами и средствами государства, известная россиянам по периоду тоталитаризма, это попытка проторить дорогу к «охоте на ведьм», а затем и к ГУЛА-Гу. Доводы? Они не нужны, следует вспомнить только историю России в XX веке, сталинский террор и т. п. «Национальная идеология» как раз и нацелена, по мнению сторонников этого взгляда, на возврат старых времен. К тому же, воспитывая в каждом кулике «патриотические чувства к родному болоту», она сужает кругозор людей, калечит мысль. «Национальная идеология — это противогаз, защищающий своего «носителя» от внешней среды, логики, здравого смысла и реальной действительности», — утверждает В. Новодворская («Новое время», 1996, № 41, с. 9). Тоска зюгановского электората по «национальной идеологии» выражает, по ее мнению, на деле вещи до боли знакомые: «Хочется кое-кому иметь парткомы любого профиля, но чтобы были. Парткомы, «персоналки», партсобрания, шеренги, шпицрутены, «Министерство любви» (там же). Словом, «национальная идеология», уверены сторонники этой точки зрения, как могильная плита может упасть на нашу голову и придавить всех и вся, отбросить громадную страну в новое варварство.

Конечно, мы привели здесь только крайние точки зрения. Между ними целая палитра мнений и суждений по поводу «национальной идеологии». Однако, признаться, у нас нет охоты разбирать их, тем более что «национальная идеология» для подавляющего большинства из них является данностью, к которой, с одной стороны, надо как-то *отнестись*: положительно или отрицательно — все равно, с другой — наполнить «своим», большей частью случайным, содержанием.

Для нас, авторов этой статьи, «национальная идеология» — скорее *обозначение* проблемы, пусть неточное, приблизительное, но обозначение. Проблема эта состоит в том, *кто* и *как* определит предстоящее новое *собрание* России: националисты, выразители так называемой «русской идеи», для которых значение всякой идеологии заключается в сходстве взглядов с духом их группы, направления, или более реалистически мыслящие элементы, памятующие о необходимости сохранения и развития тех начал (далеко не всех), которые пусть робко, но все-таки заявили о себе после 1991 года. С нашей точки зрения, Л. Толстой был «национальным» россиянином, равно как и Чехов, но ни тот, ни другой не были националистами. И, наоборот, наставники нынешнего национализма, идеологи «русской идеи», не являются «национальными», сколько бы они ни говорили о «национальной душе», «национальном менталитете» русских.

Думается, самое важное для реалистической постановки проблемы — попытаться понять, *что* стоит за странной (и неадекватной предмету) формулировкой о «национальной идеологии», той, которую президент предложил разработать как можно скорее, в течение года.

А стоит, на наш взгляд, потребность преодоления глубокого духовно-нравственного кризиса, охватившего российское общество в конце XX века. Кризис этот порожден не самим по себе крахом господствующей ранее коммунистической идеологии и не конкуренцией множества имеющих ныне хождение идеологием, а разрушением того *поля смыслообразования*, в котором все эти идеологемы могли бы стать чем-то большим, чем умственное упражнение, — способом социальной ориентации человека. «Невпisanность» любой возможной деятельности в какой-либо реально существующий или проектируемый строй исторического бытия порождает обесмысливание всяких человеческих усилий, если они не сводятся к элементарному выживанию. Мы знаем из истории, что кризис ценностей не всегда и не автоматически ведет к политическому параличу. Но бывают ситуации, когда распад сферы представлений о высших целях, о социально возможном, короче, распад ценностной сферы, грозит разложением самой ткани общественной жизни, подрывает саму возможность индивида идентифицировать свои цели с целями и ценностями общества.

Вряд ли стоит дальше распространяться о духовно-нравственном кризисе. Надо быть слепым, чтобы не видеть его. Отметим только один момент: заостренно антисоциалистические идеи и символы свободы и демократии, хотя и оттеснили социалистические ценности на периферию общественного сознания, пока не могут претендовать у нас на ценностный статус, потому что, в числе прочего, не вытекают из реальной российской традиции и основной своей частью не вписываются в нее. А если к этому прибавить узурпацию понятия «демократия» правящими группами — и в центре, и в регионах, — упадок экономики, разгул преступности, ослабление важнейших институтов государства, то станет ясно, что образование нового строя ценностей так опасно запоздало, отстало по сравнению с крушением старого.

Сегодня «простые люди» задают интеллигенции вопросы, на которые у нее сплошь и рядом нет ответа, хотя узнать от нее то, что она сама не знает, требуют объяснить существующее, но этого никто, к сожалению, сделать не в состоянии. Подчеркнем: одно дело — осознать свою слабость, неспособность (надеемся, временную) «указать путь» и совершенно другое — восхвалять существующий разброд в мнениях, хаос в оценках, нравственную дезориентацию, как это делают некоторые «ультрадемократы».

Постараемся быть трезвыми и самокритичными. Русская интеллигенция со времени своего появления выполняла — в зависимости от обстановки — прежде всего интернационалистическую, космополитическую функцию, несла европейскую мысль и европейский опыт в наше отечество. По-видимому, и сейчас диалог российских и западных интеллигентов должен быть продолжен, углублен, имея в виду общую борьбу «с техногенным одичанием, за очеловечение техногенного мира» (Г. Померанц). Но вот вопрос: можно ли сегодня в условиях распада духовного, ценностного пространства *ограничиваться* подобного рода интеллектуальной «перекличкой»? Вправе ли мыслящий человек, учитывая обострившиеся социальные, этнические, конфессиональные, культурные противоречия, не попытаться сформулировать *свое* видение собирания российского общества и российского государства? Наконец, не пора ли и российским интеллигентам — шире — образованному обществу, «национализироваться», т. е., используя опыт общемирового развития, вернуться всерьез к общенациональным, общегосударственным задачам?

«Национальной» мы называем только такую совокупность идей, ценностей, ориентиров, которая выражает потребность конкретной «национальной» реальности или которая кладет начало определенному этапу практической или теоретической «национальной» активности. В ряде стран (США, Великобритания, Франция) интеллигенция сравнительно быстро, хотя и не без трудностей и потерь, научилась выполнять свой долг: уважая любой принцип, любое мнение, любую веру, исповедуемую искренне, отражать и выражать духовную жизнь нации, которая существенно менялась на протяжении XX века. Во всяком случае, «интеллигентская» культура сохраняет здесь, конечно, в определенных пределах, значение живого, действующего мировоззрения. Сумеет ли российская интеллигенция в критический для страны момент сделать шаг навстречу проблемам жизни народа? Не того выдуманного, старого, о котором пишут «почвенники», а нового, возмужавшего, прошедшего через горнило тоталитаризма и изломы так называемой «демократии»? Окажется ли она в состоянии оживить, сделать «национальным» то слабое чувство единства разных культур и этносов, разных социальных слоев, единства государства и населения, которое еще существует у россиян? Сумеет ли поднять понятие России как носительницы мифа (а он гигантская сила!) и функции общей Родины, общего Дома народов, населяющих нашу страну?

Вопросы, вопросы, и почти нет ответов, потому что их еще предстоит нам всем выработать...

Сделав эти предварительные замечания, обратимся к собственно проблеме «национальной идеологии». Мы исходим из того, что сохранение и продолжение существования России предполагает в первую очередь решение проблемы ее нового собирания. С идейно-политической (и исторической) точки зрения любая идеология значима для нас в той мере, в какой она в состоянии этому содействовать. Какая будет (должна быть) идеология, способная сыграть такую роль, сказать сейчас трудно. Одно не вызывает у нас сомнения: идея или идеология, отвлекающая от своеобразия или многообразия (этнического, конфессионального, социального, политического и т. д.) России и стремящаяся *погасить* его, может быть «внедрена» только *насильственно, принудительно* и уже поэтому является идеей или идеологией добывания России. Такой позиции, к которой склоняются разговоры о «русской идее», мы хотим *противопоставить* другую: идеологию собирания многообразия России на *демократической основе*, то есть *интегративную идеологию*, ориентированную не на подавление различий, а на поиск возможного их *modus operandi* (способа конструктивного взаимодействия). Вряд ли можно поставить знак равенства между интегративной идеологией и «национальной», хотя первое понятие вбирает, на наш взгляд, все рациональное, исторически значимое на данном этапе, что содержится во втором, отсекая его неточности, а порой двусмысленность.

Понятие интегративной идеологии

Интегративная идеология — это система взглядов и ценностей, приверженность которым превращает некую совокупность людей в народ, т. е. в политически

и исторически дееспособную целостность. «Народ» не отменяет своеобразие и даже конфликта интересов составляющих его групп. Он — та целостность, которая как раз создает возможность реализации таких интересов без превращения ее в «войну всех против всех». Иными словами, народ есть носитель и основа общественной нравственности (в широчайшем смысле этого понятия), которая придает специфическим интересам групп и индивидов социально приемлемую форму.

Без интегративной идеологии существование общества невозможно. Но для современных обществ понятие консенсуса приобретает иной смысл, чем для обществ традиционных. Применительно к последним оно означает *одинаковость* взглядов, ценностей, стилей жизни или те их различия — к примеру, между клиром и миром, аристократом и простолюдином, — которые сами даны как «природный факт», не подлежащий сомнению с точки зрения справедливости и разумности. Ставить вопрос можно лишь о превышении тех пределов различий, которые положены традицией. Одинаковость и обеспечивается «автоматическим» действием традиции, против нее еще не утвердилось право человека радикально сомневаться во всем, признавать лишь то и соглашаться лишь с тем, что отвечает своей субъективной точке зрения.

Современность начинается с того изменения культуры, которое ведет к утверждению права людей на радикальное сомнение и вопрошание всего и вся. Тогда консенсус перестает быть *одинаковостью*, а становится «согласием относительно несогласия», т. е. согласием на существование определенных процедур взаимодействия несогласных между собой по самым важным вопросам людей. Исторически выработка современных форм консенсуса началась в Западной Европе именно с нахождения способов сосуществования в условиях несогласия по важнейшим религиозным вопросам о высшем смысле бытия и о спасении души. И это же было началом становления современных институтов политического представительства и конституционного правления.

На каждом этапе выработки таких форм, т. е. на каждом историческом этапе их развития, существовали свои границы толерантности, своя степень единомыслия по тем или иным вопросам, оказывающимся тогда политически важными. Либерализм, например, при своем возникновении (достаточно посмотреть сочинения Джона Локка о веротерпимости), не признавая гражданских прав за атеистами и папистами, соглашался с политической и культурной дискриминацией женщин, немислимой сегодня даже в тех государствах, которые очень далеки от образцов либерального устройства. Однако во времена Локка единомыслие по этим (и ряду других вопросов) было критерием и условием гражданского полноправия людей.

С ходом времени то, в чем требуется единомыслие, уменьшается в своем объеме и уточняется в своем содержании. Этому процессу нет логического предела, поскольку разворачивается ситуация Современности и поскольку ничто не может устоять перед правом критической и вопрошающей субъективности. Конечно, это огромный вызов для любого общества, вызов не только его стабильности, но порой и его выживанию. Не раз этот процесс пытались (и будут еще не раз пытаться!) остановить. Но чем были и чем только и могут быть такие попытки?

Они были и могут быть только фундаментализмом и национализмом «крови и почвы», посягающим на право субъективности и на то, чтобы любые общественные институты существовали только на основе согласия людей, а не в силу заповедей предков, заветов пророков, метафизических истин или «железных законов» истории, судить о которых и тем более отвергать которые простой человек не может и не должен. Дело не в том, что фундаменталистские и националистские попытки остановить Современность заведомо обречены на провал. В истории нет ничего заведомо обреченного. Речь может идти только о *цене* и о *последствиях* таких попыток, о том, приемлемы или неприемлемы они для людей, живущих в том или ином обществе. В свете этого, как нам представляется, и следует отнестись к «русской идее» и к другим взыскуемым ныне идеологиям, которыми хотят обеспечить единомыслие разномыслящих (слишком разномыслящих) россиян.

Итак, вопрос о консенсусе в условиях Современности, в которых, несомненно, находится Россия, есть вопрос о «согласии относительно несогласия», т. е. вопрос о процедурах сосуществования многообразия. Такая постановка вопроса отнюдь не делает беспредметной любой разговор о границах многообразия и о ценности вообще. Границы задаются самими процедурами: «по ту сторону» остаются несогласные жить вместе с теми, кто с ними не согласен. Это — единственный вид несогласия, который не вписывается в формулу о «согласии относительно несогласия». Очевидно, что он не имеет никакого отношения к признанию или непризнанию «соборности» русского народа, тех или иных геополитических контуров России, важности или неважности «артельных» начал в ее хозяйственной жизни и т. д. Если эти и любые другие вопросы приобретают *политическое* значение, то их решение — в

случае претворения в жизнь формулы «согласия относительно несогласия» — должно, на наш взгляд, отыскиваться путем использования обычных демократических процедур. Метафизические размышления о «предназначении» России или новые, хотя уже не красные, цитатники здесь неуместны.

Аналогично этому можно рассматривать и вопрос о ключевых ценностях. О них, собственно, и пойдет речь в нашей статье. Мы не можем ничего решать вместе, пока не определим, кто есть «мы» и хотим ли к этому «мы» принадлежать.

«Мы» и есть Отечество, взятое без мистики и метафизики, как экзистенциальное самоопределение людей в контексте истории — личной и коллективной. Но мы не можем что-либо решать в качестве «мы», пока не найдем и не признаем меру, при помощи которой станем соотносить наши разногласия и искать пути их регулирования, оставаясь разными. Признание такой меры есть признание ценности справедливости. Наконец, мы не сможем достигать согласия, оставаясь разными, если не будем ориентироваться на достоинство каждого и необходимость блюсти его, сколь бы ни были велики различия в наших взглядах. А это означает признание ценности человеческого достоинства. Признав эти ценности и эти границы, мы можем более полно понять смысл интегративной идеологии. Она в первую очередь есть мировоззренческое обеспечение такого способа существования многообразия, которое строится по формуле «согласия относительно несогласия». Она легитимизирует границы этого способа и несет те *ключевые ценности*, без которых он невозможен. Она противостоит любым идеологиям, ориентированным на унификацию убеждений людей, на достижение консенсуса в смысле одинаковости. И мы считаем, что разработка такой интегративной идеологии именно сейчас в России становится делом чрезвычайной важности и актуальности.

Не на каждом этапе истории проблема интегративной идеологии стоит с равной остротой или вообще широко осознается как проблема и обязательное условие человеческого общежития. Интегративная идеология отливается, воплощается в общественных институтах, которые в условиях стабильности делают для большинства данного народа эту идеологию чем-то «само собой разумеющимся», а потому не требующим особых размышлений и поисков. Средним человеком она может вообще не «замечаться». Таково, к примеру, до последнего времени было положение с идеологией «американизма»: в отличие от периода формирования и самоопределения США, когда совокупность взглядов и ценностей, составивших позднее эту идеологию, была предметом интенсивного обсуждения всей «читающей публикой» страны. Через полвека — в связи с гражданской войной в Америке — напряженная ситуация идеологического самоопределения была воспроизведена вновь. В нашей стране крах институтов социализма вкупе с распадом союзного государства создал именно такую ситуацию актуализации проблемы интегративной идеологии. Ее значение обусловлено именно тем, что народ — «советский народ» — перестал быть народом, превратившись в население, т. е. агрегат этнических, конфессиональных, экономических, статусных и иных групп. Дело не в том, что их интересы конфликтны, а в том, что они более не укладываются в общую «матрицу» бытия народа, не социализируются общественной нравственностью, не опосредуются присущими ей институтами.

Величайшая иллюзия российских реформаторов 1991—1992 годов заключалась в их вере в возможность проведения экономических преобразований безотносительно к тому, имеют ли они опору в виде общественной нравственности и дееспособного государства. Они всерьез восприняли либеральный миф, родившийся на Западе уже в XIX веке, после завершения становления там рыночной экономики и либерального политического строя, о том, что рынок рождается спонтанно и выстраивает «под себя» политическую и правовую «надстройку». В действительности везде на Западе рынок успешно формировался лишь там и поскольку, где и поскольку он выступал органом жизнеспособного национального организма и обеспечивался мощью государства и прочностью традиций общественной нравственности. Опыт Англии в этом смысле — самый убедительный тому пример.

Нынешняя острота проблемы интегративной идеологии у нас — следствие беспрецедентного российского эксперимента по созданию рынка в условиях распада общественной нравственности и развала государственности. Важность решения этой проблемы свидетельствует не об уникальности России, а о том, что она вынуждена по-своему компенсировать отсутствие тех предпосылок рыночного и демократического развития, без которых оно не осуществляется нигде и которые оказались вне поля зрения реформаторов первой волны. В этом смысле потребность в интегративной идеологии тому доказательство — Россия не отходит от мирового опыта, а, наоборот, стремится в возможных формах учесть и претворить его.

Чтобы население России стало *народом России*, нужно, на наш взгляд, перекинуть мосты через два вида разломов, образованных нашей недавней историей. Во-

первых, это разрыв связи времен. Народ никогда не был только совокупностью живущих сегодня лиц. Он — связь всех живших в данном Отечестве поколений. Отечество — это народ, взятый в его истории. Пока советский период (равным образом и предоктябрьский) не найдет свое место в непрерывности смыслообразования России, у нас не будет народа. Акцент на непрерывности отнюдь не означает восхваления всего, что делали русские и россияне. Непрерывность истории — это и непрерывность критики прошлого, без чего из него не рождается будущее. Но это критика деяний отцов, сколь бы ни были велики их заблуждения и грехи, а не чужаков, изображаемых проходимцами и захватчиками. Идея общей судьбы, как бы она ни была временами горька, — первое условие существования народа в настоящем и будущем. Не случайно эта идея отливается в ценности Отечества.

Во-вторых, это разломы среди живущих сегодня. Сколько бы ни были остры сейчас экономические противоречия, нужно помнить, что порождаемые ими конфликты сами по себе не могут подорвать способность народа быть народом. Значение, которое им придастся, само есть следствие их осмысления с позиций тех или иных ценностей. Опыт Запада показал, что экономические конфликты, если они отделены от конфликтов ценностей, всегда поддаются регулированию в рамках эволюционирующей социальной системы.

Ныне в России сложилось несколько ценностных миров (даже если пока исключить национальные), которые мы условно и не претендуя на исчерпанность списка назовем последовательно: «либерально-вестернизаторским», «реставраторско-коммунистическим», «почвенно-националистическим», «национал-либеральным», «социал-демократизмом», «национал-социализмом» (вне ассоциаций с германским нацизмом), «русским фашизмом». Как и чем можно объединить эти миры? Искать их «общий знаменатель»? Но если он и будет найден, то окажется столь бессодержательным, что едва ли сможет играть какую-либо реальную политическую роль. Каким-то образом побудить их, хотя бы на время, забыть о различиях и объединиться вокруг общей вдохновляющей цели? Но именно вдохновляющие цели этих сил и различны, так что если даже приверженцы каждой из них согласятся, что хотят создать Великую Россию, то их представления о ее величии и его составляющих все равно радикально разойдутся. Что остается? Как нам представляется — найти процедуры и правила, приживаясь которых эти миры остаются самими собой и вместе с тем получают возможность сосуществовать вместе и — через взаимное приспособление — способность и *соизменяться*.

Но если так, то мы получаем новое (более развитое и конкретное) определение народа: это культурно-политическое (а не этническое, конфессиональное и т. д.) сообщество, воплощающее определенные правила и процедуры общности. На достижение такого сообщества нацелена интегративная идеология. Отсюда можно сделать вывод о том, какая общественная сила выступает ее носителем. Это все те группы, которые признают право других на инаковость при признании того же равного права за ними. Ось нынешнего конфликта в России, часто скрытая от наблюдения, — это не социализм против капитализма, не патриотизм против космополитизма, не русские против инородцев и т. п., а терпимость и нравственность, с одной стороны, против нетерпимости и безнравственности — с другой. Первая пара и называется, по сути, синонимом и стабильности, национальной безопасности, и будущего величия России. Эта пара, о чем речь ниже, выражается ценностью справедливости.

Но как могут быть найдены эти нормы, правила и процедуры, стимулировать поиск которых и ценностно обосновать которые призвана интегративная идеология? Они не придумываются экспертами, не заимствуются из чужого исторического опыта и даже не в полной мере фиксируются писанным правом. Они продукты опыта народа, которые лучше всего обозначаются такими старомодными словами, как «нравы» и «обычай». Формирование правил и процедур еще саморегуляция народной жизни, в некоторых случаях, как сейчас в России, трагически отстающая от перемен в других областях. Но нет оснований думать, что этот процесс совсем не идет в посткоммунистической России. Вопрос, встающий перед ответственными руководящими группами страны, заключается не в том, *как подменить* саморегуляцию народной жизни, а в том, *как создать условия, облегчающие эту саморегуляцию*.

Первое и важнейшее правило здесь — не мешать этому процессу. Не мешать нагнетанием истерии, манихейского конфликта «реформаторов и коммунистов», замалчиванием и отгеснением на обочину общественной жизни сил другой ориентации, навязыванием (с помощью «промывки мозгов») определенной идеологии, как было в свое время с идеологией либерального реформаторства, проходившей под лозунгом: «иного не дано», и как сейчас обстоит дело с «русской идеей».

Далее государство должно, по нашему мнению, укреплять и повышать значение тех институтов, которые являются «площадками» максимального равноправного взаимодействия различных общественных сил, на которых происходит публичное выражение их взглядов и, возможно, согласование их устремлений. Среди таких институтов очевидна роль всех уровней судебной системы, представительных органов — от местных до Госдумы и Совета Федерации, ассоциаций и инициатив гражданского общества, СМИ, причем в первую очередь как раз государственных.

Наконец, собственно идеологическая проблема. Государство может своим культурным и пропагандистским воздействием акцентировать некоторые ценности, вокруг которых, с одной стороны, может происходить кристаллизация толерантных идеологий и которые, с другой стороны, станут своего рода «эсперанто» взаимопонимания этих «частных» (групповых) идеологий. *Такими ключевыми ценностями являются Отечество, справедливость, достоинство человека.* Они образуют, на наш взгляд, ядро интегративной идеологии, специфика которой — в отличие от «частных» идеологий — заключается в том, что она не претендует на ответы на вопросы, что есть цели национального развития (Великая Россия, общечеловеческие идеалы и т. д.), но говорит о том, *как подходить к осмыслению «всего» этого, сколь бы ни различались содержательно у разных сил итоги такого осмысления.*

Поэтому поддержка интегративной идеологии государством не противоречит статье 13 Конституции РФ, гласящей, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Не говоря о том, что интегративная идеология действует по принципу «не *вместо*, а *вместе* с другими идеологиями», ее целью является не утверждение того или иного политического и экономического строя, а создание ненасильственных форм коммуникаций между теми «частными» идеологиями, которые дают содержательные ответы на вопросы «что». Эти формы и есть процедуры и правила, благодаря которым демократически достигаются согласованные решения.

Какую стратегию реформирования России, по всей вероятности, создадут такие решения? Вряд ли это будет стратегия «догоняющего развития». Ведь она есть воплощение одного из многих, частного ценностного мира России — «либерально-вестернизаторского». То же можно сказать и о коммунистической стратегии «альтернативного развития», и о националистической стратегии «почвенного изоляционизма». Едва ли лучше обстоит дело со стратегией «опережающего развития». По существу, она является лишь модификацией стратегии «догоняющего развития», предполагая использовать специфические для данного общества средства и ресурсы в целях достижения тех же «модернизаторских» целей, только собираясь реализовать их полнее и эффективнее, чем страны-первопроходцы (классическим примером и даже моделью «опережающего развития» служит германская индустриализация XIX века в ее отношении к английской). Однако предметом идеологической борьбы в данном случае будет как раз то, по каким критериям определять, в чем именно должно состоять опережение: по объему производимого ВВП? По степени равномерности распределения доходов? По сохранению здоровой природы? По соблюдению прав человека и миролюбию внешней политики? Или по военной мощи наконец?

Вероятно, стратегия, которую дадут демократически согласованные решения, будет *стратегией «адекватного развития»*. Она адекватна не каким-то внешним образцам и критериям, вытекающим из тех или иных «частных» идеологий, а собственным проблемам данного общества, которые формулируются и приоритетность которых определяется методом демократической коммуникации всех заинтересованных групп. Внешний мир влияет на эту стратегию не в качестве образца для подражания или извечного соперника, но как сумма конкретных обстоятельств, благоприятствующих или препятствующих решению проблем **нашего** общества. В этом смысле (но не только в этом!) она есть стратегия российского государственно-политического прагматического эгоизма. В то же время она есть стратегия «опережающего развития», но не в том смысле, о котором говорилось ранее. Она должна быть стратегией опережения по отношению к появлению и развитию собственных проблем, т. е. реакцией на них до того, как они превратятся в источник бескомпромиссных столкновений и «сакрализуются» в качестве противоборствующих идеологий. Преимущество демократического метода в том и заключается, что он позволяет зафиксировать проблему и найти способ ее компромиссного регулирования, пока она не вышла из стадии прагматического ее восприятия участниками спора.

Следствием способности такого обращения с проблемами будет стабильное и динамичное общество, которому обеспечена позиция в клубе мировых лидеров. Тогда редко попадают, делая это самоцелью, во имя которой разрушается «естественная» жизнь общества. Современной истощенной и расхристанной России этот путь к величию явно заказан, что не означает, будто нет другого пути...

В истории российского государства были такие моменты, когда политическая власть, отвечая на оригинальные, поставленные действительностью вопросы, выдвигала идеологические постулаты, призванные придать достоинство мысли определенному направлению политической деятельности. Таково, например, обоснование значения Москвы как «третьего Рима» — идеи, смысл которой заключался в маркировке особой — объединительной и завоевательной — роли Московского государства на Западе и Востоке. К такого рода постулатам относится и уваровская теория «самодержавия, православия, народности» с ее упором на самодержавие, которое-де составляет «главное условие политического существования России». Каковы бы ни были подлинные цели теории «официальной народности» (оправдание самодержавной России как форпоста «порядка» в Европе после периода революций, попытка сформулировать идеологию, цементирующую изнутри российское образованное общество, а следовательно, и государство), она заслуживает внимания. Разумеется, уваровскую формулу нельзя отнести к разряду «исторически органических идеологий» (А. Грамши). Разумеется, она носила по преимуществу реакционный характер и была встречена в штыки передовой публицистикой. Правда, не надо упускать из виду, что подобная идеология, привносимая «сверху», не была безрезультатной: она привязывала «образованное общество» к определенным моральным и политическим ценностям, влияла на сознание подрастающего поколения через содержание школьных программ и учебников и т. п.

Другими словами, не преувеличивая значения интегративной идеологии, коль скоро ее будет разрабатывать власть, следует иметь в виду, что эта идеология преодолевает противоречивость сознания и предоставляет основание для «понятного» обществу решения, выбора действия, даже если они являются непопулярными. Главное, чтобы предлагаемая идеологическая парадигма придавала некий более высокий «смысл» (далеко не всегда в плане «истины») происходящему, обосновывала в контексте этого «смысла» продиктованные необходимостью действия.

Теперь подробнее о ценностных узлах интегративной идеологии: Отечестве, справедливости, достоинстве.

Отечество

Когда говорят об Отечестве, то вспоминают обычно красоту Родины, ее ландшафты, язык, традиции и т. п. Политический ингредиент при этом хотя и подразумевается, но не играет сколько-нибудь важной роли. Между тем понятие Отечества в собственном смысле (страна отцов) связывает нас прежде всего с миром политическим. В то же самое время Родине (Москва, Поволжье, Татарстан, Дальний Восток и т. д.) мы отдаем всю силу нашей эмоциональной любви. Несущественное на первый взгляд различие имеет смысл, поскольку наше Отечество в последнее десятилетие коренным образом изменилось из-за распада Советского Союза. Изменилось, но не исчезло, поскольку, потеряв гражданство СССР, россияне стали гражданами Российской Федерации. Тем более не погибла наша Родина, которая навсегда связывает нас с землей предков, с исторической памятью.

Отечество обязательно национально, безнационального отечества не бывает. Каждый народ чтит свое прошлое (какое бы оно ни было), свою национальную культуру, т. е. сохраняет духовное содержание прошлых, соответственно наличных политических и социальных форм. И здесь возникает специфическое противоречие, особенно значимое для нашей страны. Дело в том, что подобно тому, как российская государственность была всегда сверхнациональной государственностью, *российская идея* Отечества может быть только *сверхнациональной*, перерастающей русские, татарские, чеченские, осетинские и т. д. этнические рамки. Это противоречие решается не абстрактно-теоретически, а практически-исторически. Исторически именно психологические черты *русских* (82,5% населения РФ), нации — строительницы единого государства, неизбежно определяли (и будут определять) национально-государственное строительство новой России, *общего Дома народов* нашей страны. Как отмечал Г. Федотов, ни одна нация в истории человечества не строила и не постигла в мысли такой государственности, при которой все нации, этносы, народы чувствовали себя *одинаково*: хорошо или плохо, но *так* хорошо или *так* плохо, как и русский народ. Это и позволяет говорить о родстве исторических судеб народов, населяющих Россию, о духе народа-строителя, о возможности Отечества, «которое есть, но трижды, которое будет!» (правда, уже в другом смысле).

И все же проблема дуализма России как Отечества многих народов существует — в форме взаимоотношения «малого» отечества и «большого», «своей», региональной, этнической Родины и «другой», огромной, называемой Россией. (Даже в Татарстане, где половина населения не татары, можно услышать: «У нас, в Татарстане, у них, в России»; что уж говорить о Чечне, Осетии, Ингушетии и т. д.) Мож-

но, конечно, определить это явление как национализм. Но правильнее, думается, понимать под ним очень яркое и очень ясное ощущение *национальной индивидуальности*.

Понятие Отечества задается не какой-то одной рамкой, политической, географической, хозяйственной, этнической, культурной, конфессиональной и т. п., а их совокупностью, объединением, точнее, конфигурацией, причем в разные периоды истории на первый план выдвигается апелляция к тому или иному основанию самоидентификации. Поскольку после распада СССР Россия все еще находится в поисках своего «я» («мы») в новом, изменившемся мире, постольку сегодня, на наш взгляд, речь должна идти прежде всего о ее ценностно-культурном самоопределении — с одной стороны, как предпосылки самоопределения политического, национального, мирохозяйственного и т. п., с другой — как единого начала всех исторически сменявшихся значений понятия Отечества.

Наша страна полиэтнична и поликонфессиональна, а громадность ее территории обусловила большие различия в жизненном укладе, культуре, традициях и нравах населения. Не забудем также, что не просто славянские или угро-финские племена образовали Русь, она сверх того — результат громадного «выброса» Азии в Восточную Европу кочевых племен. Без этого «выброса» духовная физиономия россиян была бы непонятна, не говоря о перипетиях истории. Все это, как многое другое, выплеснулось после 1991 года в политическую жизнь, стало фактором нравственно-культурного разъединения россиян. В этой связи напомним, что задача (и главная трудность) российского государства на протяжении веков заключалась и заключается в выработке гибких и одновременно твердых форм межэтнического сотрудничества, форм, обеспечивающих каждому народу условия национального и социального развития. В течение длительного времени объединение народов России совершалось на основе державной идеи, за которой стояли и стоят прежде всего геополитические интересы. Хотя эта идея и была правомерной на определенном историческом этапе (XVIII—XIX вв.), сегодня ее простое воспроизведение не только не обеспечивает единства народов России, но, наоборот, подрывает его. Почему? Да потому, что державность в традиционном ее понимании была сопряжена с нивелировкой, стремлением все решать по одному-единственному образцу, с бюрократической централизацией жизни народов. Новая державность, думается, должна быть неотделимой от представления о России как общем Доме свободных народов.

По нашему убеждению, свое призвание стать общим Домом для социально, этнически, конфессионально различных народов Россия может осуществить только в том случае, если через свою богатейшую культуру, успехи в экономике, строительство новой государственности русские смогут стать вновь, как когда-то, центром духовного притяжения для всех нерусских народов, населяющих ее пространство. Прежде всего духовного, а затем уже экономического, политического и т. п. Здесь не место говорить, какая ответственность ложится на русскую, шире — российскую интеллигенцию, которой предстоит выполнить значительную часть общероссийской культурной работы, а также о том, как мало государство сегодня помогает ей в исполнении этого важнейшего общенационального дела России. В плане заявленной в начале статьи цели подчеркнем лишь одно: в многоосновной, в полиэтничной и поликонфессиональной стране единой и целостной «национальной идеологии» не может быть в принципе. Необходимость духовной консолидации России ощущается сегодня многими, она жизненно важна для сохранения и развития отечественной государственности. Но любая гегемония, в форме ли заказа на «национальную идеологию», в форме ли пропаганды «русской идеи», лишь осложняет трудный процесс *выстрадывания* общероссийского самосознания. По-видимому, будет формироваться (и, надеемся, расширяться) общее пространство культурно-идеологического взаимодействия и взаимопонимания, осмысленного спора и содержательного несогласия. Мы уверены, что только созвездие взаимосвязанных идеологий, проникнутых национальными культурными синтезами, образует в конце концов то, что называют сейчас неправильно «национальной идеологией». В этом созвездии, наверное, найдет свое место и «русская идея», но не заново сочиненная на потребу дня, а пережитая и осмысленная, опирающаяся на духовное и интеллектуальное наследие России.

Иначе говоря, в современной России происходит бурное зарождение национального самосознания народов. Основной вектор этих процессов еще не определился окончательно. Не следует пытаться ставить препятствия на их пути, но можно (и должно) работать над тем, чтобы национальное самосознание данного конкретного этноса утверждало себя в качестве особой, специфической формы российского самосознания, чтобы единство России воспроизводилось в новом смысле — как общего Дома всех народов, ее населяющих.

Идея общей судьбы — это первая, но не единственная грань проблемы Отечества для россиян. Второй такой гранью является сегодня отношение к собственному прошлому. Российская история трагична по преимуществу. Практически не было такого времени, когда колесница российской истории катилась бы по гладким дорогам, не сворачивая в ухабы и трясины. Будет ли наше Отечество другим в будущем? И чем, собственно говоря, оно является в настоящем и чем в состоянии быть? Ответить на эти вопросы сегодня трудно, потому что предстоящая работа, в числе прочего, осложнена непониманием «исторического задания» (Г. Федотов) России и связанной с ним магистрали развития. Наше забвение (искажение) прошлого, утрата общероссийской традиции так велики, что ныне речь идет о самом элементарном, без чего нет сознания непрерывности развития общества, реконструирования предшествующего опыта — воссоздании исторического разума и исторической интуиции.

Возможность формирования интегративной идеологии зависит в данной связи от того, как скоро удастся преодолеть глубокий раскол в народном сознании, вызванный доктриной и фактом революции (а сегодня отрицанием этой революции). Страна, пережившая тоталитаризм, который вел свое происхождение от революции, народ, которому семьдесят лет внушали (и внушили) превосходство мозолистых рук перед мозгом, «трудяя» над «интеллигентами», политические элиты, центральные и местные, принимающие как должное свои привилегии, по-видимому, еще долгое время не смогут обрести утраченное духовно-нравственное единство. И если во Франции уже два века продолжается тяжба вокруг революционных событий 1789—1794 годов, то в России спор относительно значения Октябрьской революции только набирает силу.

Абстрактно можно, конечно, назвать эту полемику борьбой традиции и модернизма. Но только абстрактно. На деле в России речь идет о начале важного диалога настоящего с прошлым, со всем прошлым без купюр, без какого-либо изъятия. С Иваном Грозным и князем Курбским, Мазепой и Петром, Герценом и Николаем, Александром и «Народной волей», Лениным и даже Сталиным. Только такой диалог может оплодотворить российскую мысль и культуру, подготовить почву для будущего духовного синтеза, когда дооктябрьские слои истории войдут (не без противоречий, конечно) в сознание россиян, а десятилетия революционной ломки и сталинского тоталитарного террора будут восприниматься не только как историческая трагедия, героем и мучеником которой является народ, но вместе с тем и как период свершений — не свершений номенклатуры, а народа — вопреки сталинским злодеяниям.

Прошлое необходимо включить в настоящее. Речь идет не о конъюнктурном перетолковании прошлого в соответствии со «злойбой дня», в результате чего, по меткому выражению кого-то, мы имеем самое «непредсказуемое прошлое». Речь идет о выявлении в прошлом (при самой решительной критике его) «питательных источников» настоящего, идейных, культурных, моральных норм, образцов, средств, позволяющих решить наши сегодняшние задачи. Только если прошлое станет в этом смысле «живым», т. е. критически включенным в настоящее, оно перестанет быть каменной плитой, грозящим ежеминутно раздавить нас то ли кошмаром коммунистического ГУЛАГа, то ли доносами и наветами 1937 года, то ли изуитством секретного протокола 1939 года. Во всяком случае, вполне мыслима и, кажется, постепенно обретает очертания такая теоретическая схема прошлого России, которая оказалась бы менее тенденциозной, менее узкой, нежели марксистская, либеральная или романтически-почвенническая. Семьдесят лет «реального социализма» вошли бы в нее не как непредвиденная катастрофа, «черная дыра» в российской истории, а как жестокое, но неизбежное — в определенных пределах, конечно, — обновление российского (русского) менталитета в условиях XX века.

Итак, Отечество — это прежде всего признание той общности исторической судьбы, без которого нет многообразного «мы». Это отправной пункт общения, создающего взаимодействие различного вместо единообразного «мы». Но Отечество — не только общее прошлое, но и проект будущего, постоянное духовное пересоздание «мы». Поэтому интегративная идеология начинается с Отечества как прошлого и, совершая спиралевидное движение, завершается им же как образом будущего «мы».

Справедливость

Другой ключевой ценностью интегративной идеологии является справедливость. Такая ее роль обусловлена не только обостренным вниманием к ней большинства россиян (по опросам центров общественного мнения «справедливость» устойчиво занимает 3—4-ю позиции в списках «наиболее значимых слов»). Дело в

том, что оценка общества (строя, режима) как справедливого или несправедливого есть интегральная и итоговая оценка, в которой выражено его принятие или неприятие, соответственно лояльное или нелояльное отношение к нему.

Но нужно иметь в виду: в обществе существуют разные понятия справедливости, характерные для различных «частных» идеологий. В одних идеологиях — почвенно-националистического типа — справедливость отождествляется с простым следованием «общепринятому порядку», воплощенному в тех или иных формах традиционной социальной организации, таких, как община. Но в современном обществе «общепринятый порядок» стал если вообще не ретроградной фантазией, то уж не более чем одной из форм общественной жизни. Поэтому весьма распространенные ныне попытки определить справедливость в категориях «соборности», «русской правды» и т. п. никак не могут дать основу согласия различных «частных» идеологий.

То же можно сказать о казарменно-коммунистической (но явно не марксистской) ассоциации справедливости с уравнительностью. Эта идеология — протест против нынешней социальной несправедливости, но протест маргинальных и маргинализирующихся слоев общества, являющийся лишь оборотной стороной кризиса в хозяйстве и зависти к недоступному богатству.

Однако и либеральные представления о справедливости, отождествляющие ее со спонтанным функционированием рыночных механизмов («коммутативная справедливость»), также не могут быть бесспорным основанием общественного согласия. Разве все сферы общественной жизни, все проявления жизнедеятельности человека могут опираться на этот принцип? Разве применим он к отношениям родителей и детей в семье, к долгу по отношению к родине, к защите природы, к призрению немощных и престарелых, к сферам «всеобщего труда» (фундаментальной науке, высокому искусству) и т. д.?

Но все эти противоположные представления о справедливости есть не просто факты нашей общественной жизни, с которыми не может не считаться реалистичная политика, ориентированная на стабилизацию общества. В этих представлениях схвачены частицы, грани большой Правды российской общественной жизни, которые, будучи разрозненными и абсолютизированными, ведут к бескомпромиссным конфликтам. Можно ли соединить эти частицы и грани в сложную многоликую целостность? Здесь мы приходим к новому пониманию справедливости (новому для нашей политической жизни, а в сути своей описанному еще Аристотелем). Это понимание и может, на наш взгляд, стать одной из опор интегративной идеологии. Справедливость есть мера, увязывающая противоположные стороны и векторы общественной жизни, такие, как равенство и свобода, права и обязанности, интересы личные и интересы общественные... Эта справедливость не отдает предпочтения тому или иному «частноидеологическому» пониманию справедливости — либерально-рыночному или почвенно-националистическому. Она говорит о том, как они могут быть сопряжены и увязаны, чтобы общество было жизнеспособным. Есть сферы жизни, которые без применения принципов рыночной справедливости обречены на застой и упадок. Но есть и такие (та же семья), которые, если они основываются только или хотя бы преимущественно на этих принципах, если они перестают быть «малыми общинами», порождают страшную социальную анемию. Есть и такие, в которых приближение к принципу коммунистической уравнительности является условием выживания людей (не наблюдаем ли мы это в идее и практике гарантированного прожиточного минимума, в организации действий в зонах массовых бедствий и т. д.?).

Здесь ответ на вопрос, почему справедливость является интегральной и итоговой оценкой общества. При всей обусловленности групповых оценок справедливости «частными идеологиями» они несут на себе и «отблеск» родового понятия справедливости как меры, в которой увязано все конфликтное многообразие данного общества. Суждение «общество несправедливо» — это не только заключение с позиций данной «частной» идеологии, но и свидетельство того, что общество не нашло своей меры, в том числе и меры, увязывающей «нашу» частичную правду с частичными правдами других групп. И в отношении современного российского общества такое суждение верно.

Нет ничего более контрпродуктивного для стабильности, чем попытки опровергнуть такое суждение апелляциями к «науке» и к абстрактным истинам в том духе, к примеру, что ностальгия по общинному прошлому беспочвенна и утопична в свете «непреклонных законов» экономического развития или что коммунистическая уравниловка подрывает всякие надежды на прогресс, который, как известно науке, предлагает нечто ей прямо противоположное. Политика не знает абстрактных истин, и она никогда не строится «по науке». Если «непреклонные законы» не работают при данном раскладе политических сил и идеологий, то это означает, что

для данного расклада должны быть найдены другие законы, а не то, что данный расклад должен быть «подогнан» (кем? как?) под «непреклонные законы». Только в первом случае общество может стабилизироваться, и только оно будет справедливым. И задача интегративной идеологии — стимулировать его движение в этом направлении.

Для осуществления справедливости апелляция к «абстрактным истинам» вредна, когда они упаковываются не только в (квази-) научную, но и в юридическую форму. Особенно в том случае, когда под видом «абстрактной истины» выступает явная идеология, к тому же откровенно устаревшая. Такой случай мы имеем в Конституции РФ 1993 года. Его рассмотрение позволит более отчетливо понять, в чем суть коллизии интегративной идеологии — в данной ситуации в аспекте справедливости — и идеологии унификации и «абстрактных истин».

Характерной чертой конституции является ее фундаментальный индивидуализм, заимствованный по стилистике и смыслу из просветительских образцов XVIII века. Он выглядит по меньшей мере странно в документе конца XX века, особенно в сопоставлении с основными законами ведущих демократических государств, принятых в нашем столетии.

Статья 2 Конституции РФ провозглашает права и свободы человека высшей ценностью (причем в ст. 17, п. 2 они объявляются принадлежащими «каждому от рождения»), защита которых — «обязанность государства». Но права и обязанности не могут быть отделены друг от друга таким образом, чтобы права принадлежали одной из сторон, упомянутых в данной статье, а обязанности возлагались на другую. И на стороне человека и на стороне государства должны быть соответствующие комплексы прав и обязанностей. Единство прав и обязанностей прямо формулируется в конституциях современных демократических стран (см., например, гл. конституции Японии «Права и обязанности народа»), но совершенно игнорируется российской Конституцией.

Формулировка о «прирожденных правах» выглядит просто анекдотическим архаизмом в XX веке. **Права человека должны быть признаны неотчуждаемыми, но сами они, как и это признание, есть продукт истории и результат принадлежности человека к такой народной общности, которая благодаря своему демократическому и нравственному устроению реализует эти права.** Это и фиксируют в специфических формулировках конституции демократических государств (в ст. 12 той же конституции Японии записано, что права и свободы человека поддерживаются «постоянными усилиями народа»). Только при такой трактовке прав и свобод видна необходимость и неразрывность связи человека и народа, что является осью интегративной идеологии, но что чуждо индивидуализму Конституции РФ. В ней нет тех понятий, которые определяют нравственно-политические параметры современных конституций демократических государств, таких, как «общее благо», «общие задачи», «государственное сообщество» (Основной Закон ФРГ, ст. 14, п. 3; ст. 6, п. 2; глава -а), «солидарность» нации (преамбула конституции 1946 г. Франции, включенная в нынешнюю Конституцию), «общественная польза», «общие интересы» (конституция Италии, ст. 41, 42) и др.

Важно, что в конституциях западных «социальных государств» эти понятия не просто риторические фигуры, но регуляторы конкретных аспектов общественной жизни. Так, конституция Италии, провозглашая свободу частной хозяйственной инициативы, прямо говорит о том, что она «не может осуществляться в противоречии с общественной пользой или так, чтобы причинять ущерб безопасности, свободе или человеческому достоинству» (ст. 41). **Понимание возможности противоречия между частной инициативой и собственностью, с одной стороны, свободой и достоинством человека — с другой, есть стержень современного политического мышления, вопиюще отсутствующий в Конституции РФ. Но без такого понимания интегративная идеология невозможна.**

Современному мышлению ясно и то, что права и свободы, неподкрепленные фактическими условиями свободного развития человека, есть пустышка. Смысл «социального государства» в том и заключается, чтобы «устранять препятствия экономического и социального порядка, которые, фактически ограничивая свободу и равенство граждан, мешают полному развитию человеческой личности и эффективному участию всех трудящихся в политической, экономической и социальной организации страны» (конституция Италии, ст. 3). Без этого имеющиеся в нашей Конституции формулировки о «социальном государстве» оборачиваются лишь перечнем патронажных мер по отношению к «сырым» (см. Конституцию РФ, ст. 7, п. 1, 2) или пустыми декларациями о правах (прирожденных?) на «благоприятную окружающую среду» (ст. 42) или на «участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры» (ст. 44).

Вывод из сказанного один: если государство всерьез воспринимает интегративную идеологию, ему предстоит внести важные поправки к Конституции, причем и в ее общеполитической части, и в тех статьях, которые призваны регулировать практику экономических и социальных отношений.

Достоинство человека

Наконец еще одной важной стороной интегративной идеи может стать достоинство человека.

На первый взгляд достоинство человека воспринимается как своего рода пропагандистское клише или феномен, имеющий второстепенную социальную ценность на фоне равенства, свободы, справедливости и т. д. Однако фактически именно достоинство является тем жизненно необходимым ингредиентом, без которого невозможно создание современного стабильного и благополучного общества и государства. Не случайно поэтому прежде всего в США этой стороне жизни общества уделяется первостепенное значение.

Достоинство человека, с одной стороны, имеет политический аспект, способствуя своеобразной легитимации власти и существующих общественных отношений. С другой стороны, достоинство и высокая самооценка жизненно необходимы для психологической стороны жизни человека, без которых мир воспринимается в мрачном, деструктивном свете, а основные мотивации и потребности человека остаются нереализованными. Если человек не уверен в себе, он не ощущает собственного достоинства, понимает, что не пользуется уважением со стороны окружающих, у него постепенно начинают снижаться потребности, сужаться круг интересов, ему трудно общаться с другими людьми, он боится пойти на риск, он становится более подверженным алкоголизму и наркомании. Низкая самооценка и ощущение собственной униженности создают комплекс «маленького человека», разрушают нормальные семейные связи, ведут к восхищению насилием, бытовому хамству, нетерпимости к чужому мнению, отличному от собственного образа жизни. Но, что еще более важно в социальном аспекте, такой человек начинает осуждать и даже ненавидеть людей, достигших успеха. С этой точки зрения зависть — это всегда и везде антипод человеческого достоинства.

Кто-то может возразить: о каком достоинстве может идти речь, когда наши люди веками находились на положении подданных по отношению к власти, когда столько копий сломано вокруг «рабской психологии» россиян? И сегодня мы беспрестанно испытываем унижения от грубости продавцов или хамства начальников, от наглости приблатненных «нуворишей» и хронического безденежья. Но есть кое-что в нашем народе, что позволяет все же верить в его лучшую судьбу. Что-то все еще сохраняется внутри нас, что так и не удалось вытравить многолетними экспериментами по формированию «нового человека» (читай — по опрощению, пролетаризации и плебизации, если понимать под последним не социальное положение, а отчуждение и отказ от культуры и цивилизованности). Большинству из нас все еще бывает *стыдно* за властей предрекающих, когда они устраивают «разборки» в духе дворовой шпаны, нам все еще *неудобно* лишний раз попросить соседа об услуге, нам *трудно* отказать в милостыне старушке, нам *больно* видеть колонии брошенных собак. А стало быть, мы еще не безнадежны и глубинная мораль народа сохраняется вопреки всем попыткам привить «рациональный эгоизм» и «конкурентность» по отношению к другим.

Поэтому наш школьник в отличие от американского дает списывать своим одноклассникам, а не конкурирует с ними за первенство в классе. И вовсе не стремление к «показухе» (как это нередко воспринимается заезжими визитерами), а желание делиться лучшим заставляло нас даже в самые неблагоприятные годы бережливость дефицитную колбасу для гостей, а самим обходиться манной кашей. Да, и «на троих» соображаем в общем-то не только из-за отсутствия мелкой тары («Ведь я же, Зин, не пью один...»). Когда американец идет к психоаналитику, мы обращаемся к друзьям. Сколько осанн уже пропето в адрес наших кухонь как центров душевного общения и искренних признаний! Кстати, даже «новые русские» начинают свои «евроремонты» с кухни, инстинктивно чувствуя, что сердце дома именно там, а не в парадной гостиной. Мы еще не заменили разговор по душам на «small talk», легкий светский разговор. И это наше благо и отличие от других народов. А стало быть, и достоинство наше в чем-то другом, оно свое, не похожее на других. Если угодно, наше достоинство заключается в неприятии чужих моделей поведения и образов жизни и сохранении верности принципам, почерпнутым из великой русской классической литературы.

Наше достоинство — в особых душевных качествах, в теплых взаимоотношениях, в способности к доброте и сопереживанию, в тех качествах, по которым больше всего тоскуют уехавшие из страны. Их бы не потерять в погоне за «цивилизованностью»! Нам присущ уникальный, весьма специфический характер внутрисоциальных связей и, в частности, взаимоотношений индивида и коллектива, особый, более «открытый» стиль коммуникации. Такой тип ментальности не терпит чистого индивидуализма («каждый за себя»), но он не любит и формализации коллективизма (залы клубов и общественно-политических центров слишком часто пустуют, особенно в провинции). Именно поэтому на уровне большинства народа так трудно усваиваются новая этика успеха, новые нормы предпринимательской морали эпохи «первоначального накопления» (т. е. вседозволенности и беспредела), а вовсе не из-за органической неспособности наших сограждан работать и жить в соответствии с требованиями нынешнего этапа постиндустриальной революции. Иными словами, нас, россиян, объединяет то, в чем мы не похожи на других и без чего мы теряем себя. Эта в целом всегда эмоционально окрашенная и достаточно интимная связь с окружающими людьми отличает россиянина от западного человека, но она же показывает иной характер социализации и воспитания по сравнению и с восточными обществами, где личность в значительно большей мере растворена в коллективе и семейно-родственных связях. Для россиянина вхождение в коллектив и выход из него — это все же во многом вопрос индивидуального выбора и далеко не всегда данность, присущая ему от рождения. Вместе с тем эта особенность является важнейшей чертой, которая может превратиться в мощный интеграционный стимул в процессе поиска новой российской идентичности. Поддержка ее не требует серьезных затрат, но в условиях «дикого рынка» и определенного отчуждения людей друг от друга, связанного прежде всего с финансовыми трудностями и негарантированностью будущего, оказывается еще более необходимой, чем десять лет назад. Здесь можно говорить о переориентации городского строительства с открытых, продуваемых всеми ветрами пространств на уютные дворы, сооружение беседок и дворовых скамеек, т. е. «окультуривание пространства». Конечно, речь идет о чем-то большем, чем благоустройство поселений городского типа. Речь идет о развитии *неформализованных пространств межличностного общения*, из которого складываются бесчисленные ячейки «низового» гражданского общества, не только придающего эластичность ткани общественной жизни, но и, по существу, образующего ее основы. Алексис де Токвиль назвал это «малыми родинками», имея в виду те устойчивые «низовые» культурные формы, в которых отдельный человек с его особыми интересами и установками непосредственно социализируется в круге своего ближайшего общения, уже не сводимом только к семье.

Разумеется, становление и развитие «малых родин» так или иначе связано с решением макропроблем всего общества. Эффект такой заботы о «малых родинках», которая вполне по силам местным властям, может быть колоссальным, ибо русский человек традиционно обретал свое достоинство через уважение людей не столько даже благодаря своим заслугам перед обществом, сколько благодаря своим человеческим качествам: доброте, отзывчивости, совестливости прежде всего по отношению к соседям и коллегам. С этой точки зрения поддержка нашей «особости» содержит внушительный интеграционный потенциал.

Достоинство человека несводимо только к совокупности прав и свобод, «минимуму» материального достатка и т. п., хотя включает в себя и подразумевает эти элементы. Достоинство выражает тот смысл бытия, который обеспечивается его принадлежностью к коллективу и который проявляется как в самоуважении, так и в уважении со стороны других людей. Драматизм переходного периода в нашей стране (как показывают многие опросы общественного мнения) заключается отнюдь не только в материальных лишениях, неустроенности быта и т. д., но в первую очередь в ощущении бессмысленности жизни, невозможности уважать себя и то общество, членом которого является человек. Достоинство человека наконец — интегральная характеристика «качества жизни», взятая в аспекте культуры, духовности, а также связей общества и личности. Это понятие конкретизирует в отношении человека то, что означает Отечество в качестве «мы», и то, как «мы» можем быть вместе, т. е. справедливость. Корни идеи достоинства человека, так же, как и корни любви к Отечеству и веры в справедливость, уходят в глубь российской традиции, в ее гуманистическое ядро. Идея достоинства человека актуализирует эту традицию применительно к современным условиям.

Вместе с тем, и это, пожалуй, самое важное, достоинство, понимаемое в широком смысле как способность и возможность полной самореализации адекватно историческим обычаям и современным критериям, выступает важнейшим фактором интеграции общественных связей. Здесь можно выделить несколько аспектов проблемы.

Выше мы уже показали, что «особость» России может стать источником национальной гордости ее граждан, но отнюдь не в смысле противостояния всему остальному миру. Не секрет, что на протяжении длительного времени в сознании россиян великодержавность страны служила своего рода компенсацией за довольно низкий уровень жизни и отсутствие гарантированных прав человека. Поэтому распад СССР воспринимается многими крайне болезненно, ибо означает потерю некоей точки опоры, позволявшей сохранять свое человеческое и гражданское достоинство («Зато мы делаем ракеты...»). То, что на протяжении нескольких столетий Россия была субъектом мирового исторического процесса, не замыкалась в своем регионе, а мировая политика была естественным продолжением политики внутренней, придавало нашим соотечественникам ощущение непровинциальности, «незавидности», возможности говорить на равных с представителями практически любой, пусть даже технически лидирующей страны. Факт унижения страны как со стороны ее вчерашних союзников и сателлитов (особенно болезненно воспринимаемые), так и тех, кто считался равными противниками (стоит только постоять в очереди за визами в посольствах западных стран, чтобы убедиться в этом), воспринимается зачастую как личное оскорбление, способствуя депрессивному состоянию у одних и взрыву национально-патриотической фанаберии у других. Что и говорить, «за державу обидно», и обида эта глубоко личностна, так как мы все еще воспринимаем себя со страной как единое целое. Беспрецедентная кампания конца 80-х — начала 90-х гг. по самобичеванию страны и ее истории не только способствовала углублению негативного образа России за рубежом как некоего страшного гетто для ее жителей, стоящего вне рамок «нормальной цивилизации», страны, где царствуют бандитизм и жульничество на всех уровнях, но и спровоцировала возникновение и у самих россиян своего рода комплекса национальной неполноценности («страна дураков», «страна воров», «с нашим народом кашу не сварить» и т. д.). Вместе с тем народ наш отнюдь не глупее и не ленивее прочих, а может быть, и талантливее многих других, просто слишком долго от личности человека мало что зависело, а способности и деловитость оставались невостребованными. Поколения воспитывались на мудрости, построенной на принципе «не высовываться», держаться подальше от властей, предельно ограничивать потребности и желания и т. д. Так можно ли требовать, чтобы по сигналу «сверху» все в одночасье и стройными рядами маршировали в рынок, как совсем недавно на рытье «Котлована»? Да и жизненный опыт диктует не спешить, посмотреть: а вдруг ветер опять переменится?

У этой проблемы есть и еще одна — чисто теоретическая сторона. Взяв на вооружение либеральный проект реформирования российского общества, власть упустила из виду, что либерализм сам по себе не в состоянии найти адекватное решение вопроса о необходимости соотношения прав человека и прав народов. В сущности, западный либерализм никогда не ставил проблему реализации прав человека каждым гражданином в полном объеме (это иллюзия начинающих либеральных демократов), как правило, выдвигая на первый план какую-то более важную текущую задачу, совпадающую с политическими потребностями. Само противоречие между правами наций и правами человека было как бы выведено из общественно-политической дискуссии, отнесено на второй план, сверх того оно оказалось поставленным в зависимость от требований текущего исторического момента. Так, в 60—70-е годы либерализм под влиянием национально-освободительных движений в бывших колониях увлекся проблемами прав наций на самоопределение. В 80-е годы интеллектуальная мода на Западе повернулась лицом к проблемам прав человека. И подобно тому, как наши реформаторы первой «волны» подхватили монетаристские теории, привнесенные господствовавшим в то время неоконсерватизмом, западные интеллектуалы увлеклись проблемами прав человека, рассматривая наднациональную государственность как наследие прошлого, которое подлежит быстрой реконструкции и обновлению. При этом не было принято во внимание, что колебание идейного маятника на Западе не слишком сильно и всегда относительно, что-то выходит на первый план, надстраиваясь над прочной совокупностью либеральных ценностей, а мы каждый раз новейшее веяние воспринимаем как истину в последней инстанции, не терпящей альтернатив. И дело здесь, как представляется, не столько в «русском максимализме» (или грудь в крестах, или голова в кустах), сколько в односторонней образованности прежде всего гуманитарной интеллигенции и ее длительной искусственной изолированности от основных идейных потоков. Поэтому очень часто новейшие изыски в западном обществоведении воспринимаются без предшествующей традиции, отдельно от всего пласта, а стало быть, однобоко и поверхностно.

Большинство современных футурологов, пытаясь заглянуть в будущее, в постиндустриальное общество, приходят к выводу, что оно будет скорее не технократичным, уподобляющим человека машине и рассматривающим природу как средст-

во удовлетворения потребностей, а культуроцентричным, ориентирующимся главным образом на духовные факторы. В этом контексте для России, если только она сумеет сохранить свою духовность и не заменит ее вульгаризованным американизмом, открываются удивительные возможности. Нет необходимости пытаться догнать технически наиболее развитые страны, повторяя пройденный ими путь, ибо на это потребуются долгие века и снова чудовищные жертвы. И дело не только в том, что, как говорила Красная Королева Алисе в известной сказке, нужно бежать быстрее, если хочешь оставаться на месте. Но если не хочешь опоздать, то нужно бежать другой дорогой, избегая поворотов и тупиков. Для нас это означает, что духовному наследию России необходимо обеспечить не только преемственность, но и развитие, а стало быть, следует менять приоритеты. Здесь нужна целая система мер, способствующая повышению престижа интеллектуально-культурной деятельности, и перенос центра тяжести на прогресс образования и культуры в качестве одного из наиболее перспективных направлений в развитии страны. Такого рода изменение акцентов предполагает и восстановление ценности именно высококвалифицированного труда, тем более что, как показывают опросы, она имеет весьма глубокие корни в народном сознании: именно поэтому «легкие деньги» не приносят уважения и авторитета.

Но не все здесь так просто. И дело не только в отсутствии надлежащего финансирования. Скорее недостаточное финансирование этих сфер или выделение средств по «остаточному принципу» как на своего рода блажь или хобби — следствие низкой оценки, в том числе со стороны властей предрержащих, меритократических ценностей, так как слишком долго и настойчиво внедрялась мысль, что мастерство, профессионализм, ум, наконец, талант ниже «удачного» происхождения или формальной рабочей биографии как своего рода индульгенции за отсутствие образования или навыков. К сожалению, кадровая политика как на федеральном, так и местном уровне продолжает сплошь и рядом строиться на старых принципах. Некомпетентность тиражирует некомпетентность. Более того, все еще в ходу своеобразное чиновное чванство: «В твоём возрасте уже нужно не самому писать, а чтобы за тебя писали!» Как здесь не вспомнить Петра Великого, требовавшего, чтобы говорили не по-писаному, «дабы дурь каждого видна была». Трудно найти другой более тяжёлый способ унижения достоинства человека, чем назначение над мастером непрофессионального «выдвиженца». Именно в такой практике была заложена самая разрушительная мина под советскую систему, подорвавшая, по существу, ее интеллектуальную силу, особенно на уровне инстанций, принимающих государственные решения. Но модель оказалась поразительно живучей; и сегодня по-прежнему слишком часто приходится пожимать плечами: и откуда берутся такие руководители? Кто и по какому принципу их выдвигает? Что рядовой доцент весьма среднего вуза понимает в финансах или только что защитившийся кандидат наук с университетской скамьи без всякого опыта практической работы — в стратегии экономического развития? Так надо ли удивляться тому, что мы который год не можем выбраться из кризиса, а талантливые инженеры вынужденно превращаются в «челноков»? Доколе будут торжествовать «классово близкие» и «лично преданные»?

Один из крупнейших социологов нашего века, русский по происхождению, но высланный за пределы страны как «чуждый элемент» в 20-е годы Питирим Сорокин так описывал ситуацию в обществе после гражданской войны, когда от тягот жизни, по его мнению, значительно меньше страдали люди физически и морально дефективные: «В условиях зверской борьбы, лжи, обмана, беспринципности, морального цинизма они чувствовали себя великолепно, занимали высокие посты, зверствовали, мошенничали, меняли по мере надобности свои позиции и жили сытно и весело. Совсем иначе чувствовали себя элементы морально честные. Они не могли жульничать, воровать, злоупотреблять и насиловать. Поэтому они голодали и таяли биологически». Вот и сегодня тают.

Рассуждая о достоинстве, следует упомянуть и те черты в характере россиян, которые мешают реализации положительных качеств, содержат в себе изрядный негативный заряд.

Например, характерной чертой российской политической культуры является традиция двоемыслия. На протяжении длительного времени она питалась сочетанием христианской веры в ее православном варианте с мощными языческими славянскими обычаями, отнюдь не всегда официально санкционируемыми и поощряемыми официальной церковной ортодоксией и властью. В поздний советский период двоемыслие выражалось в разделении на «официальную» и приватную части жизни, когда публично провозглашаемые идеологические заклинания в обыденной жизни часто подменялись христианскими и традиционными нормами поведения и морали. Так личность защищала себя, но она одновременно привыкала жить по двум, часто противоречащим друг другу стандартам. Официальные инстанции тре-

бовали соблюдения некоторых ритуалов, вызывающих ощущение фальши и неискренности. Человека, которому только что объявили партийный выговор, друг, громче других критиковавший его на собрании, затем утешал: «Старик, ну ты сам понимаешь, я иначе не мог...» Прочитав лекцию о новой исторической общности — советском народе, кавказец-отец увещевает сына: «Только не вздумай жениться на русской!» Примеров этого можно привести множество. И изживаются подобные двойные стандарты долго и трудно. Преодоление традиции двоемыслия требует от властей высокого чувства такта, которое нередко им изменяет. Люди обычно не просто не верят, но и испытывают чувство стыда и униженности, когда вчерашние секретари горкомов и штатные атеисты крестятся в церкви и предают марксизм анафеме. Поддержка религии и идеологическая полемика требуют менее грубых методов и уж, во всяком случае, должны осуществляться более нейтральными людьми.

Еще одной негативной чертой российской политической культуры, во многом доставшей ей в наследство от времен Московской Руси, выступает азиатский способ управления, рудименты отношений «подданничества», выражающиеся в распространении низкопоклонства, льстивости по отношению к вышестоящим и хамстве — к подчиненным, чванстве, нетерпимости к чужому мнению, ощущение превосходства над другими за счет привилегий и т. д. Изживаются отношения такого рода чрезвычайно трудно, долго и в немалой степени зависят от уровня воспитания и культуры в обществе. После революции 1917 года «хорошие манеры» были объявлены проявлением буржуазности, при этом идейные борцы не поняли, что тем самым были уничтожены те самые нормы общественных связей, которые только и делают жизнь в обществе удобной и достойной и позволяют интегрировать его естественным, а не насильственным путем. Как представляется, высокие поведенческие стандарты в современной России необходимо восстанавливать с помощью школ, прессы, образцов и требований по месту работы и т. д. Без этого достоинство человека обеспечить невозможно.

Политическая культура россиян отличается также рядом негативных черт сохранившегося крестьянско-общинного мировоззрения — «круговой порукой» и склонностью к уравнительности, антисобственническим настроениям, во многом воспроизводившимся в модели «трудового коллектива» советского типа. Распространение городской культуры, а также развитие рыночных отношений постепенно размоют эти тенденции, никаких радикальных средств преодоления этих черт, по видимому, не существует. Однако опять же необходимо восстанавливать с помощью властей и учет этих факторов при формулировании политических решений как на федеральном, так и местном уровнях.

Иными словами, необходима целая система мер по совершенствованию нравов в России, тесно связанная с проблемой личного достоинства человека как основы процесса взаимного изменения социальных и индивидуально-личностных структур, ибо трансформация на уровне уклада общества связана с изменениями на уровне психологии человека и соответственно наоборот.

В данной статье мы наметили лишь основные черты возможной интегративной идеи, формирования и складывания общероссийского самосознания. Россия — один из миров в Мире, один, но оригинальный проект человечества. Возможно, мы находимся внутри, а не вне европейского проекта человечества, но мы особый, евразийский мир. Опыты Запада и Востока должны быть для нас уроками, а не образцами для подражания. Нам в равной мере должны быть чужды и имитаторство, и противопоставление себя другим. Мы особенные, но в открытом и диалогичном мире. Нам, как никому другому, важна терпимость к разным культурам, идеалам, конфессиям. Только так мы сможем совместить общечеловеческие и национальные ценности, любовь к стране с отказом от ксенофобии, демократию и государственность, уважение к себе с уважением к другим. Без этого идея возрождения России станет всего лишь очередной утопией.

«Человек есть испытатель боли...»

РЕЛИГИОЗНО–ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ
ПОЭЗИИ БРОДСКОГО И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Отличительная черта поэзии Иосифа Бродского — философичность, философское видение мира и «Я». Автор не фиксирует неповторимые ситуации, не стремится к лирическому самовыражению. Индивидуальная судьба поэта предстает одним из вариантов удела всякого человека. В единичных вещах Бродский открывает природу «вещи вообще». Эмоции лирического героя у Бродского — не спонтанные, прямые реакции на частные, конкретные события, а переживание собственного места в мире, в бытии. Это своеобразное философское чувство — глубоко личное и всеобщее одновременно.

Бродский эмоционально сдержан, аскетичен. Чувство у него часто соединено с отстраненным, холодно-отрешенным анализом. Предмет поэзии у автора «Части речи» и «Урании» — не только (и, может быть, не столько) реальность, окружающая человека, но и категории философского и религиозного сознания: «Я», душа, тело, Бог, время, пространство, вещь, смерть. Философское и религиозное измерения определяют отношения «Я» к миру у Бродского. Соучастное чтение стихотворений, сопереживание, постижение мира Бродского невозможны без понимания философского языка, кода поэта.

Отчужденность от мира и неприятие миропорядка, ощущение потерянности, абсолютного одиночества «Я», собственной инородности всему окружающему — вещам, обществу, государству, восприятие страданий как предназначения человека, как проявления невыразимого сверхрационального опыта, соединяющего с Богом, жажда встречи с Богом и ясное осознание ее невозможности — таковы повторяющиеся мотивы поэзии Иосифа Бродского. Отношение «Я» к бытию у Бродского напоминает мировидение экзистенциализма — философии, возвестившей о себе около ста пятидесяти лет назад в сочинениях датского пастора Сёрена Кьеркегора, но во многом определившей мысли и чувства человека середины нашего столетия.

Мысль о близости идеям экзистенциализма мотивов поэзии Бродского, трактовки им веры и отношений «Я» и Бога неоднократно высказывалась исследователями. При этом предметом пристального анализа было лишь одно стихотворение — «Разговор с небожителем» (1970). Вот как характеризует родственность религиозной темы стихотворения идеям С. Кьеркегора и Л. Шестова Дж. Нокс: «Следуя Кьеркегору, Шестов противопоставляет личное откровение знанию: человек не может получить исчерпывающие ответы на загадки бытия, следовательно, он должен принять свою судьбу на веру, в духе Авраама и Иова. Такова фундаментальная семантика образа голубя, который не возвращается в ковчег, и почты в один конец в «Разговоре с небожителем». Оба образа иллюстрируют взаимоотношения поэта с Главным собеседником. В диалоге со Всевышним ему ничего не остается, кроме как обращаться к Нему без надежды на ответ.

В главной теме «Разговора с небожителем» звучат экзистенциальные голоса Шестова и Кьеркегора. Как бы ни протестовал человек против боли и страдания, он в конце концов оставлен один на один с молчанием и неизбежностью того факта, что «боль — не нарушение правил», как сказано в стихотворении. Страдание и от-

чаяние в естественном порядке вещей, вопреки оптимистическим обещаниям счастья и материального благополучия, раздаваемым политиками»¹.

Интерпретация религиозно-философских мотивов в поэзии Бродского и в его статьи как экзистенциалистских и сопоставление их с идеями Кьеркегора и Шестова предложены также в диссертации Джейн Нокс «Сходные черты у Иосифа Бродского и у Осипа Мандельштама: культурные связи с прошлым» (Jane Elizabeth Knox. Iosif Brodskij's Affinity with Osip Mandel'stam: Cultural Links with the Past. Dissertation <...> for the Degree of Doctor of Philosophy. The University of Texas at Austin. August 1978, pp. 348—370). Мысль Бродского о страдании человека не как о наказании, не как о следствии его вины, но как об основе его существования, как о метафизическом законе и скептическое отношение Бродского к возможностям разума Дж. Нокс истолковывает как свидетельство родства поэта с экзистенциалистами. Однако она не принимает во внимание, что у Бродского можно найти не меньшее количество противоположных высказываний. Не случайно, за исключением стихотворения «Три часа в резервуаре», исследовательница не приводит ни одного примера отрицательной оценки поэтом рационального знания. Антитеза «философия — вера», «Афины — Иерусалим», присущая сочинениям Шестова, вовсе не определяет вопреки мнению Дж. Нокс всего существа философских мотивов Бродского.

Мнение об экзистенциалистской основе поэзии Бродского разделяет Юрий Кублановский: «В основном <...> Бродский вопрошает Всевышнего и ведет свою тяжбу с Промыслом, минуя посредников: предание, Писание, Церковь. Это Иов, взывающий смысла (только подчеркнуто неаффектированно) на весьма прекрасных обломках мира. А те, кто пытается на него за то сетовать, невольно попадают в положение друзей Иова, чьи советы и увещания — мимо цели. (Влияние на Бродского Кьеркегора и Льва Шестова можно проследить на протяжении всего творческого пути стихотворца.)»². Об «экзистенциальном сознании» Бродского, последовательно подчеркивающего неадекватность «логических» рамок жизни, пишет также и Алексей Лосев, анализируя четвертую часть стихотворения «Посвящается Ялте»³.

Близость смысла стихотворений Бродского идеям Кьеркегора и Шестова, однако, не исключает существенных различий. Как показала В. Полухина, в отличие от обоих экзистенциальных философов Бродский не утверждает веру в Бога как сверхрациональное осмысление ситуации абсурда бытия. «В случае Бродского его склонность идти до крайних пределов в сомнениях, вопросах и оценках не оставляет убежища (leaves no room) никаким исключениям. В его поэзии разум терроризирует душу, чувства и язык, заставляя последний превзойти самого себя»⁴. Все вопросы, равно как и ответы на них, скрыты в языке, который и оказывается высшей ценностью для поэта. В отличие от Кьеркегора и особенно Шестова, резко противопоставлявших разум вере, Бродский, замечает В. Полухина, не сомневается в правах рационального знания, считая его не в меньшей мере, чем веру, способом постижения мира⁵.

Эти наблюдения нуждаются в уточнениях. Строки из «Разговора с небожителем»

В Ковчег птенец
не возвратившись доказует то, что
вся вера есть не более, чем почта
в один конец⁶

¹ Джейн Нокс. Иерархия других в поэзии Бродского. В кн.: Поэтика Иосифа Бродского. N. Y., 1986, с. 166.

² Юрий Кублановский. Поэзия нового измерения. «Новый мир», 1991, № 2, с. 244.

³ А. Лосев. Иосиф Бродский: посвящается логике. «Вестник русского христианского движения», 1978, т. 4, № 127, с. 125.

⁴ Valentina Polukhina. Joseph Brodsky: A poet for our time. Cambridge — N. Y. — Port-Chester — Melbourne — Sydney, 1989, p. 267. Ср. также мнение другого знатока и ценителя поэзии Бродского: «Поставленное в ряд с «абсурдом», оно (понятие «сумма страданий», обнаруживаемое автором статьи вместе с понятием «абсурд» в «Разговоре с небожителем»). — А. Р.) указывает на экзистенциалистический характер мировоззрения Бродского, в первую очередь — на его связь с Кьеркегором». См.: Алексей Лосев. Ниоткуда с любовью... Заметки о стихах Иосифа Бродского. «Континент», 1977, № 14, с. 313.

⁵ Valentina Polukhina. Joseph Brodsky. P. 281.

⁶ Иосиф Бродский. Сочинения в четырех томах. Т. II. СПб., 1992, с. 210. Далее стихотворения, ряд эссе и «Нобелевская лекция» Бродского цитируются по этому изданию с указанием в скобках тома римскими цифрами и страницы — арабскими.

— свидетельствуют о значительном различии в понимании веры поэтом и религиозными философами. Если и для Кьеркегора, и для Шестова акт веры заключал в себе ответ Бога (вознаграждение праведного Иова, чью историю оба философа рассматривали как символическую экзистенциальную ситуацию), то для Бродского ответ невозможен, исключен. Вера описывается отстраненно, а не участно, с позиций рассудка («доказует»). Она не оказывается подлинным выходом из одиночества и отчужденности. Ключевые для стихотворения Бродского категории «страдание» и «боль», безусловно, соотносятся со «страхом» и «страданием», например, у Кьеркегора (в трактате-эссе «Страх и трепет» и т. д.). Однако переживание страдания, которое осознано поэтом как объективный закон бытия («...боль — не нарушение правил: /страданье есть / способность тел, /и человек есть испытатель боли» (II; 210)), не представлено в стихотворении условием сверхрациональной веры. Мотив благодарности за переживаемые беды и невзгоды, встречающийся и в «Разговоре с небожителем», и, например, в значительно более позднем «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» (1980), имеет истоки прежде всего в христианской религии, но не в экзистенциальной философии. У Шестова ключевым словом, определяющим отношение «Я» к бытию, является не смирение, но коренящееся в покорности и перерастающее ее дерзновение: «Дерзновение не случайный грех человека, а его великая правда. И люди, возмещавшие смирение, были по своим внутренним запросам наиболее дерзновенными людьми. Смирение было для них только способом, приемом борьбы за свое право. <...> Последний страшный суд не «здесь». Здесь одолели «идеи», «сознание вообще» и те люди, которые прославляли «общее» и провозглашали его богом. Но «там» — там дерзавшие и разбитые будут услышаны» («На весах Иова»).

«Благодарность» за страдания у Бродского, однако, не имеет адресата (лирический герой Бродского не обращает ее непосредственно к Богу), что придает ей оттенок внутренней иронии, заставляя видеть в благодарении за выпавшие бедствия не только выражение непосредственного чувства «Я», но и формализованное этикетное высказывание, литературное «общее место».

Бродского на первый взгляд сближает с экзистенциальной философией мотив внерационального оправдания страданий, в «Разговоре с небожителем» облеченный в амбивалентную утвердительно-отрицающую форму, но в ряде других текстов выраженный вполне однозначно. Может быть, самый впечатляющий пример — речь Бродского «The condition we call exile» («Условие, которое мы зовем изгнанием») в декабре 1987 года на конференции, посвященной литературе изгнания. «Если есть что-либо хорошее в изгнании, это — что оно учит смирению (humility)», — замечает Бродский. И добавляет: «Другая истина — в том, что изгнание — метафизическое состояние. В конце концов оно имеет очень устойчивое, очень ясное метафизическое измерение, и игнорировать его или увильнуть от него — значит обманывать себя в смысле того, что с тобой произошло, навечно обречь себя на неизбежный конец, на роль оцепеневшей бессознательной жертвы»⁷.

Понимание страданий как блага, несущего человеку мистический опыт богообщения, конечно, характерно для христианства. В религиозной экзистенциальной философии страдание может мыслиться и как нечто внешнее по отношению к человеку, как вызов Ничто, небытия. (У Кьеркегора, впрочем, присутствует именно христианская идея приятия выпадающих на долю человека мучений и горестей.) «Смирение» (humility) — ценностная категория именно христианского сознания (слово «humilitas» в классической латыни имело прежде всего негативный смысл, означая «униженность», «раболепие»). Однако отношение к страданию у Бродского в равной мере соотносится с постулатом стоической философии, учащей быть невозмутимым и стойким перед лицом бедствий. Не случайно эссе Бродского «Homage to Marcus Aurelius» («Клятва верности Марку Аврелию», 1994) завершается цитатами из «Размышлений» императора-стоика, среди которых приведена и такая: «О страдании, если оно невыносимо, то смерть не преминет скоро положить ему конец, если же оно длительно, то его можно стерпеть. Душа сохраняет свой мир силою убеждения, и руководящее начало не становится хуже. Члены же, пораженные

⁷ Joseph Brodsky. The Condition We Call Exile. Renaissance and Modern Studies. University of Nottingham. Vol. 34, 1991. Writing in Exile. P. 3. Изгнание понимается Бродским как экзистенциальное состояние, напоминающее страдание и страх в трактовке экзистенциализма, ведущее к прорыву в сверхрациональное, к высшей свободе и смыслу. «Возможно, изгнание — естественное состояние поэта, — замечает Бродский. — Я чувствую своего рода великую привилегию в совпадении экзистенциальных условий моей жизни и моих занятий» (Giovanni Buttafava. Interview with Joseph Brodsky). «L'Espresso». 1987, December, Vol. 6, p. 156.

страданием, пусть заявляют об этом, если могут»⁸. Хотя стоическое представление о Разуме как основе всех вещей Бродскому чуждо, этический постулат стоицизма о спокойномприятии страданий как достоинстве мыслящего человека ему, безусловно, близок. В эссе «Homage to Marcus Aurelius» «Размышления» Аврелия с их личной этической установкой противопоставлены «учебнику экзистенциализма»⁹. Выражение «учебник экзистенциализма» — своеобразный оксюморон, ибо экзистенциальная философия по определению не может быть систематизирована и изложена в форме «учебника». Бродский подчеркивает, что индивидуальное, неповторимое тиражируется в «массовом» сознании XX века, делаящем экзистенциализм предметом моды и ищущем экзистенциальные идеи в сочинении античного мыслителя.

Сходны у Бродского, с одной стороны, и у Кьеркегора и Шестова, с другой, именно ключевые контрасты. Вера и разум у Бродского действительно не противопоставлены, но контрастную пару образуют их своеобразные синонимы: феноменальный, материальный мир и сверхреальное бытие Бога и высшей природы.

Здесь, на земле,
от нежности до умоисступленья
все формы жизни есть приспособленье.
И в том числе
взгляд в потолок
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
в котором нас разыскивает, скажем,
один стрелок.

Как на сопле,
все виснет на крюках своих вопросов,
как вор трамвайный, вор или философ —
здесь, на земле,
из всех углов
несет, как рыбой, с одесной и с левой
слинием с природой или с девой
и башней слов!

Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюдов
так нахлебался варева минут
и римских литер,
что в жадный слух,
который прежде не был привередлив,
не входят щебет или шум деревьев —
я нынче глух (II; 211).

Земная жизнь подчинена рациональным законам, ограничивающим и стесняющим свободу и лишенным экзистенциального оправдания. (Этот мотив находит выражение на уровне грамматики текста, в котором отсутствует грамматически обязательное дополнение: «приспособленье к чему-либо»; наделение дополнительным смыслом грамматических связей — вообще один из отличающих Бродского приемов.) Бог осознается земным умом как нечто обезличенное и едва ли не сотворенное человеком — наподобие пейзажа, имитирующего природу. Бог воспринимается этим сознанием как начало, которое враждебно «Я»: «один стрелок» в свете перекличек с более ранним стихотворением Бродского «Речь о пролитом молоке» (1967) предстает метафорическим именем Бога:

Я себя ощущаю мишенью в тире,
вздрагиваю при малейшем стуке.

⁸ Цитируется сокращенная русская версия эссе (авторизованный перевод с английского Е. Касаткиной), в этом тексте цитата из «Размышлений» Марка Аврелия приведена в переводе С. Роговина по кн.: Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. М., 1914. См.: Иосиф Бродский. Памяти Марка Аврелия. «Иностранная литература», 1995, № 7, с. 267. Пространственный английский вариант напечатан в кн.: Artes. An International Reader of Literature, Art and Music, Editors Gunnar Harding and Bengdt Jangfeldt, 1994, Vol. 1, pp. 39—55. В статье Бродского «Прислушиваясь к скуке» («Listening to boredom») силой, диктующей человеку смирение, скромность (humility), названо время («Harper's Magazine», 1995, March, Vol. 290, № 1738, p. 11). Такое толкование не имеет ничего общего с христианской интерпретацией смирения.

⁹ Иосиф Бродский. Памяти Марка Аврелия. С. 265.

Я закрыл парадное на засов, но
ночь в меня целит рогами Овна,
словно Амур из лука, словно
Сталин в XVII съезд из «тулки».

(«Речь о пролитом молоке». II; 36)

Зодиакальный Овен в стихотворении Бродского — поэтический синоним Агнца (ягненка) — символа Христа; не случайно в строфе, непосредственно предшествующей цитированным строкам, описывается звездное небо-«иконостас» со светилами-«иконами». В «Речи о пролитом молоке» неоднократно встречаются рождественские реалии, соотносящие это стихотворение с другими произведениями Бродского, в которых воплощены религиозные мотивы.

Христологическая символика в «Разговоре с небожителем» приобретает негативное дополнительное значение. Таков образ рыбы, традиционно обозначающей Христа. Неоднозначен эпитет Бога — «дух-исцелитель», как бы замещающий два других слова, ожидаемые в сочетании со словом «дух»: «искуситель» (определение Сатаны) и «утешитель» (обозначение Святого Духа).

Отчуждают, отгораживают «Я» от высшей реальности и время («варево минут»), и язык. Язык, безусловно, для Бродского основная ценность. Неизменно повторяемая поэтом мысль о языке как высшей творящей силе, автономной от субъекта речи, от человека, и о стихотворении как порождении не личности, записывающей текст, но самого языка, является не только своеобразным отзвуком античных философских теорий логоса и идей-эйдосов (первообразов, прообразов вещей), а также и христианского учения о Логосе, ставшем плотью. Представление Бродского о языке соотносится с идеями мыслителей и лингвистов XX века об автономии языка, обладающего собственными законами развития и порождения. Напомним мысль М. Хайдеггера о языке как активном начале, осмысляющем бытие и наделяющем вещи предикатом, признаком существования — как пример можно упомянуть доклады Хайдеггера «Путь к языку» и «Слово» (другое название — «Поэзия и мысль»).

Отношение «Я» к слову в поэзии Бродского двойственно: слово одновременно и единственная возможность реализации лирического героя в мире, и надличностная сила, неподвластная «Я», ставящая преграды между ним и реальностью. Не случайно появление в «Разговоре с небожителем» образов клонящейся Пизанской башни, которой уподоблен лирический герой-поэт, и вавилонской башни слов. Язык и слово у Бродского подобны разуму в философии Кьеркегора и особенно Шестова. Слово, отчужденное от субъекта речи, обезличенное и способное лгать, изменять смысл, противопоставлено в «Разговоре с небожителем» непосредственной, вне- и дословесной информации, содержащейся в «языке» природы — в птичьем щебете или шуме деревьев. В противопоставлении природе все искусственное, сделанное (а язык как система знаков также искусствен) наделяется негативной характеристикой:

И за окном
Толпа деревьев в деревянной раме,
как легкие на школьной диаграмме,
объята сном (II; 213).

Попадая в «пространство культуры», увиденные в окне-«картине» деревья развоплощаются, дематериализуются, лишаются признаков жизни. Сравнение деревьев с легкими внешне подчеркивает их жизненность, одушевленность (способность дышать), но, по существу, приравнивает живое к условному знаку, схеме — к изображению органов дыхания на диаграмме. Деревья в окне в «Разговоре с небожителем» контрастно соотносятся с деревьями в пастернаковском стихотворении «На Страстной», предстоящими Богу в молитвенном преклонении и удивлении («Разговор с небожителем» также приурочен к Страстной неделе, но мотива воскресения у Бродского нет).

В относительно раннем творчестве Бродского, в 1960 — самом начале 1970-х годов, существа и предметы природного мира противопоставлены, с одной стороны, мертвым, безгласным вещам, сделанным человеком, копируемым, тиражируемым, и, с другой стороны, слову, которое у Бродского всегда предметно, материально: вспомним мотив материализации слова в цикле «Часть речи» (1975—1976) и в ряде более поздних стихотворений, составивших книгу «Урания» (1987). Предмет природного мира совмещает в себе физическую бытийность, реальность вещи и смысл

слова. Наиболее очевидный и значимый случай — описание куста в поэме «Авраам и Исаак» (1963). Куст — и растение, и символ души, и человеческого тела, и хранитель влаги жизни, и свеча-жертва, приносимая Богу, ветхозаветная купина неопалимая — прообраз крестной жертвы Христа. Как уже указывали исследователи творчества Бродского, куст у Бродского восходит к диптиху (циклу из двух стихотворений) Марины Цветаевой «Куст». Родство куста и креста заложено уже у Цветаевой: «полная чаша куста» в первом из стихотворений диптиха отсылает к символу литургической чаши; во втором стихотворении куст предстает воплощением глубинного бытийного смысла, подобно кусту в поэме Бродского «Авраам и Исаак».

Бродский в эссе «Поэт и проза» (1979) сближал мотивы поэзии Цветаевой с философией Льва Шестова, который посвятил многие страницы своих сочинений истории жертвоприношения Исаака.

Смысл поэмы Бродского неоднократно был предметом пристального анализа: в книге Михаила Крепса «О поэзии Иосифа Бродского» («Ann Arbor», 1984, сс. 158—177, глава «Нож и доска»), в статьях Зеева Бар-Селлы «Страх и трепет (из книги *Иосиф Бродский. Опыты чтения*)» (журнал «Двадцать два», 1985, № 41, сс. 202—213) и Виктора Куллэ «Парадоксы восприятия (Бродский в критике Зеева Бар-Селлы)» (*Structure and Tradition in Russian Society. Slavica Helsingiensia-14. Helsinki, 1994, pp. 71—77*). Недостатком всех трех интерпретаций является установка на однозначное (аллегорическое) прочтение символики «Авраама и Исаака», игнорирование внутренней смысловой противоречивости образов Бродского, которые могут совмещать в себе контрастирующие значения. Однозначность толкований в наибольшей мере свойственна Зееву Бар-Селле, который склонен видеть в поэме прежде всего завуалированное повествование о судьбе еврейского народа; впрочем, и Михаил Крепс видит в русификации Бродским имен Авраама и Исаака (Абрам и Исак) отсылку к судьбе еврейства в Советском Союзе, а в образе сгоревшего куста — символ страданий евреев в нашем столетии (такой смысл в образе куста у Бродского присутствует, но, бесспорно, не является основным). Доску Михаил Крепс однозначно истолковывает как иносказательное обозначение жертвы — Исаака, а ладонь — как знак отца, Авраама. Виктор Куллэ интерпретирует воду как символ времени и свободы, а вино — как символ Христа и церкви. Между тем вода в поэме в равной мере означает и божественную энергию, нисходящую с неба в мир и таящуюся в земле в отчуждении от первоисточка, и вечность, противостоящую человеческому «Я» (антитеза «море — свеча» в финале поэмы). Вода и вино, которые несут с собою Исаак и Авраам, контрастно соотносятся с евангельской историей о претворении Христом воды в вино на браке в Кане Галилейской: мир героев поэмы как бы ждет чуда, которое не наступает, но угадывается в грядущем. Виктор Куллэ совершенно справедливо видит в событиях поэмы прообразы — предвестия рождения и крестной жертвы Христа. Однако смысл поэмы заключается не в трактовке жертвоприношения Исаака как прообраза жертвы Христа, но в представлении жертвоприношения Исаака постоянным событием: жизнь в экзистенциальном горизонте осознается как вечная жертва (после явления Ангела шествие Авраама и Исаака продолжается, и вновь Авраам торопит его, а Исаак медлит; и именно после повеления Ангела Аврааму остановить занесенный над сыном нож описывается борьба ножа и доски, совмещающей в себе природное и рукотворное начала). Не случаен мотив бесконечности (бесконечного странствия и бесконечного повторения?) в финале поэмы. Русификация имен Авраама и Исаака и призвана подчеркнуть вечность, внеисторичность и неизменность экзистенциальной жертвы человека.

Куст, как и другие образы поэмы, символичен. Это своеобразный связующий образ в произведении. В нем соединены предметное и смысловое, вещественное и духовное, словесное. Бродский наделяет значением каждую букву слова «куст» и одновременно подчеркивает сходство их начертаний и облика растения:

Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь,
а «С» на нем лежит, как в путях агнец.
Так вот что КУСТ: К, У и С, и Т.
Порывы ветра резко ветви крепят
во все концы, но встреча им в кресте,
где буква «Т» все пять одна заменит (I; 274).

Дерево у раннего Бродского является своеобразным индивидуальным религиозным символом устремленности к Небу и связи небесного и земного миров:

Друзья мои, вот улица и дверь
 в мой красный дом, вот шорох листьев мелких
 на площади, где дерево и церковь
 для тех, кто верит Господу теперь.
 («Гость», 1961. I; 57)

В поэзии же Бродского восьмидесятых и девяностых годов предметы природы сведены к абстрактным формам и к первоэлементам материи:

Цветы! Наконец вы дома. В вашем лишенном фальши
 будущем, в пресном окне пузатых
 ваз, где в пору краснеть, потому что дальше
 только распад молекул...

(«Цветы», 1993. III; 264)

Природный мир неодушевлен, он некое собрание неподвижных вещей, в круг которых замкнут человек¹⁰. Мир как бы «недосотворен», создан, но не одухотворен дыханием, присутствием Бога; остался первозданной глиной:

Голубой саксонский лес.
 Снега битого фарфор.
 Мир бесцветен, мир белес,
 точно извести раствор.
 («В горах», 1984. III; 83)

Восприятие материи как неодушевленного, мертвого, косного начала связано с представлением об отсутствии Творца в творении, о чужеродности Бога природе. Этот мотив поэзии Бродского роднит его с Иннокентием Анненским, в лирике которого природное обычно приравнивается к рукотворному, вещественному: снег обозначается как «налипшая вата» («В вагоне»), небесный свод назван «картонно-синим» («Спутнице»). Обезличенные вещи противопоставлены в поэзии Анненского, как и у Бродского, существованию «Я»:

Уничтожиться, канув
 В этот омут безликий,
 Прямо в одурь диванов,
 В полосатые тики.
 («Тоска вокзала»)

Отчуждение от вещественной действительности в поэзии Бродского находит соответствие в экзистенциализме. Вот как характеризует отношения «Я» и внешней реальности близкий экзистенциализму польский поэт Чеслав Милош, творчество которого оказало несомненное влияние на автора «Разговора с небожителем»: «Что желает для самого себя существо, именуемое «Я»? Оно желает быть. Что за требование! И все? Уже с детства, однако, оно начинает открывать, что это требование, пожалуй, чрезмерно. Вещи ведут себя со свойственным им безразличием и проявляют мало интереса к этому столь важному «Я». Стена тверда; если о нее стукнешься, испытываешь боль; огонь обжигает пальцы; если выронить стакан, он разбивается вдребезги. С этого начинается долгое обучение уважению к силе, находящейся «вовне» и контрастирующей с хрупкостью «Я». Более того, то, что «внутри», постоянно теряет присущие ему свойства. Его импульсы, его желания, его страсти не отличаются от таковых же, присущих другим особям рода человеческого. Можно без преувеличения сказать, что «Я» теряет свое тело в зеркале: оно видит существо рождающееся, растущее, подверженное разрушительному воздействию времени и долженствующее умереть. Когда врач вам говорит, что вы умрете от такой-то болезни, вы всего лишь «случай», т. е. присутствуете в статистике и вам про-

¹⁰ Анализу противопоставления «человек — вещь» у Бродского посвящена часть третьей главы «Words devouring things» («Слова, пожирающие вещи») в книге Валентины Полухиной «Joseph Brodsky». В. Полухина прослеживает постоянную противопоставленность слова и вещи в стихотворениях Бродского. В метафорах, построенных на принципе отождествления, человек и вещь обнаруживают сходство, в концептуальном плане, с точки зрения вечности, человек и вещь неразличимы (р. 152). В этой же главе исследуется триада «человек — слово — вещь» (превращение слова в парадоксальный лишенный обозначающего знак, превращение слова в вещь, превращение человека в слово или его элемент; тождество языка и мира).

сто не повезло: вы оказались одним из определенного числа ежегодно регистрируемых случаев»¹¹.

Слова Милоша о «безразличии вещей» находят почти точное соответствие в стихотворении Бродского «Натюрморт» (1971):

Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них — и внутри нутра. (II; 271)

Если в «Натюрморте» вещь противопоставлена «миру слов» как лишенная голоса и смысла, то в диалоге из более раннего сочинения Бродского, поэмы «Горбунов и Горчаков» (1968), содержится мотив поглощения вещей словами:

«Вещь, имя получившая, тотчас
становится немедля частью речи».

.....
«О, это все становится Содомом
слов алчущих! Откуда их права?»

.....
«Как быстро распухает голова
словами, пожирающими вещи!»

.....
«И нет непроницаемой покровы,
столь полно поглотившего предмет
и более щемящего, как слово».
«Но ежели взглянуть со стороны,
то можно, в общем, сделать замечанье:
и слово — вещь. Тогда мы спасены!»
«Тогда и начинается молчанье». (II; 125—127)

Представление о поглощении предметов словами, по-видимому, восходит к философским теориям (прежде всего к учению Платона), согласно которым материальные объекты — несовершенные подобию, отражения вечных идей-понятий¹². Слово отгораживает человека от внешней реальности и от Бога, обрекает на молчание. Такая трактовка слова как основы отчуждения характерна для Шестова.

Мысль Бродского о слове как источнике бытия вещей находит соответствие и в современной философии: «Где не хватает слова, там нет вещи. Лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием» (М. Хайдеггер. Слово. Перевод В. В. Библихина). (Напомню, что основой для размышлений о слове, вещи и бытии в этой статье Хайдеггеру послужил поэтический текст — стихотворение Штефана Георге «Слово», а завершается статья Хайдеггера высказываниями о родстве мысли и поэзии, несомненно, перекликающимися с установкой Бродского на поэтическое истолкование философских категорий.) Противопоставленность человеческого и вещественного у Бродского соотносится также с антитезой «человек — предмет» у Хайдеггера в докладе «Вещь»: «предмет» осознается человеком (в отличие от «вещи») как нечто сделанное, реализующее абстрактную схему и разложимое на составляющие элементы (пафос Хайдеггера направлен на преодоление этой антитезы). Отличительный для Бродского мотив непреодолимой отчужденности «Я» от вещей соответствует восприятию Г. Гадамером отношения человека и вещи в со-

¹¹ Чеслав Милош. Шестов, или О чистоте отчаяния (1973. Перевод с фр. С. Н. Муравьева). Лев Шестов. Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М., 1992, сс. IV—V. Внутреннее родство собственного творчества и философской позиции поэзии Бродского отмечал сам Милош. «Он мне близок еще и потому, что мы очень чтим одного философа — Льва Шестова. Мне очень нравится то, что Шестов сказал о русской традиции социального оптимизма у Толстого, о вере, что по мере прогресса человек станет лучше. И Шестов, и Бродский выступают против этой традиции». См.: Чеслав Милош. Гигантское здание странной архитектуры. 6 октября 1990, Лондон (интервью Валентине Полухиной). «Литературное обозрение», 1996, № 3, с. 125.

¹² См. об этом: Андрей Ранчин. Философская традиция Иосифа Бродского. «Литературное обозрение», 1993, № 3/4, сс. 3—11.

временном мире: «Мы живем в новом промышленном мире. Этот мир не только вытеснил зримые формы ритуала и культа на край нашего бытия, он, кроме того, разрушил и самую вещь в ее существе <...> Вещей устойчивого обихода вокруг нас уже не существует. Каждая стала деталью <...> В нашем обращении с ними никакого опыта вещи мы не получаем. Ничто в них не становится нам близким, не допускающим замены, в них ни капельки жизни, никакой исторической ценности» (перевод В. В. Бибихина).

Противопоставление «слово — вещь» в «Натюрморте» и его снятие в «Горбунове и Горчакове» не свидетельствуют об эволюции «поэтической философии» Бродского: сосуществование взаимоисключающих мотивов, высказываний — особенность его поэтики, свидетельствующая о неприятии любого однозначного взгляда и тем более — жесткой системы взглядов или теории. Антиномичность, соединение взаимоисключающих суждений как кардинальный принцип поэтики Бродского особенно ярко проявились в английском стихотворении «Slave, come to my service» («Раб, приди и служи мне». 1987. III; 387—390) — переложении шумерского текста, в котором высказываются противоположные суждения о смерти, женщине, власти и смысле бытия, причем весь текст может быть истолкован и как философское сочинение, и как шутка одновременно.

«Недостаток всякой, даже совершенной, системы состоит в том, что она — система. То есть в том, что ей, по определению, ради своего существования приходится нечто исключать, рассматривать нечто как чуждое и постольку, поскольку это возможно, приравнивать это чуждое к несуществующему», — замечает Бродский в эссе «Путешествие в Стамбул» (1985. IV; 147)¹³.

Отрицание Бродским интеллектуальных систем находит многочисленные аналогии в философии XX столетия (упомяну, к примеру, книгу высоко ценимого по этому Карла-Раймунда Поппера «The open society and its enemies» — «Открытое общество и его враги»). Но едва ли не самыми непримиримыми врагами системности были экзистенциалисты, в прошлом веке — еще Кьеркегор, замечавший в предисловии к своему сочинению «Страх и трепет»: «Нет, это не система, это не имеет ни малейшего сходства с системой».

Неприятие системности в идеях, однозначности во мнениях, конечно, сближает Бродского с экзистенциалистами и, по-видимому, во многом навеяно их чтением. Так, в «Заметке о Соловьеве» (1971) — критическом комментарии к статье Владимира Соловьева «Судьба Пушкина» — Бродский противопоставляет рационально-одностороннему подходу философа, основанному на идее гармонии и блага, своеобразное оправдание страдания, называя символическое для Кьеркегора и Шестова имя ветхозаветного праведника-страдальца Иова. Негативно, даже, может быть, неприязненно поэт называет автора «Судьбы Пушкина» «энциклопедистом», подчеркивая стремление Соловьева к жесткой систематизации философского знания (у Кьеркегора своеобразным знаком-меткой отвергаемого рационализма стало имя Гегеля, у Шестова — понятие «разум»). Полемизируя с утверждением Соловьева о невозможности создания «светлых» произведений Пушкиным, если бы он убил на поединке Дантеса, Бродский пишет: «А что если жизненная катастрофа дала бы толчок к созданию «темных»? Тех темных, которые возникли в нашем богатом жизненными катастрофами столетии? В том-то и дело, что христианский мыслитель был сыном своего века, последнего века, рассчитанного на «светлые» произведения века, отвергнувшего или — скорее всего — пропустившего при чтении слова Иова «ибо человек рождается на страдание, чтобы, как искры, взлетать вверх». Как знать, не стал бы наш первый поэт новым Иовом или поэтом отчаяния, поэтом абсурда — следующей ступени отчаяния? Не пришел ли бы и он к шекспировской мысли, что «готовность» — это все, т. е. готовность встретить, принять все, что преподносит тебе судьба? <...>

Эти домыслы возникли только в результате приговора нашего христианского мыслителя, гласящего, что «...никакими сокровищами он больше не мог обогатить нашу словесность». В общем, жизнь, отдаваемая на суд энциклопедиста, «должна

¹³ Х. Бенедикт, называя отрицание Бродским «правил, ярлыков, систем» отличительной чертой его поэзии и поведения, приводит красноречивое высказывание Бродского, отрицающего традиционные критерии идентификации человека — расу, веру, национальность и приверженного лишь одному — честен или бесчестен оцениваемый человек: Helen Benedict. Flight from Predictability: Joseph Brodsky. «The Antioch Review». 1985, Winter, Vol. 43(1), p. 21. (Название статьи Хелен Бенедикт можно перевести как «Бегство от предсказуемости», это аллюзия на английский вариант эссе «Путешествие в Стамбул» — «Flight from Byzantium»; Бродский переводил заглавие своего эссе как «Бегство из Византии».)

быть короткой. Или не должна быть жизнью поэта»¹⁴. В качестве комментария к этим строкам замечу, что упоминание рядом имен Иова и Шекспира, возможно, свидетельствует о знакомстве Бродского с книгой Шестова «Шекспир и его критик Брандес» (1898), в которой сочинения английского драматурга подверглись интерпретации с точки зрения экзистенциальной философии.

Поэт истолковывается Бродским в эссе о статье Соловьева как особенный человек, изначально чуждый окружению: «Коротко говоря, человек, создавший мир в себе и носящий его, рано или поздно становится инородным телом в той среде, где он обитает. И на него начинают действовать все физические законы: сжатия, вытеснения, уничтожения»¹⁵.

Отчужденность «Я» от мира и других у Бродского генетически восходит к романтическому противопоставлению личности и мира, хотя, как справедливо отметил М. Крепс, у автора «Части речи» и «Новых стансов к Августе» романтический контраст осложнен «экзистенциалистским» отчуждением «Я» от самого себя¹⁶.

Едва ли стоит сомневаться в значимости романтической антитезы для Бродского, хотя сам поэт, описывая ситуацию взаимонепонимания между творцом и читателями в интервью Дж. Глэду, делает оговорку: «У Александра Сергеевича есть такая фраза: «Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда ведет тебя свободный ум». В общем, при всей ее романтической дикции в этой фразе колоссальное здоровое зерно»¹⁷. В этой же связи можно напомнить и о характеристике Бродского как романтика Александром Кушнером¹⁸, и о цитатах из Лермонтова у раннего Бродского, установленных Я. Гординым¹⁹. В ориентации на классические поэтические формы, в подчеркнутой «всеотзывности» мировой культуре Бродский, несомненно, следует Пушкину, причем это обращение к пушкинским поэтическим установкам осознанно — в стихотворениях Бродского 1960—1970-х годов очень значительно число цитат из сочинений автора «Я вас любил...» и «Медного всадника». Но пушкинский поэтический язык подчинен у современного поэта именно заданию выразить отчаяние и абсурд бытия — чувства и экзистенциальные состояния, отличительные, по мнению автора «Заметки о Соловьеве», для XX века. (Замечу, что романтический вариант отчуждения «Я» от мира, гонений, им претерпеваемых, реализуется в стихотворениях Бродского 1950—1970-х годов, «1972 год» и «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974), по-видимому, как бы закрывают тему, своеобразными воспоминаниями о которой являются более поздние «юбилейные» «Пятая годовщина (4 июня 1977)» и «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» (1980).)

Отличие Бродского — автора «Разговора с небожителем» — от Кьеркегора и Шестова проявляется в том, что поэт описывает Бога скорее не как личность, но как надличностное начало, свободное от страданий. Сходное изображение Бога содержится и в поэме «Горбунов и Горчаков»; в «Большой элегии Джону Донну» (1963) Бог представлен неким физическим телом, ограниченным в пространстве: «Ты Бога облетел и вспасть помчался», «Господь оттуда — только свет в окне / туманной ночью в самом дальнем доме» (I; 250). Конечно, в поэзии Бродского встречаются и довольно многочисленные примеры иного рода — описание личностного Бога, прежде всего Бога-сына, Христа (в «Натюрморте» и других стихотворениях), и описание экзистенциального одиночества и отчужденности от мира Бога:

Представь, что Господь в Человеческом Сыне
впервые Себя узнает на огромном
впотьмах расстоянью: бездомный в бездомном.
(«Представь, чиркнув спичкой,
тот вечер в пещере...». 1989. III; 190)

Бог бездомен в мире, родившийся в пещере Сын — всего лишь точка для надмирного взгляда; но и для Сына Небесный Отец, существующий в иной реальности, в ином пространстве, всего лишь звездная точка («Рождественская звезда», 1987). В отличие от Пастернака, прозрачная аллюзия на творчество которого содержится в «Рождественской звезде» («мело, как только в пустыне может зимой мести...» — ре-

¹⁴ «Russian Literature Triquarterly». 1972, Vol. 4 (Fall), p. 374.

¹⁵ «Заметка о Соловьеве». Р. 374.

¹⁶ Михаил Крепс. О поэзии Иосифа Бродского. Сс. 199—202.

¹⁷ Иосиф Бродский. Настигнуть утраченное время. Время и мы: Альманах литературы и общественных проблем. Москва — Нью-Йорк, 1990, с. 287.

¹⁸ И. Бродский. Стихи. Послесловие А. Кушнера. «Нева», 1988, № 3, с. 111.

¹⁹ Я. Гордин. Странник. «Russian Literature», 1995, Vol. XXXVII—II/III, pp. 227—246.

минисценция из пастернаковской «Зимней ночи»), Бродский изображает Рождество как событие не для земного мира, не для людей, но для Бога-сына и Бога-отца.

Интерпретация поэзии Бродского как христианской в своей основе, наиболее последовательно проведенная в статье Я. Гордина «Странник», не вполне соответствует смыслу текстов поэта. Показателен «разброс мнений» исследователей-авторов статей в книге «Иосиф Бродский: размером подлинника» (Таллинн, 1990) при характеристике религиозных истоков поэзии Бродского — от признания его христианского начала (И. Ефимов. Крысолов из Петербурга. Христианская культура в поэзии Бродского) до определения ее как «внехристианской, языческой» (Андрей Арьев. Из Рима в Рим). Может быть, наиболее точен Анатолий Найман, когда замечает, что предпочтительнее говорить не о Творце, а о небе у Бродского и что в словосочетании «христианская культура» поэт делает акцент не на первом, а на втором слове (Анатолий Найман. Интервью. 13 июля 1989 г. Ноттингем. Интервьюер — В. Полухина).

Неопределенность и проблематичность внецерковной веры поэта наиболее отчетливо выражены в интервью Петру Вайлю. (Иосиф Бродский. Рождественские стихи. Рождество: точка отсчета. Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем. М., 1992, сс. 60—61.)

У раннего Бродского встречаются и «богоборческие» или, точнее, «богоотрицающие» строки, как в «Пилигримах» (1958): «И, значит, не будет толка / от веры в себя да в Бога. / ...И, значит, остались только / иллюзия и дорога» (I:24)²⁰, и мотив обоготворения человека («Стихи под эпитафией», 1958). В более поздних стихотворениях место Бога часто занимает женщина, любимая, но и встреча с ней, и возвращение часто представлены как невозможные («Процайте, мадемуазель Вероника», 1967; «24 декабря 1971 года», 1972). Как в отношениях «Я» — Бог Бродским подчеркивается отсутствие контакта, диалога, так и в разворачивании любовной темы у поэта преобладают мотивы разлуки и утраты. Недолговечны счастливая любовь и союз любящих, иллюзорна, не наполнена бытием красота, воплощенная Бродским в образе бабочки. Предметом стихотворения «Бабочка» (1972) становится столь ненавистное Шестову Ничто, характеризующее, по мнению русского философа, безрелигиозное рациональное сознание.

В тексте-эссе «At a lecture. Poem» («На лекции. Стихотворение») Бродский изображает мир как пустоту, в которой нет других людей, но лишь частицы материи, «пыль». Такое мировидение объясняется поэтом не склонностью к идее солипсизма («мир — это лишь мое представление»), но взглядом на действительность с точки зрения времени, все стирающего. Бытие осознается как изначальная полнота, превращающаяся в пустоту²¹. Едва ли стоит разъяснять, что такая картина бытия соотносится с различными античными моделями мироздания, но не с экзистенциалистическим видением реальности.

Бог у Бродского — не абсолютное начало мироздания, но Некто (или Нечто), зависящий от внешней силы. Иногда Бог предстает в стихотворениях автора «Части речи» и «Урании» иллюзорным порождением сознания «Я». Эти мотивы содержатся и в «Разговоре с небожителем»:

...И, кажется, уже
не помню толком,
о чем с тобой
витийствовал — верней, с одной из кукол,
пересекающих полночный купол. (II; 214)

Встречающаяся у Бродского мысль о Боге как внеличной объективированной силе, заставляющей верить в себя, естественно, совершенно чужда рели-

²⁰ Э. Эдеберг истолковывает строки «Пилигримов» «И, значит, остались только / иллюзия и дорога» не как утверждение бесцельного, свободного странствия человека, отчаявшегося в себе и отринувшего Бога либо в Бога не верящего, но как свидетельство внутренней, внецерковной веры: «Дорога в этом стихотворении может быть интерпретирована как Христос (ниже исследователь приводит речение Христа, называющего себя путем, правдой и жизнью. — А. Р.), но также может иметь и более широкое значение: новое представление о Боге, не понятом никем...» (Erik Edeberg. The Pilgrim, The Prophet And The Poet: Iosif Brodskij's «Pilgrimy». / Text and Context: Essays to Honor Nils Ake Nilsson. (Stockholm Studies in Russian Literature. Vol. 23) Stockholm, 1987, p. 152). Такое истолкование допустимо, но не обязательно: отрицание Бога в «Пилигримах» выражено совершенно недвусмысленно, а установка на несоответствие и даже противоположность высказанного и подразумеваемого смыслов раннему Бродскому не свойственна.

²¹ «The New Republic». 1995, May 8, Vol. 212, № 19, p. 40.

гиозному экзистенциализму. Отношение «Я» к миру в «Разговоре с небожителем» действительно напоминает экзистенциалистское мировидение, но в качестве аналога могут быть названы не только сочинения религиозных мыслителей Кьеркегора и Шестова, но и произведения, например, Альбера Камю, чья экзистенциальная философия имела атеистическую природу. Лев Лосев назвал «Разговор с небожителем» «молитвой»²². Но с неменьшим основанием он может быть назван «антимолитвой», наподобие лермонтовского «Благодарю!»: не случайно двусмысленно-ироническая благодарность Создателю содержится в двух строфах — шестнадцатой и восемнадцатой — стихотворения Бродского. Богоборческие обертоны религиозной темы, несомненно, соотносят это стихотворение с лирикой Владимира Маяковского. Аллюзию на произведения Маяковского содержит заглавие (ср. «Разговор с финнспектором о поэзии»); форма текста Бродского — речь, обращенная к хранящему молчание собеседнику — та же, что и во многих произведениях Маяковского.

Экзистенциалистская мысль о разуме как о силе, ограничивающей возможности человека в постижении высшей реальности, встречается у Бродского, но не в «Разговоре с небожителем», а в стихотворении «Два часа в резервуаре» (1965):

Бог органичен. Да. А человек?
А человек, должно быть, ограничен.
У человека есть свой потолок,
держажийся вообще не слишком твердо. (I; 435)

«Общие места» философской мысли представлены в этом стихотворении и как воплощенная пошлость, филистерство (не случаен макаронический язык «Двух часов в резервуаре», являющий собой смесь русского и немецкого), и как выражение бесовского начала. Восприятие рационализированного взгляда на мир как следствия грехопадения человека, соблазненного дьяволом, отличает воззрения Льва Шестова, трактовка взглядов самого известного немецкого философа — Гегеля как квинтэссенции безрелигиозного сознания свойственна Сёрену Кьеркегору.

Не сходно у Бродского и экзистенциалистов понимание Времени. Для Бродского Время обладает позитивными характеристиками, в противоположность «статическому» Пространству, освобождает из-под власти неподвижности; однако одновременно Время и отчуждает «Я» от самого себя. Семантика времени у Бродского заставляет вспомнить об определении времени Хайдеггером в докладе «Время и бытие»: «Время никак не вещь, соответственно, оно не нечто сущее, но остается в своем протекании постоянным, само не будучи ничем временным наподобие существующего во времени». Время Хайдеггер называет вещью, «о которой идет дело, наконец, все дело мысли» (перевод В. В. Бибикина). Мотив времени — в своей чистой сущности неподвижного (вечности — «Осенний крик ястреба», 1975), стоящего над вещественным миром («мысли о вещи» — «Кольбельная Трескового мыса», 1975. (II; 361), переключается с хайдеггеровской трактовкой времени.

Этот мотив, может быть, наиболее отчетливо выражен в строках эссе поэта «Homage to Marcus Aurelius» («Клятва верности Марку Аврелию»): «Впервые я увидел этого бронзового всадника (статую Марка Аврелия. — А. Р.) <...> лет двадцать назад — можно сказать, в предыдущем воплощении»²³. Утраты, которые несет время, — один из лейтмотивов поэтической философии Бродского, он афористически запечатлен в этом же эссе: «Общего у прошлого и будущего — наше воображение, посредством которого мы их созидаем. А воображение коренится в нашем эсхатологическом страхе: страхе перед тем, что мы существуем без предшествующего и последующего»²⁴. Однако «повторение» события, возможность преодоления потока времени Бродский в отличие от Кьеркегора исключает для индивидуума; «повторяться» могут исторические события, но такие повторения — свидетельство обезличивающего начала Истории, которая вообще враждебна «Я»: «основным инструментом» истории является — а не уточнить ли нам Маркса? — именно клише («Нобелевская лекция», 1987. I; 8—9).

Парадоксальным образом повторяемость осознается поэтом как отличительная черта истории, в которой причины и следствия трудноразличимы («отношения между следствием и причиной, <...>, как правило, <...> тавтологичны» — эссе «Путешествие в Стамбул». IV; 137). История упорядочена и по-своему целенаправленна, хотя цели ее неясны. Она ограничивает проявления вероятностного принципа: «... у

²² Lev Loseff. Iosif Brodskij's Poetics of Faith. Aspects of Modern Russian and Czech Literature. Ed. by Arnold McMillan. «Slavica publishers», 1989, p. 191.

²³ Цитируется русская версия «Памяти Марка Аврелия». С. 255.

²⁴ Иосиф Бродский. Памяти Марка Аврелия. С. 255.

судьбы, увы, / вариантов меньше, чем жертв» («Примечания папоротника», 1988. III; 171): «Причин на свете нет, / есть только следствия. И люди жертвы следствий» («Бюст Тиберия», 1985. III; 108). Мотив опережения причины следствием, встречающийся в «Бюсте Тиберия», означает не обратимость Времени, но отсутствие перемен в Истории, которая предстает дурной вариацией ряда ситуаций, ключевая из которых — лишение человека свободы. (В дополнение замечу, что в поэзии Бродского выражен и иной мотив — несходства причины и следствия, интеллектуальные фантазии «Я» о метаморфозе всего существующего и о преодолении времени, впрочем, скорее физического, чем исторического — «Из Парменида», 1987.)

Суждение о детерминированности исторических событий сочетается у Бродского с противоположной идеей: интерпретация событий с точки зрения причинности и закономерности отвергается как этически несостоятельная. Аналитики и потомуки невольно оправдывают убийства и кровь прошлого, считая их неизбежным условием собственного существования. Каждое историческое событие неповторимо и уникально, оно — проявление музы Клио в нашем мире, события должны быть постигнуты в их уникальности, «изнутри»; линейная модель исторического времени лишь одна из возможных. Линейное понимание истории — черта христианского сознания, приверженного в отличие от язычества идее причинности (эссе «Profile of Clio». «The New Republic». 1993, February 1, p. 60—63). (Идея статьи перекликается со стихотворением «Homage to Clio» — «Клятва верности Клио», принадлежащим У. Х. Одну — одному из самых дорогих для Бродского поэтов XX века: Оден назвал Клио «музой уникального исторического опыта».) Такое понимание истории отчасти перекликается с экзистенциалистским подходом (вчувствование, а не отстраненный анализ, признание уникальности каждого события, антидетерминизм). Однако рационалистический подход отвергается не на основании его несостоятельности и ограниченности, а по моральным мотивам (для экзистенциализма же этика не более чем проявление рационального сознания). И рационалистский, и антирационалистский подходы к истории, согласно Бродскому, равно субъективны, являясь попыткой понять историю, которая для наблюдателя — всегда другое.

В противоположность экзистенциалистской индивидуализации Бродский в сочинениях последних лет (по крайней мере с конца восьмидесятых годов) сознательно обезличивает авторское «Я», часто замещая субъективное высказывание регистрирующе-отрешенным описанием реальности, как бы увиденной глазом, отделенным от человека. Обезличенность и даже «аннигиляция» «Я» под воздействием времени — ключевой мотив поэзии Бродского, обуславливающий его приемы. «Сравнивая и идентифицируя человека и его физическую и интеллектуальную деятельность с миром вещей, Бродский деанимизирует (de-animates) человеческую жизнь и «Я» (Self), как бы имитируя безжалостное воздействие времени на нас»²⁵. В эссе «Fondamenta degli incurabili» («Набережная неисцелимых», 1989) и его книжном варианте «Watermark» («Водяной знак», 1989) выражен мотив генетической связи человека с хордовыми предками, проявляющийся в его праисторической памяти²⁶. Растворение в безличном, возвращение к природе, обратное движение по эволюционной лестнице, эволюция как стремление достигнуть простоты первичных организмов (стихотворение «Элегия», 1988) — эти мотивы перекликаются со стихотворением Осипа Мандельштама «Ламарк». В художественном пространстве эссе «Watermark» эволюционная теория происхождения человека от обитателей морей слита воедино с религиозной идеей сотворения человека по образу и подобию Божию и искупления грехов людей Богом как двух первоначал человечества: «Я всегда знал, что источник этой привязанности (к запаху водорослей. — А. Р.) <...> где-то в мозжечке, который хранит впечатления наших хордовых предков об их природной среде и — о той самой рыбе, из которой возникла наша цивилизация. Была ли рыба счастлива, другой вопрос»²⁷. Выбирая не английское слово «fish», но заимствованное из греческого «ichthys», Бродский обозначает этим словом рыбу, а также — как бы дополнительно — и Христа (греческое «ichthys» в раннехристианской традиции трактовалось как анаграмма Христа). Эволюционистская идея и христианская символика применены у Бродского в одном знаке. Так и осуществляется своеобразный поэтический синтез разнородных начал, идей, ценностей в сочинениях Бродского.

²⁵ Valentina Polukhina. The Self in Exile. Renaissance and Modern Studies. University of Nottingham. Writing in Exile. Vol. 34, 1981, p. 15.

²⁶ Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых. М., 1992. Сс. 205, 219—221 и др.; Joseph Brodsky. Watermark. N. Y., 1993, p. 5—6.

²⁷ Joseph Brodsky. Watermark, p. 5.

Родство Бродского с экзистенциализмом проявляется скорее не на мотивном уровне, который никак не поддается редукции до пределов одного философского течения, но в образной поэтике, в построении поэтической модели мира. Бродский, несомненно, переключается с экзистенциальными философами, когда они прибегают к художественным приемам выражения своих идей. Геометрически осмысленное пространство в поэзии Бродского соотносится с примерами из геометрии и стереометрии, которыми Лев Шестов иллюстрирует экзистенциальный опыт Кьеркегора в книге «Киркегард и экзистенциальная философия». Строки из стихотворения Бродского «1972 год»:

...Только размер потери и
делает смертного равным Богу.
(Это суждение стоит галочки
даже в виду обнаженной парочки.) (II; 293)

— отсылают к ветхозаветной истории грехопадения Адама и Евы и к истории искупления первородного греха Богом-сыном, которого посылает на крестную смерть Бог-отец (мотив потери в стихотворении — аллюзия не только на отношения Бога-отца и Сына, но и на конкретные автобиографические обстоятельства: вынужденную эмиграцию Бродского, разлученного с собственным сыном). Грехопадение Адама и Евы — архетипическая, символическая ситуация для религиозных экзистенциалистов — для Кьеркегора и особенно для Шестова, согласно которому грехопадение выразилось в подчинении воли и сознания власти Ничто с его иссушающим мертвенным рационализмом. Страдания, мучения Бога, переживающей смерть Сына — одна из тем сочинений Кьеркегора. Кьеркегоровская тема страданий Божества, интерпретация грехопадения как подчинения человека искусительной силе Ничто и упоминание Кьеркегора о паре влюбленных, оказывающихся вне этических норм и таящих свой скромный секрет от мира, соединены на страницах книги Льва Шестова «Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)» (к Адаму и Еве «влюбленная парочка» не имеет никакого отношения; Кьеркегор как экзистенциальный философ демонстрирует этим примером ограниченность этики).

Образы вина, бурдюк с которым несет Авраам, и воды, которую несет в мехе Исаак (поэма «Авраам и Исаак»), вероятно, свидетельствующие о невозможности чуда и разделенности, отчужденности, господствующей в мире, являются своеобразной полемической аллюзией на евангельский рассказ о претворении Христом воды в вино на брачном пиру в Кане Галилейской. Но, возможно, антитеза «вода— вино» восходит к реминисценции из этого рассказа в книге Кьеркегора «Страх и трепет», в которой интерпретируется история жертвоприношения Исаака: «Я не могу понять Авраама, в некотором смысле я не могу ничего о нем узнать, — разве что прийти в изумление. Если мы полагаем, что, обдумывая исход этой истории, мы можем сдвинуться в направлении веры, мы обманываем себя и пытаемся обмануть Бога относительно первого движения веры; при этом жизненную мудрость пытаются извлечь из парадокса. Возможно, с этим кому-нибудь и посчастливится, ведь наше время не остается с верой, не задерживается на ее чуде, превращающем воду в вино, оно идет дальше, оно превращает вино в воду» (перевод с датского Н. В. Исаевой и С. А. Исаева).

Современные сознание и культура лишены целостности и однозначности. Современность вбирает в себя и сопоставляет самые разные теории, идеи, ценности, унаследованные от прошлых эпох, делает их предметом рефлексии. История перестает быть сменой ментальных парадигм и в этом смысле заканчивается (показательно принадлежащая XX веку идея «конца истории» — достаточно назвать имена Освальда Шпенглера и Френсиса Фукуямы). XX век осознает условность и ограниченность всех теорий и исходит из принципа их взаимодополнимости. В поэзии Бродского эта ситуация, по-видимому, осмыслена как «прекращение, исчерпание Времени». Мотив остановившегося времени или спрессованности, сжатия²⁸ — не физического, но исторического — времени, «одновременности» разных эпох содержится уже в ранней поэме «Шествие» (1961), пронизанной экзистенциалистскими мотивами страданий и отчаяния — вызова, бросаемого бытием человеку, абсурда — основы веры. В последних стихотворениях Бродского современная эпоха предстает как торжество небытия, стирающего вещи и обезличивающего человека («Fin de

²⁸ Как параллель напомним выражающую сходное переживание современности мысль Хайдеггера о «сжатии» временных и пространственных «далей» благодаря развитию технических средств в наши дни (доклад «Вещь»).

siècle» — «Конец века», 1989), как преддверие эсхатологического финала («Того, что грядет, не остановить дверным / замком» — «Примечания папоротника», III; 172). Осознание условности концепций бытия приводит к тому, что вещный мир предстает лишенным смысла, материальное и идеальное абсолютно противопоставлены друг другу, при этом материальная действительность, повседневность оказываются за рамками всяких интерпретаций. В поэтической установке и рефлексии Бродского над словесностью и культурой проступает отдаленное родство с постмодернизмом, в логическом пределе стремящемся к «схематизации культуры, к ее завершенности и исчислимости, то есть в конечном счете к омертвлению»; согласно постмодернистской программе, «разрушение старого уже состоялось само собой, под действием времени, и на долю современной культуры осталась вторичная утилизация обломков»²⁹. Вместе с тем Бродского отличает от постмодернистов отношение к текстам традиции как к живому, обладающему ценностью и индивидуальностью началу, ироническая игра с которым исключена или затруднена. Если «Я» в постмодернизме обезличено, стерто, а противопоставление «словесный знак — означаемые им вещь или понятие» снято (вне мира знаков реальности нет), то у Бродского отношения «Я» и мира составляют основную коллизию, «сюжет», а материальная, вещественная действительность составляет отчетливую антитезу в паре со словом-языком.

Ольга Седакова видит в поэзии Бродского «стоическую умудренность, мужественную — или старую смиренность перед положением вещей», органически соединенную с неприятием мира, с «отказом»³⁰. Но, по-моему, отношение «Я» к миру у Бродского сложнее и внутренне — сознательно — противоречиво. Различные теории и философские идеи становятся в творчестве Бродского предметом сложного комбинирования, неожиданного соединения. Так и экзистенциалистские идеи соединяются с этикой стоицизма и с идеями, восходящими к Платону, религиозность — с богоборчеством или безверием.

О стремлении поэта к синтезу языческого и христианского начал, представленных двумя философскими течениями — стоицизмом и экзистенциализмом, о восприятии стоицизма и экзистенциалистской философии как внутренне взаимосвязанных течений свидетельствует статья Бродского «On Cavafy's Side» («На стороне Кавафиса», 1997): «... ни язычество, ни христианство недостаточны сами по себе, взятые по отдельности: ни то, ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека. Всегда есть нечто мучительное в остатке, всегда чувство некоего частичного вакуума, порождающее в лучшем случае чувство греха. На деле духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией, и нет ни одной доктрины, о которой — не навлекая на себя проклятий — можно сказать, что она совмещает и то и другое, за исключением разве что стоицизма или экзистенциализма (последний можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой христианства)» (авторизованный перевод с английского А. Лосева. IV, 176).

В поэзии Бродского стоическое отношение к миру, христианское видение реальности, однако, не синтезированы (их синтез невозможен!), но образуют — вместе с религиозным и внерелигиозным экзистенциализмом — противоречивое единство. Сходная черта свойственна и словесному стилю Бродского: одно и то же слово может одновременно употребляться в разных значениях, соединять в себе значения слов-омонимов.



Работа выполнена при финансовой поддержке института «Открытое общество» (фонд Дж. Сороса) в рамках программы Research Support Scheme Центрально-Европейского университета (номер проекта: 253/94). Автор выражает признательность профессору Валентине Полухиной (Килский университет, Великобритания) и Андрею Устинову (Стэнфорд, США) за предоставление ряда материалов, посвященных творчеству Иосифа Бродского, а также заведующему кафедрой славистики Стэнфордского университета Григорию Фрейдину и профессору Лазарю Флейшману за возможность ознакомиться с работами о творчестве Бродского в библиотеке университета. Отдельная благодарность заведующему отделом библиографии библиотеки Войцеху Залескому за любезные консультации.

²⁹ С. Зенкин. Культурология префиксов. «Новое литературное обозрение», 1995, №16, сс. 52—53, курсив автора.

³⁰ Ольга Седакова. Кончина Бродского. «Литературное обозрение», 1996, № 3, с. 15.

Альтранативная реальность

И вот теперь, когда я умер
И превратился в вещество,
Никто — ни Кьеркегор, ни Бубер —
Не объяснит мне, для чего,
С какой — не растолкуют — стати,
И то сказать, с какой-такой
Я жил и в собственной кровати
Садился вдруг во тьме ночной...

С. Гандлевский.

"Когда я жил на этом свете"

В заглавии нет опечатки, хотя речь и пойдет о своего рода альтернативной (рожденной из «других» начал) реальности; вернее, потом окажется, что она и есть наиреальнейшая наша реальность, но дорога в нее проходит через территорию «другого», точнее, «другой» (*altra*, а не *alter* по латыни), еще точнее, «другой я» — *altra ego*. Так озаглавлено эссе Иосифа Бродского*, откуда это понятие мною заимствовано. Бродский называет так возлюбленную поэта (или возлюбленного, окажись поэт женщиной), вдохновляющую на сочинение любовных стихов. Изменив род в идиоматическом выражении, Бродский пошутил и пошутил удачно: с предельной экономностью смысл изменился на противоположный: *altra ego* — в отличие от *alter ego* — не условность, не фантом, не какая-то доля внутреннего мира «я», а автономная личность из мира внешнего, из реальности.

Эссе Бродского объясняет природу любви поэта. Эта любовь не существует вне треугольника — поэт, возлюбленная, Муза. Бродский четко отличает Музу от возлюбленной: Муза для него — язык (и поэт — орудие в ее руках); эта вершина в треугольнике неизмеримо выше — на те тысячелетия, что существует поэзия, — чем *altra ego*. Таков ландшафт в реальности поэта; попробуем из нее перебраться в реальность *альтранативную*.

Ее населяют только «другие я», поскольку все имеют для «я» столь же ощутимую реальность, что и его собственная. Все живущие — «другие я». Получается тогда, никакая это не «другая», а наша обыкновенная жизнь, увиденная сквозь некий кристалл. Магического в нем абсолютно ничего нет, выращивается он со скоростью спущенной снежной лавины, среда вызревания — любовь к *altra ego*, к конкретной «другой я» (напомню: любого пола).

Любовь здесь важна в качестве взрыва, преобразующего зрение; со временем в сплетении житейских обстоятельств она может и угаснуть, но познавший любовь уже успел поразиться равнореальности, равносущности «я» и «ты», а затем (и это самое главное), если он способен на простейшее обобщение, равнореальным себе он должен увидеть другое живое существо, и мир предстанет перед ним децентрированным — с центром, сместившимся из конечного «я» в бесконечное множество «других я» — бесконечное не только в пространстве, но и во времени (это важно для тех, кто ищет «бессмертия»). Кажется, нарушается закон сохранения энергии, кажется, «я» получает доступ к бездонному источнику жизненной силы. Об эмоциональной стороне события пусть лучше скажет, как водится, поэт («водятся», правда, поэты с видением, подобным нижеописанному, почему-то редко):

* Joseph Brodsky. *On Grief and Reason*. New York, 1995.

Опыт горя и опыт любви непомерно дают
 превращение в сердце, лишенное координаты,—
 оно — все, оно — всюду, с ним время в сравнении зуд,
 бормотание, шорох больничной палаты.

(Владимир Гандельсман. «Расширяясь течением реки...»)

Любовь делает такой мир не столько теоретически мыслимым, сколько осязаемым кожей (в любви, обострившей чувствительность к «другому»), видимым насквозь, когда зрение становится знанием. В «Смысле любви» Владимира Соловьева, произведении изрядно устаревшем, есть вечно новая мысль, что только эротическая любовь корректирует зрение человека: «Пока живая сила эгоизма не встретится в человеке с другою живою силою, ей противоположною, сознание истины есть только внешнее освещение, отблеск чужого света». Свой свет вспыхивает только в своем сердце.

Казалось бы, элементарная вещь: ощущать любого другого человека столь же реально существующим, сколь и себя (это ведь не так трудно, как «возлюби ближнего, как самого себя»), но, насколько значителен такой переворот в мироощущении, говорит именно отношение к этой вещи как к само собой разумеющейся, втолкованной еще в детском саду. Прошедший же через «децентрацию» как через конкретное, происшедшее там-то и тогда-то событие, то есть через откровение, будет прежде всего поражен именно тем, что когда-то он считал это свое новое состояние само собой разумеющимся.

Вообще на том, что я сейчас пишу, задержатся глаза лишь уже обитающих в альтранативной реальности, все прочие скользнут по этим словам как по банальности. Так и должно быть. Разве что новый странный термин привлечет внимание.

В альтранативной реальности личность выходит из кокона «эго», но это не самоотрицание*, не буддистское слияние с миром. Все эти слияния очень хороши и всем нам знакомы в той или иной степени, они часть красоты жизни, но где им при их ускользаемости, иллюзорности до четко сфокусированного видения мира как чего-то существовавшего и будущего существовать без твоего «я»! Не то чтобы особенно радует эта картина, но настолько она неожиданна в своей непечальности, что сродни и счастью. Во всяком случае, так ощущается свобода от «эго», свобода от конечного, победа над страхом смерти. Как бессмертие. Лучше все-таки сказать — как истинная свобода (и только так наконец постигается свобода как высшая ценность), потому что бессмертие — это уже метафора, а альтранативная реальность сильна своей неметафоричностью, своей буквальностью. Видение (буквальное) жизни, продолжающейся в «других я», делает желание личного бессмертия нерелевантным. «Авось и будет смерть моя ничья» (Сергей Петров). Споря через сто лет с Владимиром Соловьевым, всерьез мечтавшим о преодолении смерти любовью, смысл любви можно увидеть в обретении смысла жизни конечной, смертной.

На поиск «какой-то третьей стороны у плоскости, дарованной сознанию» (Алексей Цветков), индивидуальное сознание обречено до могилы — не потому, что невозможно осознать «третью», а потому, что будет «четвертая». Но точнейшая формула поэта Цветкова — «я видимо вечный который не помнит что я это он» — не вызывает отчаяния, поскольку отрабатывается на пространстве, от времени онтологически не так уж сильно отличающемся для индивидуального «я» в альтранативной реальности. Не тренирует ли «забвения взбесившийся везувий» (Цветков), под пеплом которого в пространстве жизни может оказаться погребенной «другая я», к «забвению» своего «я» после смерти? Любовь учит смерти. Неслучайно у Владимира Гандельсмана созреванию «сердца, лишенного координаты», способствует не только опыт любви, но и опыт горя. Разность их потенциалов колоссальна, и разряд пробивает старую систему координат — по ту сторону счастья и страдания.

В альтранативной реальности объемность, многомерность мироздания не уплощена. Просто ясно проглядываются — не скажу, фундамент или крыша, — некие несущие перекрытия. Что касается присутствия в ней Бога, то не надо впутывать Его в то, что и так получается без Него: любовь к *altra ego* — условие необходимое и достаточное для выхода в альтранативную реальность.

Увы, это событие на деле происходит, кажется, реже, чем хотелось бы.

* Это ближе к тому, что Юнг имел в виду под осуществлением Самости в процессе индивидуации: «Этот процесс творит ни много ни мало новый центр личности, который поначалу характеризуется самоволом, превосходящим Я, затем этот новый центр на самом деле оказывается превосходящим Я».

Здесь надо отметить, как трудно человеку получить эту новую пару глаз, видящих мир «других я». В молодости, когда человек впервые самозабвенно любит, его индивидуальность еще не достаточно сформирована, она требует многих лет развития и необходимого самоутверждения «я», прежде чем «я» приобретает силы переступить через себя во внешний мир. «Любовь — это эгоизм вдвоем», французская поговорка корректно описывает первую половину жизни. Во второй же, когда душа созрела и готова избавиться от эгоизма, любовь-спасительница не оказывается совсем уж под рукой. Не в том дело, что в браке любовь, мол, не пылает ярким пламенем (а если и не пылает, то правильно делает: огонь превращается в равномерно распределенное по всем порам житейское тепло, любовь существует не в концентрированном, как вначале, а в растворенном, «размазанном» виде, это такая смазка работающей машины жизни). Беда в том, что спутник жизни становится до того «реальным», что эта псевдореальность притупляет если не любовь, то зрение. Парадокс в том, что путь в подлинную реальность проходит через «нереальность».

Эссе «Altra ego» Бродский иллюстрирует некими картинками с выставки — с целью, правда, на первый взгляд противоположной той, ради которой я их вкратце коснусь. Речь идет о посещении им где-то в Италии выставки, представившей фото-портреты возлюбленных великих поэтов, начиная с Бодлера, и параллельно с ним тексты известнейших любовных стихов. Смотрите, мол, что было в начале слова! Глаз Бродского схватывает такую особенность всех представленных лиц: как бы ни различались эти *altra ego* социально, этнически, интеллектуально, морально и как-то еще (до их характеров и биографий история добралась, разумеется), все эти лица — только лица! — отличало то, что несколько туманно зовется «непринадлежностью к нашему миру, ощущаемой именно через туманность выражения лица, «загадочность» улыбки, мечтательность, изменчивость взгляда, словом, движение, незастылость, наконец, весть об иных мирах, несущая надежду на выход из конечного в бесконечность. Любовь ведь, по Бродскому, — это отношение «кого-то конечного к чему-то бесконечному». Не обладая «инамирностью», что бы это ни значило и как бы пошло ни звучало, человек не станет *altra ego* для поэта. Объяснив, зачем, как и кем пишутся стихи о любви, поэт завершает свой рассказ, а мы, разумеется, его продолжим, как продолжается любовь к «инамирному» или «нереальному», именно в любви к «реальному» реальности, когда стихи не первостепенны в жизни.

Не вдохнув воздуха бесконечности, в альтранативную реальность не попасть, поскольку и в ней любовь — это отношение «кого-то конечного к чему-то бесконечному». Катапультирование в «иной мир» необходимо и для не пишущего стихи — как эмоциональный взрыв, создающий тот источник энергии, из которого человек будет черпать силы для реальности до конца дней своих. И особенно необходимо тогда, когда менее всего вероятно, — в эмоциональной стабильности, скажем так, зрелого возраста. Когда человек давно уже все понимает, но вот как ему это понимание, эту мысль свою увидеть воочию, вне своей черепной коробки (мысль во плоти — вот что такое «другая я»? Молиться?

Шепотом — совсем не напоказ,
Напрямую — не вокруг да около:
— Господи! — взываю в первый раз,
Но прошу как будто бы немногого...

.....
Я люблю жену и дочерей —
Выведи меня из круга личного!
Прежде чем начну кормить червей,
Возлюбить дай дальнего, как ближнего.

В «Молитве» Владимира Корнилова, строго говоря, человек хочет не увидеть реальность (он считает, что он ее навидался), а полюбить ее. В который раз «полюбить жизнь раньше смысла ее»? В альтранативной реальности этот призыв устарел, человек здесь — по ту сторону любви и ненависти к жизни. Да и можно ли ее любить? Простить ей можно все: смерть, болезнь, слепые стихи, но безлюбности мы ей никогда не простим. В альтранативной реальности человек не одинок (он может быть один, но ему не одиноко: не — «один-око»), но он никогда не простит жизни одиночества других.

А ненависти к ней нет, потому что не ведает, что творит, и потому что из нее — жизни — вырастаешь (как из платя, да и вообще — как дерево). И потом ведь она наполовину — социальная, так что человек здесь не полностью бессилен перед ней, здесь ему есть чем заняться и, может быть, обустройством любви в первую очередь. Тогда любовь и спасает мир. Включая красоту.

А пока жизнь вроде бы свидетельствует о редкости кардинального преобразования индивидуального сознания любовью.

Но вот молчит поэзия, этот интегральный лирический дневник человечества. Любовная лирика так и остается замкнутой на конкретную *altra ego*. А когда цепь размыкается, то в резко вертикальном движении — к Богу, в Космос, иные миры и т. д. Здесь возражений нет, но как насчет презренной горизонтальности? Наиболее горизонтальным оказывается растворение любви в земной природе — и так же удаленным от искомого шага: к «другим я».

С любовной лирикой все в порядке, наблюдается дефицит *другой* лирики. Так и назовем ее — «другой лирикой» (как когда-то была «другая литература»), понимая другость как непохожесть на нормальную, так сказать, лирику именно в ее направленности на мир «другого», подразумевая здесь и «другую я», и «другого» из философии диалога. Они, разумеется, ближайшие родственники.

Конечно, лирических стихов о «других» в НЕ диалогическом смысле всегда хватало и хватает (да это почти вся поэзия); однако «другой» здесь не становится соавтором лирического высказывания, оно всегда принадлежит лирическому «я». А речь идет о присутствии в поэзии самого альтранативного мироощущения, о расширении лирики за пределы «я». Что, наверное, является противоречивым требованием, ведь любая лирика предполагается жанром монологическим по определению, и таковой она и пребывает. И все же вопреки своей природе проросла лирика диалогическая (например, в творчестве Пауля Целана), как бы воплощающая в поэтическом слове философию диалога. В ней не обмен монологами и репликами в чистом виде (тогда бы она была драматургией), в ней каждое слово «я» предполагается отраженным в сознании «ты», это такое двумерное поэтическое мышление. «Я» берет «ты», «другого», в соавторы. Почему? А потому, что человек чувствует себя теперь готовым ответить на очередной вызов языка. Потому, что это стало возможным. Вознаграждение — новая красота объемного, богатого звука, новая музыка.

Вряд ли я решилась бы предложить этот термин — «другая лирика», — если бы меня не поддерживало то, что ее провозвестник явился одновременно с появлением «другого» в философии.

Широкое ложе для всех моих рек —
Чужой человек.
Прохожий, в которого руки — как в снег —
Всей жаркостью век

Виновных, которому вслед я и вслед,
В гром встречных телег.
Любовник, которого, может, и нет,
(Вздых прожит — и нет!)
Чужой человек
Дорогой человек,
Ночлег-человек,
Навек-человек!
.....
Простор-человек,
Ниотколь-человек,
Сквозь-пол-человек
прошел-человек.

В этом стихотворении 1922 года слышится нечто качественно новое по сравнению, скажем, с традиционным мотивом братства или гуманизмом типа горьковского. Здесь пока нет «другого» в бахтинском смысле, но он на наших глазах рождается из «чужого», и пуповину, так сказать, можно углядеть, вернее, расслышать в скрытой рифме: здесь «чужой» только потому «дорогой», что он другой. И «любовник» здесь менее важен, чем «прохожий». Но без опыта любви это знание недоступно. «Господи, душа сбывлась — умысел Твой самый тайный...» Великая душа Марины Цветаевой сбывлась еще в молодом возрасте.

Осмелюсь предположить, что философы-диалогисты народились от... «критической массы» любви, накопленной к тому времени человечеством. Хорошо, что родителей бывает двое и мне не нужно любовь объявлять единственным источником, пусть любовь будет, скажем, матерью, а отцом — все философское наследие, все плоды духовного и душевного роста человека. Да ведь и любовь — плод роста, любовь, хоть и всегда существовала, высшей ценностью для основной массы людей, как известно, становится только в новейшие времена с эмансипацией и женщины, и социально обездоленного. И сексуально обездоленного. Любовь между духовно

равными людьми — совсем молодое явление, и без накопления опыта такой любви, без насыщения ею воздуха начала XX века никакие буберовские «Я и Ты» не появились бы. «Добрые люди и злые, мудрые и глупые, прекрасные и безобразные, все становятся *реальны* для него (того, кто познал любовь. Перевод и курсив мой.— Л. П.), то есть каждый, освобожденный от случайного, во всей своей уникальности предстает как Ты», — живой опыт любви Мартина Бубера очевиден, а *обожение* Ты религиозным философом свидетельствует об исключительной силе и глубине переживания. И боги любят добро не за его глаза, (но потому что, не будь добра, они бы не существовали) (И. Бродский. Выступление в Сорбонне). Философию диалога человечество налюбило, надышало. И цветаевского «ниотколь-человека» налюбило. Вот откуда он взялся...

Есть ли различие между «другим» из диалогической философии и «другой я» из альтранативной реальности? Думаю, что только в способе появления на свет. «Другая я» рождается — и это именно рождение: только что не было — и вдруг есть! — с бесконечным множеством «других я» из любви к конкретному человеку в то время, как «другой» плавно, постепенно кристаллизуется из непредсказуемого сплетения ситуаций духовной жизни «я» (одна из которых — знакомство с диалогической философией, тоже в принципе способное в одночасье преобразить зрение) — по сути, тоже, конечно, из любви, но любви в самом широком смысле, любви как первичного принципа строения мира. В альтранативной реальности, как и в диалогической, «я» тоже осмысливает себя через «другого»; рождается, конечно, на самом деле не «другая я», а новое мое «я».

Альтранативная реальность совпадает с диалогической с точностью до эмоциональной атмосферы. Трагизм диалогической, если — точнее, когда — он ощущается (в «веселой» версии, например, Леонида Баткина), в альтранативной вымывается любовью. Таково уж действие ее энергии. И даже если порой любви не вернуть, то и былого мироощущения — трагизма то есть — не вернуть.

Трагизма не вернуть, хотя и предстоит то будущее, попробовать которое на вкус нам предлагают многие стихи Бродского (из самых последних, например, «Стакан с водой»), превращение «в дождь за окном, шлифующий мостовую». Бродский предоставил голос в поэзии миру без «я», небытию. Раньше мы его не слышали, теперь оно шелестит голосом Бродского... «Только пепел знает, что значит сгореть дотла...» Шелестит на пороге собственного дома:

Взгляни на деревянный дом.
Пмножь его на жизнь. Помножь
на то, что предстоит потом.
Полученное бросит в дрожь
иль поразит параличом,
оцепенением стропил,
бревенчатостью, кирпичом —
всем тем, что дымоход скопил.

Пространство в телескоп звезды
рассматривает свой улов,
ломающийся от пустоты
и суммы четырех углов,
темнеет, заражаясь не-
одушевленностью, слепой
способностью глядеть вовне,
ощупывать его тропой.

Бродскому удалось пересечь тропинкой стиха неодушевленную реальность. Может быть, удалось здесь не так уж много (в смысле количества), но он отважно пустился в путь, предположив, «что знаменитая неодушевленность /космоса, устав от своей дурной/ бесконечности, ищет себе земного /пристанища, и мы — тут как тут...» («На виа Фунари»). Бродский, уж точно, оказался тут как тут.

Наверное, в «неодушевленное» и «одушевленное», «неживое» и «живое» разные люди вкладывают разный смысл, иначе как тогда согласиться с завершающей фразой в целом справедливой и очень важной для понимания творчества Бродского — замечания Льва Лосева*: «Все его стихи этих лет предельно конкретны, словно адекватны реальности, но реальность — это живое и неживое в равной пропорции, а в последних стихах Бродского — только живое, быт, бытие, существование».

* «Иосиф Бродский: труды и дни». «Знамя», 1996, № 6.

Лосев говорит о стихах последних пяти с половиной лет жизни поэта, его «второй молодости», последовавшей за женитьбой в 1990 году. Лосев мимоходом высказывает как бы само собой напрашивающееся соображение, что любовное, семейное счастье диктовало ему только стихи о «живом», а мне представляется, что любовь, как ей и положено в зрелом возрасте, приковывала поэта именно к реальности, то есть к «живому и неживому». Эстетическое мужество Бродского как раз в стремлении соблести их «пропорцию». Близость любящего к реальности сильно облегчала эту работу.

Он не печатал стихов о любви; возможно, и не писал. Не странно ли? Не странно, если предположить, что любовь «второй молодости» вдохновляла на нечто более теперь для него важное — «безразличие к самому себе» (как к центру мироздания, разумеется), питала «истинную любовь к мудрости» (из стихотворения «Выступление в Сорбонне»). Любовь делает такое «безразличие к самому себе» (включая близких: муж и жена — одна сатана) и безразличие ко всему, что не ты, включая самое неприятное — небытие, — своим логическим итогом. И тогда путешествия по «неживым мирам» вполне вписываются в картину семейного счастья.

Так было на самом деле чуть ли не всегда. «Поэзия отчаяния», «Апофеоз одиночества», «Гений одиночества» — вспоминаются названия статей о нем. Все так — отчаяние, одиночество, но обитать в этих сферах так долго и так упоенно (стихи говорят сами за себя) мог только человек, издавна познавший любовь редкой силы. О чем свидетельствуют «Новые стансы к Августе» (Стихи к М. Б., 1962—1982) — сборник, содержащий шестьдесят стихотворений, вдохновленных одной и той же «другой я».

Несмотря на подзаголовок сборника, не все стихи из него прямо обращены к М. Б. или говорят о любви к ней, или даже о самом поэте. Иногда это просто описание события, пейзажа, интерьера и т. д. Позже автор объяснит в эссе «Altra ego»: «Стихотворение о любви не непременно говорит о реальном авторе и редко пользуется словом «я». Оно о том, чем поэт не является, о том, что представляется ему отличным от него самого. <...> Оно может не иметь ничего общего с самим предметом любви. Читатель, однако, поймет, что он читает стихотворение, одушевленное любовью, благодаря интенсивности внимания, уделяемого той или иной детали вселенной. Потому что любовь — это отношение к реальности, обычно кого-то конечного к чему-то бесконечному».

Мороз по коже подирает каждый раз, когда открываешь эту единственную в своем роде книгу на первой же странице: книга любви начинается со стихотворения о «неживом»! Со знаменитого, многих ставящего в тупик, для иных поклонников Бродского нелюбимого стихотворения «Я обнял эти плечи и взглянул». До полного понимания этого стихотворения можно только дожить, долюбить.

А когда закрываешь книгу на последнем стихотворении «Я был только тем, чего ты касалась ладонью», то мороз не мороз, а набоковский холодок в спине ощутимо сопровождает радость узнавания альтранативной реальности:

Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячьась,
даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.

Так творятся миры.
Так, сотворив, их часто
оставляют вращаться,
расточая дары.

Миры поэтические расточают дары все той же зрячести.

Бродский, конечно, в глубине глубин своей поэтики — диалогический поэт. Вот стихотворение 1962 года, посвященное Анатолию Найману: «Мы вышли с почты прямо на канал», — «другая лирика», на мой взгляд: здесь даже не два, а три зрения: «я», «другого» и «ты» для этого «ты» (и в результате для «я»)!

Если он и был одинок, то весьма примечательным одиночеством — «избирательным сродством вплоть до полной слитности» (Л. Лосев). Родство с английскими метафизиками, с Джоном Донном было самым что ни на есть кровным. Его ответ на джондонновский вопрос — «По ком звонит колокол» — вернее, его ответ на ответ оказался развернутым на всю жизнь, на всю реальность.

Другое дело, «как были им соблюдены пропорции «живого» и «неживого»; но связь любовь — реальность явлена в его последних «днях и трудах» парадоксом на

поверхности, а по сути, довольно естественным способом — исследованием реальности, включая небытие.

Человек умер, оставшаяся от него часть речи впиталась в часть пейзажа. («Оцепенение стропил» моего старого дома усилилось от этой речи, мне показалось.) Эта часть пейзажа — для очень взрослых людей. Жесткая, сильная поэзия Бродского переносит нас туда, где мы неизбежно окажемся, — в будущее, где нас нет. (Об этом мотиве в творчестве Бродского подробно сказано А. Генисом в эссе «Частный случай».) Эта часть пейзажа входит и в альтранативную реальность, поскольку после смерти *нас* действительно нет. Но есть «другие я», присутствующие и живущие там, где нас нет.

Кое-кто их присутствие ощущает, например, Леонид Баткин, живущий «очень странным настоящим: после себя до себя»*. Или, кажется, Владимир Гандельсман; может быть, от отчаяния, а может быть, просто «ощущает», не рационализируя, иначе откуда такая доверительная интонация в этом голосе котельного поэта времен застоя из «ямы», в метафоре углубляющейся и расширяющейся — и в конечном счете подымающейся! — до ямы универсального бытия?

Я говорю с тобой, милый, из угольной, угольной ямы, своей чернотой смертельно напуганной, вырытой, может быть, в память об Осип Эмильиче, помнишь, твердившем в Воронеже: выслушай, вылечи. Я говорю с тобой, больше и не с кем, и не о чем, только с тобою, еще нерожденно-нежнеющим во временном послезавтрашнем срезе, ты выуди смысл оттуда, где нет его, ты его вынуди быть в этой угольной яме, безумной от копоти, выкопай слово о счастье, о смысле, об опыте письменной речи — возьми ее в виде образчика речи, сыгравшей прижизненно в логово ящика, в страшной истории так откопают умершего, Господи, он еще дышит, утешься, утешь его...

Увидеть потомка «нежнеющим» во времени, обратиться к нему с этим ни к чему, ни к городу «милый» — это и значит ступить — «сердцем, лишенным координаты» — в то будущее, где нас нет.

Возможно, *кнд* такого цитирования пренебрежимо мал; возможно, вообще стихи в этих заметках (и уж наверняка эпиграф) служат скорее чем-то вроде музыкального аккомпанемента, нежели справляются с задачей поимки отражений альтранативной реальности, так что пора остановиться и перестать собирать по крохам доказательства ее существования в строках поэтов. Не будем навязывать ее искусству, ведь с самого начала речь шла о жизни.



* Леонид Баткин. О постмодернизме и «постмодернизме». «Октябрь», 1996, № 1.

Подарок Москве

МОСКВА — СТОЛИЦА РОССИЙСКИХ РЕФОРМ. Сборник. АМС/КРЕС, Москва — Женева, 1996.

1997 год — необычный, значительный для всех россиян, а в особенности для москвичей, год празднования юбилея Москвы — 850-летия со дня основания города.

«Восемь с половиной веков российской столицы — важное событие не только для москвичей и жителей России. Не сомневаюсь, что вместе с нами его широко отметят во всем мире, отдавая должное огромному значению Москвы для всего человечества как крупнейшего экономического, научного и культурного центра». Это слова Президента РФ Б. Н. Ельцина, предпосланные вышедшей несколько месяцев назад книге «Москва — столица российских реформ», ставшей, без сомнения, одним из первых подарков к знаменательной годовщине.

Составители сборника постарались собрать воедино самые разнообразные материалы, чтобы дать представление об особой роли Москвы в жизни новой, демократической России. Не претендуя на полноту раскрытия темы, вынесенной в заглавие книги, они предоставили слово и тем, кто руководит и управляет административной, экономической и социальной жизнью города, и тем, кто создает и приумножает его духовные и культурные ценности.

Мэр столицы Ю. М. Лужков рассказывает о «новой Москве» и перспективах ее развития в контексте реформ, стремительно преобразующих не только внешний облик, но и внутреннюю суть города и его жителей. Не счастье трудностей в деле руководства мегаполисом, но московский градоначальник настроен оптимистично: «Мы построим новую Москву, — говорит он, — прекрасный, богатый, безопасный город для богатых, здоровых и счастливых горожан».

Специальные разделы книги «Люди, меняющие Москву», «Москва сегодня и завтра», ««Великие москвичи» вчера и сегодня» дают возможность взглянуть на проблемы и насущные задачи нашего города

глазами тех, кто несет ответственность за сохранение неповторимых исторических ценностей и ценностей нравственных, за здоровье, благополучие и процветание всей столицы и каждого ее жителя.

Среди авторов сборника — Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II, Главный архитектор Москвы Л. В. Вавакин, члены правительства РФ и Московского правительства О. И. Лобов и В. И. Ресин; руководители крупнейших не только в стране, но и в мире музеев и очагов культуры — И. А. Родимцев, И. А. Антонова, В. А. Родионов, В. А. Садовничий; художники, музыкант, писатель...

Если к этому добавить еще, что в книгу включен краткий исторический очерк М. Геллера и хронология Москвы, а также представлен ряд структур, способствующих финансовому возрождению столицы, то становится ясно: сборник «Москва — столица российских реформ» может считаться настоящим справочником для тех, кто хотел бы лучше узнать Москву на современном этапе ее развития.

Знакомство с Москвой сегодняшней и было сверхзадачей составителей сборника, который издан в двух языковых вариантах — русском и французском, а в подготовке издания принимали участие Ассоциация международного сотрудничества (Москва) и Центр исследований предпринимательства и общества (Женева). Поэтому к читателям книги наряду с Б. Н. Ельциным обращается президент Франции Жак Ширак: г-н Ширак неоднократно бывал в Москве, хорошо знает ее и уверен, что «Столица новой России решительно, смело и мужественно идет по пути модернизации, адаптации, делает все, чтобы обрести статус полноправного международного центра». Свое доброжелательное непредвзятое мнение о нашей столице в части, озаглавленной «Москва — взгляд из Парижа», высказывают г-н Юбер Колен де Вердьер, посол Франции в Москве, коллега Ю. М. Лужкова г-н Жан Тибери, мэр Парижа, г-н Юбер Флао, Президент Торгово-промышленной палаты Парижа и другие.

«Москва — столица российских реформ» призвана оживить и укрепить исторически сложившиеся прочные культурные и дружеские связи двух великих народов, способствовать углублению экономического взаимодействия России и Франции. Недаром обложка книги укра-

шена великолепной фотографией одного из красивейших мостов Парижа — моста Александра III, построенного в честь подписания российско-французского договора 1896 года, первый камень в основание которого заложил русский император Николай II.

А. ЦЕЙС

«Слепого века строгий поводырь»

●
**Борис Чичибабин В СТИХАХ И
ПРОЗЕ.** Харьков, СП «Каравелла»,
«Фолио», 1995.

●
Так о себе мог сказать лишь поэт, остро сознающий не только свое поэтическое призвание, но и духовную, пророческую миссию.

Чтобы о себе так, много нужно выстрадать. И нужна святая и юродивая толстовская «энергия заблуждения»: мир рухнет, если я остановлюсь. Необходимо ощущение масштаба если не своего дара, то своей... любви. Да, именно любви к людям, которым Богом назначено высшее, а они бессмысленно растрачиваются в суете, низких страстях и лжи. «Как властен в нас бессмысленного зов, / как страшен грех российского развала. / Под ним нагнулись чаши всех весов, и соль земли ее добром назвала».

Борис Чичибабин острее и наивней, чем кто бы то ни было из современных ему поэтов, чувствовал это высшее (или, как сам он называет, — Главное), нес его в себе как мерило бытия. Он в себе хранил этот эталон, с которым неизменно соотносил окружавшее его, не поддаваясь искушению отчаяния и цинизма.

А ведь, кажется, как не ему, человеку, которому еще в юности довелось хлебнуть лагерной баланды по статье «антисоветская агитация», после освобождения помяться неприкаемым, изведать годы отверженности, непечатания, исключение из Союза писателей и т. п., было отчаяться и возненавидеть.

Но не случилось.

Своих бед Чичибабин не отделял от бед страны, к которой, несмотря ни на что, испытывал мучительную и, как ему казалось, неразделенную любовь. Хотя и ему чувство, что он-то и есть народ, не было

даровано изначально. Предстояло пройти свой крестный путь, чтобы оно родилось в нем, такое всеобидительное и в то же время столь обязывающее: «И огонь прожиг пяты босые, / когда и мне настал черед / поверить в то, что я — Россия — / земля, вода и сам народ».

Но это чувство великого родства вошло в него столь прочно и широко, что поистине одарило той замечательной русской всеотзывчивостью, которую так хотел видеть Достоевский. Поэт подтверждал ее своей душевной открытостью. Способностью внимать голосам разных культур и радоваться их богатству. Ему органически чужда была националистическая ущемленность и спесь, а национал-патриотизм вызывал не менее органическое омерзение.

И... боль. Боль за страну, где поднимаются ядовитые испарения шовинизма. По которой бродит уже не призрак коммунизма, а другой, еще более страшный, — призрак фашизма.

Чичибабин чувствует себя вправе на слова щемящей любви к России, за которую неустанно молится («Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю — молиться молось, а верить — не верю»), и на слова гнева, также обращенные к ней, «где от рожденья каждый / железной ложью мечен, а кто измучен жаждой, тому напиток нечем». Российские невзгоды — незаживающая рана его души: «Толкуют сны — и как не верить сну-то? / Хоть все потьмы слезой измороси. / Услышу: «Русь», а сердце чует: «смута», и в мире знают: смута на Руси. / А мы-то в ней, как в речке караси. А всей-то жизни час или минута. И что та жизнь? Мила ль она кому-то? / На сей вопрос ответа не проси».

Чичибабин не может примириться с этим роковым для России равнодушием к человеческой личности, к живой душе, не находящей себе ни покоя, ни нормальной жизни. И даже принимая происходящие в стране перемены, веря в их необходимость и благотворность, поэт твердо заявляет: «Я ж в недрах всякого режима / над теми тепло ореол, / кто вкальвал, как одержимый, / и ни хрена ни приобрел». Глядя на происходящее, он не может удержаться от сарказма: «Уж так, Россия, велика ты, / что не одну сгубила рать, — / нам легче влезть на баррикады, / чем в доме чуточку прибрать».

Он не отделял себя ни от тех ошибок, которые стали трагедией для страны, — ведь и он, подобно многим, верил в Революцию и торжество социальной справедливости, ни от молчаливо-послушного большинства в годы построения «развитого социализма». Он тоже жил «с живой

душой под мертвою стопой» тоталитарного государства.

Совиновность и покаяние — нерв чичибабинской поэзии. Поэзии, где пафос гражданственности пронизывает даже стихи, посвященные любимой женщине. Он ни от кого ничего не требует, он сам готов покаяться за всех. Эта высота суда над собой — не поза: в чичибабинском покаянии искренняя боль, он даже молчание в не столь давние годы считает частью лжи, «которая страшна бескровною виной».

Свое время он оценивает резко и нелюбительно, не ища оправданий и смягчающих обстоятельств: «позорный век позорного гражданства». Почти аввакумовская обличительная страсть раскаляет плоть стиха до прямой, нисколько не смущающей себя публицистики: «Словесомолы, неучи, ханжи, мы — тени тел, прикишие ко лжи, и множим ложь в ужасное наследство». Это стих 1969—1972 годов, времени преследований инакомыслящих, высылки и посадок.

Даже счастливая любовь не в силах заклонить и избавить поэта от этой гражданской горечи, примешивающейся к самым светлым и радостным чувствам. Может, он и хотел бы остаться в настроенной себе «обители из созерцания и любви», но для него это оказывается невозможным. Живое чувство откликается на нестроение и горе, принимая близко к сердцу общие для всех невзгоды. Даже отверженный поэт не замыкается в своей отдельности, а находит утешение и радость в сострадании.

И ему известны усталость и отчаяние, и его не миновали тягостные минуты, когда из истерзанной души рвется к небу вопль: «Я не могу любить людей, прости мне, Боже!» Однако они проходят, и снова Чичибабин повторяет нежные признания в любви друзьям, женщине, просто людям, задорные, шуточные или печальные. Все трудней расставания (уезжают), все тяжелей утраты (уходят из жизни)... Но неизменно важной всего для него человеческая подлинность, которая «светла от взаимной любви».

В красоте окружающего мира, в тишине и мудрости природы, в близости с любимой женщиной находит он успокоение и тепло: «Приветствуй все и все благодарю, / а зло и боль останутся поодаль, / пока есть в небе крохотка зари, / и есть трава, и есть луна и тополь». А многожды помянув Бога, не вменяет Ему в вину человеческую оставленность. Не у Бога надо просить помощи и чуда, повторяет он вслед за Зинаидой Миркиной, а «помочь

Богу нужно». Услышать его зов. Зов вечности, который не мешает поэту радоваться быстротекущей земной жизни, воспевать ее дары и наполняться ею.

И еще — культурой. Прежде всего — русской. Родной. Чичибабину присуща удивительная убежденность, очень личная и трепетная, что там, где были Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Достоевский, Толстой и Блок, — «там выживет Бог». Больше того — за Пушкина он все готов простить России. Нет, поэт далек от мессианства и сам опровергает идеи вроде богоугодности России или ее «особенной стати». Но и отказаться от своего романтического идеализма не в силах: отечественная культура — для него источник живого духа. Впрочем, не только отечественная. «Безумный век идет ко всем чертям, / а я читаю Диккенса и Твена / и в дни всеобщей дикости и тлена, / смеясь, молюсь мальчишеским мечтам». Поэт наития, далекий от книжности, Чичибабин тем не менее признается: «Мне ад везде. Мне рай у книжных полок».

Он сетует в одном из стихотворений: «Я слишком долго начинался». И в других стихах немало строчек, где отчетливо слышна горечь недооцененности, непризнания. Чуть больше года минуло со дня его смерти, перед нами — наиболее полное издание его поэзии и прозы, подготовленное еще при его жизни. Он не успел увидеть этой книги. Читая ее, открываешь для себя не просто настоящего, но истинно большого поэта. И еще раз понимаешь, насколько не все определяется мастерством. Что есть нечто большее, невыразимое словами.

Душа. Почва. Судьба.

Евг. ШКЛОВСКИЙ

С надеждой на постмодерн

●
Александр Эткинд. СОДОМ И ПСИХЕЯ. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., «ИЦ — Гарант», 1996.

●
Новая книга Александра Эткинда логически, методологически и идеологически продолжает его предыдущее исследова-

ние «Эрос невозможного. История психоанализа в России».

Автор исходит из достаточно рискованной гипотезы, что «переживания и их метафоры особенно интересны в те редкие моменты, когда жизнь многих меняется сразу и резко... Тогда у людей пропадает привычка жить, качество столь же ценное для них самих, сколь неинтересное потомкам». С этим, разумеется, можно не соглашаться, и я, допустим, тоже не согласна, ибо считаю историческим парадоксом ту ситуацию, когда мы несравненно лучше «знаем и понимаем» (в кавычках, конечно) духовно-душевные презрения любимцев богов, чем повседневную маелу, привычку жить их несчастных современников, которые с умственным скрипом их «не понимали». Но автор проводит свою гипотезу через обе книги четко, последовательно, с блеском и с несомненной установкой на соотнесение с сегодняшним опытом тектонического исторического сдвига.

Принципиальными ориентирами для автора являются понятия *модерна* и *постмодерна*. Если первый неизменно попадает под безжалостный скальпель, то вторым связываются надежды на будущее. Что же такое модерн, каковы его временные рамки и как — в идейном смысле — он соотносится с днем сегодняшним? Модерн для Эткинда — «это разрыв с традицией и болезненный процесс возвращения к ней в новых формах, переход в постмодерн». Из этого может следовать, на мой взгляд, как то, что мы сегодня находимся на этапе болезненного, но благотворного перехода в постмодерн, так и то, что модернов (равно как и постмодернов) в истории было много, и вообще история культуры есть неостановимое колебание между тем и другим.

Чем же характеризовался конкретный модерн Серебряного века? Автор выявляет в нем две тенденции, в соответствии с которыми и строит свое исследование: первая — *текст как жизнь* (так и озаглавлена первая часть), вторая — *жизнь как текст* (название второй части). Отношения искусства и жизни, проблематичные во все времена, в революционную эпоху становятся *инцестуозными*, полагает автор, применяя слишком, может быть, сильный эпитет: «И если революционеры, считавшие себя литераторами, видели жизнь как литературу, в которой неудачный текст можно и нужно переписать, то литераторы, считавшие себя революционерами, настаивали: их профессия больше, чем литература, а их символы больше, чем слова, их письмо творит жизнь...»

Первым из героев модерна появляется на страницах книги Леопольд Захер-Мазох, чье творчество было очень популярно у русского читателя конца прошлого века. Эткинд настойчиво и изобретательно ищет и находит в литературе Серебряного века свидетельства постоянного и обстоятельного взаимодействия с художественным миром Мазоха — переклички, реминисценции, аллюзии, заимствования. Знаменитые блоковские строки «Сердцу закон непреложный — Радость-Страданье одно!» автор решительно жестом перемещает в сферу садомазохизма. Конечно, все советское воспитание в читателе упирается: мы-то ведь куда как хорошо «понимали», что Блок предугадал советскую парадигму чувств, в рамках которой потом творили Маяковский и иже с ним: ну, например, «Под старую телегою рабочие лежат» — Страданье, но «Здесь будет город-сад» — Радость. Советскому человеку именно так радоваться и полагалось — под старую телегою, исключив какие бы то ни было эротические акценты.

Милые сердцу автора тенденции постмодерна подчеркиваются в наиболее тесно взаимодействовавшей с художественным опытом Мазоха поэме Михаила Кузмина «Форель разбивает лед». В этом произведении Кузмин, по мнению автора, осмысляет опасные глубины романтической идеологии, той устремленности *к жизни другой*, которая ведет к экзистенциальному отчаянию. «Второй удар» «Форели» может быть понят как ответ Кузмина на стихотворение Блока «Было то в темных Карпатах...»: «Ответ, указывая на мазохистские мотивы творчества Блока и всего русского авангарда, предлагал им существенно новую альтернативу». Какую же? «Жизнь больше не противопоставляется жизни *другой* как таинственной и недоступной реальности, а соотносится с ней, как с телом партнера».

Загадочный внутренний смысл стремления к радикальному изменению *старого, страшного* мира и *обыкновенной* телесности вскрывает Эткинд в творчестве Блока, концентрируя внимание по преимуществу на прозе последних лет его жизни.

Революционно-футуристическая жажда тотального преобразования, «метаморфозы» смыкается с агрессивно-архаическими тенденциями народной мистики в общем противостоянии либерально-буржуазной картине мира, поэтому, утверждает автор, ход мысли Блока в его поздних статьях в полной мере раскрывается в контексте именно скопческих верований. Соединяя новейшие идеи «стихийно-большезвизма» с упорной, из далеких веков

пришедшей мечтой народа о «царстве правды», Блок в статье «Катилина» предлагает «самое решительное из теоретически возможных *облегчение* проблемы коммунизма» — преобразование глубочайшей сущности человека через оскопление.

Эрос как сила необоримая и неподконтрольная властно-утопическим заданиям неизменно противостоит проектам окончательного устройства человека на началах высшей, идеальной (и проч.) справедливости и добродетели.

Первым, кто понял соблазн и опасности подобных утопических устремлений, был Пушкин. «Сказку о золотом петушке» Эткинд прочитывает как первую русскую антиутопию, как гениальное, но, к сожалению, не услышанное и непонятое предостережение: «Благополучие человека не может быть обеспечено ценой потери им сексуальности.<...> Скопцы и их проекты не принесут счастья ни царям, ни добрым молодцам — таков «урок» сказки».

Идеалы Серебряного века выявили свои угрожающие, роковые потенции в миро- и человекопреобразовательных заданиях большевиков, безжалостно утверждает Эткинд и подробно прослеживает трагическую историю перерождения мечты о новом человеке, человеке-артисте, сверхчеловеке, мечты, которую лелеял Серебряный век, в жестокую и тоскливую реальность бытия «простого советского человека»: «Новый человек должен отказаться и от принципа реальности, и от принципа удовольствия. Ему полагалось верить в невероятное, приспособляться к невыносимому, любить то, что люди склонны ненавидеть, и жертвовать своими личными интересами во имя абстрактных непостижимых целей. Сексуальное либидо должно быть редуцировано вместе с остальными индивидуальными потребностями, межличностные чувства — уступить место коллективным самоидентификациям».

Эткинд особо подчеркивает опасность убежденности во «всемогуществе культуры», убежденности, которую большевики унаследовали от Серебряного века и с которой, кажется, мы и сегодня не спешим распрощаться. Недооценка человеческой природы неизбежно ведет к тоталитаризму, настаивает автор и надеется, что эпоха постмодерна откроет нам глаза на то, что «культура-как-природа вместе с собственно природой требует принятия, изучения и охраны во всем их великолепном разнообразии».

(В заключение и в скобках — формальные замечания минимальны: не надо все-таки «Дневники» Блока путать с его «За-

писными книжками», а статью Андрея Белого «Штемпелеванная калоша» называть «Штемпелеванной культурой».)

Елена ИВАНИЦКАЯ

«Я вас приглашаю в рай»

Макс Жакоб. ИЗБРАННЫЕ СТИХИ.
Вступительная статья, перевод с французского и комментарии Аллы Смирновой. СПб, ИНАПРЕСС, 1995.

У каждого народа есть свои гениальные поэты, величие которых другим не понять. Остается принять на веру рассказы о гении, ибо на слово их принять невозможно. Достоянием чужого языка становятся не великие стихи, для этого они слишком хороши.

Тому существует и субъективная причина. Равные по силе поэты заняты собственными стихами, которые тоже хорошо бы, но невозможно перевести, за дело хватаются переводчики, а у тех слово слишком часто выскальзывает из слабых и неумелых рук.

Назавтра все будет чудесно! И утро
забрежит
В садах монастырских, на площади,
на побережье,
Волна серпантин унесет.
Все будет чудесно, я вам говорю,
и счастливые лица...
Все будут смеяться, а кто-то украдкой —
молиться.
Прощайте. Спасибо за все.

Великие стихи звучат иначе. В их ритмической поступи и словаре — абсолютность существования, то, что зовется приблизительным словом «совершенство». А потому они навсегда остаются в собственной литературе и ни в чьей иной.

Отсутствие размера и рифмы не играет никакой роли. Считается, что лучшая книга Жакоба — сборник стихотворений в прозе «Рожок игральных костей». На русском языке эти строки совсем не звучат, в них присутствует что-то невыносимо тургеневское, манерное, оживленное лишь изредка украденной строкой о све-

жих розах, пока не вторгается туда рассудочное безумие, типичное для авангарда, и тогда «роза есть роза есть роза есть роза».

Между тем поэт-авангардист выбирает любую тему, какова бы она ни была: «И когда у польского улана снарядам оторвало руки и ноги, разбило голову и остался лишь один-единственный глаз, этот глаз запел «Два гренадера».

Тут заключается парадокс, а вернее, трагическое противоречие, которое окрасило и творчество, и жизнь, и, вероятно, смерть поэта. Выросший в богатой еврейской семье, друг Арто и Мальро, Аполлинера и Пикассо, Сальмона и Арагона, типичная богема, Жакоб писал карнавальные стихи о карнавале, смешивая разные культуры и разные стили. Но, по всей вероятности, карнавал не спасает душу, это почувствовал и поэт. Он решил принять крещение. Перед тем дважды ему являлось видение. В первый раз он увидел Христа на стене своей комнаты, во второй — на экране кинематографа в тот же день, когда крестился. Друзья не поверили этим рассказам, розыгрыши Жакоба были им известны.

Стихи же его, где соприкасаются и смешиваются всевозможные образы и реалии, кажутся отвратительными именно своей интонацией, своей нарочитой смесью высокого с низким, а паче всего — своей нарочитостью.

Это я, это я, это я, Моисей,
Я в Землю Обетованную всех
Приглашаю. Бесплатный проезд
и тепло.

Соглашайтесь, вам здорово повезло.
Все туннели всех Красных морей
Я пророю лопатой своей.

.....
Послушайте!.. Это ведь я — Бог,
Это вам подтвердит любой.
Улыбка моя, как заря, светла,
Душа моя, словно солнце, тепла.
Это я — Иисус, мне незачем врать.
Я вас приглашаю в Рай.

Здесь следует вспомнить старую и по тому полузабытую легенду о том, как в монастыре акробат, не умевший молиться, воспользовался своим ремеслом. Он кувырчался перед изображением Богородицы. По легенде, молитва была услышана.

Но то — по легенде, которой не следует верить, ибо острая и сентиментальная выдумка заслоняет смысл либо отсутствие смысла. Не сказано ни слова о том, что, если акробат сорвется, в том будет лишь его собственная вина. Говорить что-то Богоматери, веря в нее или не веря, —

равно бессмысленно. Вероятно, здесь и проходит водораздел между верой и неверием, в обоюдной необходимости промолчать, когда так хочется что-то вымолвить.

Пусть дело твое станет твоим служением, пусть ты все делаешь от всего сердца. Страшно, когда нет необходимости в божестве. Но хуже, когда божество есть лишь предположение, лишь гипотеза, лишь риторическая фигура, потому что страшнее всего на свете — это «лишь».

Неспроста Жакобу никто не верил. Слезы восторга его — не слезы, восхищение — не восхищение. Как обстояло на самом деле, никто не ведает, ведь Жакоб придумал о себе многое, чуть ли не самого себя. И жизнь превратилась в немыслимый балаган. В балаган, где загорается свет и трещит кинопроекторный аппарат, где привычно путают Бога с Чарли Чаплином, вихляющим и кривляющимся Чарли с тросточкой и в котелке. Но так играть опасно. Ведь господь бог Шарло очень легко становится господином богом Аденоидом Хинкелем, и это превосходно знал тот же Чаплин, не зря он поставил «Великого диктатора».

Игрушечность существования, игрушечность веры, игрушечность аскезы — все это выливается в каких-то не совсем натуральных словах. Подлинности их мешает именно их игрушечность. В конце концов Жакоб устал. Он устал выдумывать себя и других, а потому бороться, даже сопротивляться. Незачем, незачем. От подобной усталости вряд ли спасает даже искренняя вера, а уж карнавальная, театральная — тем паче.

Коль выбирать, в какой же стороне
Какие травы станут мне постелью,
В какой земле под бархатистой елью,
Под белым камнем лечь
придется мне, —
Вот здесь, в Провансе. А пока средь
скал,
Средь веток земляничника и мирта,
Я подожду, покуда Ангел мира
Свой отворит серебряный портал.

Это лишь поэтические мечты. Жакоб скончался от пневмонии в лагере, скончался, когда уже — ходатайствами в самых высоких сферах — друзья добились его освобождения. Кто знает, вышел бы он на свободу и захотел бы вообще спасаться, а не принять — впервые в жизни — то, что предлагает судьба?

В карнавале таятся ужас и страх. Особенно если карнавал на своем излете. Тогда стихают былые восторженные голоса, тогда тягостная тишина повисает над толпой, тогда от костюма, какого-ни-

будь умопомрачительного домино, остается немного — один-единственный желтый лоскут на груди. И, когда гаснут фонари карнавала, зажигаются печи крематориев.

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

Выход из транса

Серия «Лики культуры», выпускаемая Институтом научной информации по общественным наукам (ИНИОН), уже достаточно прочно и достаточно солидно зарекомендовала себя. Тома зарубежных классиков теории и истории культуры один за другим попадают в списки «бестселлеров для интеллектуалов».

Уже вышли в свет однотомники М. Вебера, К. Маннхейма, Э. Трёльча, П. Тиллиха, В. Виндельбанда, двухтомник Я. Зиммеля, альманахи «Лики культуры», «Культурология. XX век», «Психоанализ и культура». На выходе еще несколько названий: однотомник Я. Бурххарда, антология «Опыт тысячелетия» и еще одна антология культурной антропологии «Хризантема и меч»; избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура «Христос и культура»; собрание сочинений Э. Кассирера; произведения Э. Геллнера, М. Шеллера... (Автор этого замечательного проекта и главный редактор серии «Лики культуры» С. Я. Левит.)

Что, однако ж, объединяет авторов серии помимо того, что они в большинстве своем — признанные классики философии, жившие и творившие преимущественно в конце XIX — первой половине XX века? Суть в самом слове «культура», ключевом гуманитарном понятии, которому в данных книгах дается подробное и разнообразное толкование. Именно тогда, когда XIX век — не как чисто хронологический, но как духовный этап — мучительно и трудно переходил в век XX, когда рушилась прежняя устоявшаяся «прекрасная эпоха», внутри которой все, казалось бы, было размечено и рассчитано как на большой академической картине, человеческое сознание уяснило новую метапространственную ситуацию. Окончательно прочувствовало, что существует уже не в прежнем двухмерном мире, огра-

ниченном субъектно-объектными отношениями. Третий мир, мир культурных ценностей, не сводимых к чистой субъектности либо объектности, властно заявил о своей суверенности, требуя от философии общения с собою на равных.

Но «культурные ценности» — до сих пор для нас словосочетание куда более зыбкое, чем «религия», «искусство» или «политика». Никто не мнит слово «культура» чужим, но всякий понимает его на свой манер, чаще всего сводя к чисто вкусовым обстоятельствам некоего идеала «достойной жизни». Сравнительно недавно довелось прочесть и услышать, как один гуманитарий правого (или, как сейчас уже по-новому вывернулось, левого) толка, скорбя о доперестроечной России, указал, что она, прежняя Россия, тем была хороша, что в ней продавалась «капустта провансаль с виноградниками» и «икряная вобла», которых сейчас не сыскать. Другой же литератор, совершенно иного, сугубо прогрессистского склада, с меньшей решительностью заявил, что идеалы западной демократии тем, дескать, притягательны, что «можно по утрам есть йогурт». Это лишь пара из возможной массы примеров — вся масс-медиальная среда вокруг нас пестрит такого рода философской кулинарией.

Дело, разумеется, не в неточностях подобной прикладной культурологии (неверно насчет «икряной воблы» — ее и сейчас при желании нетрудно достать, неверно и насчет йогурта — прежде можно было каждодневно вкушать простоквашу, продукт с органолептической и медицинской, а следовательно, и общеполитической точки зрения совершенно равноценный). Дело в другом. До сих пор в русской традиции культура воспринимается либо «в плане воблы», в жанре бытового анекдота в духе Зоценко, либо — несмотря на обилие кафедр культурологии — по сути, нигилистически игнорируется вообще (и так, мол, уже есть все те же религия, искусство и политика, зачем неопределенно множить круги интеллектуально-исторических сфер?).

Вышеперечисленные же философы — от Виндельбанда до Тиллиха — на примере многовековых религиозно-художественно-политических реалий показывают, что, только осмыслив разнообразное культуротворчество человека в качестве совершенно особой среды, точнее, в качестве нового измерения, мы и сможем в какой-то степени понять, как, собственно, человек действует в истории и зачем она ему, эта история, вообще нужна. Вне такого философского культуроцентризма нам всегда будет не хватать чего-то сверхнаущного — той тонкой посреднической

От редакции. В рубрике «Гуманитарный факультет» «Октябрь» предполагает опубликовать значительные работы из этой серии до выхода их в свет отдельными книгами.

энергии, которая только и может соединить неуемно-подвижный, но одинокий мировой Дух Гегеля с незыблемо-устойчивой, но тоже фатально одинокой вещью-в-себе Канта.

Один пример из «Ликов культуры» — взятый почти наудачу. Германо-американский богослов Пауль Тиллих, задавшись в своей «Теологии культуры» вопросом о причинах «почти шизофренического раздвоения» современного сознания между «религиозным» и «светским», находит корень беды в игнорировании того общего, но многомерного поля культуры, внутри которого оба аспекта сосуществуют. Религия, понимаемая не как «особая функция духовной жизни человека», но как особый «аспект глубины», на все функции накладывающий свой отпечаток, и есть религия, воспринимаемая культурно-исторически, в некоем реальном трансцендентализме общей теории ценностей. Поясним мысль Тиллиха сугубо русским примером. Стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» есть факт искусства. Ответное стихотворное послание митрополита Филарета Московского, недавно причисленного Православной Церковью к лику святых («Не напрасно, не случайно...») — скорее факт богословия, риторическое утверждение божественного достоинства, а не праздной бренности человеческой жизни. Но исторический момент встречи этих двух поэтических выраженных интуиций есть факт культуры как метапространства взаимодействия, в этой своей уникальной взаимодейственности и долженствующего быть истолкованным. Пособиями к такому толкованию книги данной серии и призваны служить.

«Выход из транс» Г. Померанца* — первый выпуск серии, посвященный трудам нашего современника и соотечественника. Поэтому сразу возникает вопрос: оправдано ли такое «причисление к ликам», действительно ли данный труд (именно труд, ибо он компактен и целостен, несмотря на то, что представляет собой сборник статей разных лет) заслуживает включения в ранг «стандартных книг» философии, как принято говорить в англоязычном мире, то есть книг с устойчивой репутацией, книг надежных, одинаково пригодных и для медитативного чтения, и для учебных целей?

Авторская репутация Г. Померанца — от первых востоковедческих статей до книг, сперва тамиздатских, а теперь одна за другой выходящих в России, — складывалась три с лишним десятка лет. Как фи-

лософ он связан со школой ИНИОНа, с кругом таких авторов, как Гальцева, Роднянская, Ляликов, Лёзов, Чаликова и другие. Речь идет не о каком-то направленческом единстве, но об общем русле формирования философского творчества. Посвятив массу времени реферативной работе (ведь Институт научной информации по общественным наукам и создавался изначально как штаб реферирования зарубежной гуманитарной литературы для идеологического аппарата ЦК), они нашли в ней духовные ниши для продумывания собственных идей. Идей, уже никоим образом не «служебно-записочных», но восстанавливающих достоинство вольного любознания. Углубленное знакомство с новейшими, нередко «спецхрановскими» изданиями о странах Востока, так называемого «третьего мира», переживающих сложные процессы модернизации или «ускорения» либо, напротив, консервативно-фундаменталистского «торможения», имело для Г. Померанца очень большое, воистину инспиративное значение. Мировой хаос идеологий побуждал к поискам особого, «неэвклидова» пространства истории. Европоцентризм — что можно проследить по предлагаемым читателю текстам — преодолевался вместе с характерным новоевропейским «умоцентризмом», привыкшим вослед Гегелю считать процесс понимания истории процессом исчерпывающего ее разъяснения, так что в итоге-то (что с особой остротой зафиксировала постмодернистская критика идеологий) от исторического материала вроде бы ничего не осталось, как в пустом, отработанном археологическом раскопе. «Материя исчезла, остался один гуманизм», — как саркастически выражает наш автор итоги умо- или идеоцентрических усилий.

Особый интерес книги Г. Померанца в том — причем интерес, явленный в живой хронологической шкале, своего рода хронотопе сомнений и находок, — что подобное давнее умоискушение дано не в чистой оппозиции, как у Кьеркегора, Бахтина или Поппера, но в картине непосредственного отторжения «чужого», которое совсем недавно, порой буквально на той же странице, было «своим». Пафос всеизъяснимости — гегельянски-суперрациональный либо шпенглерянски-иррациональный — не опровергается антагонистически, но внутренне дезавируется как системное самовольство, пробавляющееся научными мифами.

Читатель, правда, сталкивается порой с отвлеченными конструкциями, где Ренессанс, к примеру, противопоставляется барокко, а позитивизм — декаданс, как периоды веры в разум противопоставлены

* Григорий Померанц. Выход из транс. М., «Юрист», 1995 (серия «Лики культуры»).

периодам развенчания последнего. Ритм этот абсолютно неадекватен ключевым фигурам времени вроде Дюрера, который самозабвенно почитал разум и беспощадно его в своей «Меланхолии» развенчал. Если же говорить о духовных течениях, то мы знаем, что зачастую импрессионизм переплетается с символизмом, как два побега из общего корня — два побега, породившие в итоге искусство Марселя Пруста. Бытуют в книге и этноцентрические мифы, создающие лишь иллюзию толкования, как бы вуалирующие апорию — неразрешимую задачу. Вряд ли, если мы действительно хотим увидеть, что происходило и происходит в истории, целесообразно полагать, что какой-то из этносов бывает более безудержно в судьбах своих, по выражению Г. Померанца, «открытым бездне», — роковым трагедиям бытия, нежели любой иной. Все открыты и все закрыты судьбе до своего часа. Наконец, еще одним типичным редутом предрассудков остается своего рода «стратолатрия», когда создается своеобразный культ определенного слоя общества. Рабочие, как было когда-то, либо ближе к нашему времени крестьяне или интеллигенция идеализируются, воспринимаются как вершина, будучи причастной к которой, можно с охватом, по-хозяйски, окинуть взором всемирно-историческое пространство.

Но предрассудки и мифы у нас на глазах обнаруживают свою несостоятельность. «Решающая трагедия нашего времени — это трагедия интеллигента», — писал когда-то Г. Померанц, но подчеркивает, что сейчас считает этот тезис неверным. И это только один из многих моментов ментального самоосвобождения. Изживание «одноточной теории» (по выражению самого автора) и выход к созерцанию нелинейного поля — равно в минувшем, настоящем и будущем измерениях культуры — происходит крайне эффективно и ярко, мы бы даже сказали, живописно (отдаленно, конечно, очень отдаленно напоминая крушение романтико-идеалистических иллюзий у Ницше). Тексты у нас на глазах становятся прихотливо-стереоскопичными.

Два фактора являются тут решающими. Во-первых, опыт изучения восточных религий, в первую очередь буддизма и дзэн-буддизма. Тонкое вчувствование в дзэнские парадоксы приближает автора к многомерному бытию, увводя от искусства гносеологических абстракций.

Второй фактор — искусство, его переливающая духовная энергия. Искусство во всех его модусах, в инфернальном гротеске и возвышенных сублимациях. «Квадрильон» (1962—1963) — это замечатель-

ный этюд в босховско-шемякинском духе, пестрое чистилище гиперинтеллектуализма, где единственной путеводной надеждой служит ирония. И, напротив, начиная с вводного очерка «Довлеет дневи», в тексте зачастую доминирует умиротворенное созерцание, созерцание изотворческое, явленное как вершина культуры, с пейзажами (коктебельскими и пицундскими закатами) в виде своих парадигм, в виде икон природы, «выражающих невыразимое» (согласно знаменитому определению сути искусства у Гете). Многочисленные цитаты из стихов и поэтической прозы (из Волошина, Пастернака, Д. Андреева и других) усиливают эффект того, что автор называет «иконологическим», или «ипостасным», мышлением, которое делает видимое ведомым без ущерба для Целого.

Конечно, панэстетизм (и в этом тоже сказывается печальный опыт немецкой философской романтики, а вслед за ней — очень многого, что связано с понятием пресловутой «русской идеи») может быть столь же нигилистичным к объекту познания, как и панинтеллектуализм. Но Г. Померанц в лучших своих страницах умеет тактично удержаться на границе искусства и бытия, сохранив ту меру ответственности, благодаря которой только и можно постичь множественность исторических миров. «Формы сознания, достигнув полноты развития, сознают свои границы и необходимость диалога», — пишет автор, закрепляя принципы этой онтологической эстетики. История не просто «могла произойти иначе», она вечно происходит иначе, то есть сразу в нескольких модусах, догадка о которых и открывает нам суть диалога культур.

Цитатно-ассоциативная насыщенность сочинений Г. Померанца часто заключает в себе плодотворнейшие намеки, не огрубляя эти намеки утяжеленными выводами. В самом начале доклада «Выбор XXI века», итогового по отношению ко всей книге, он напоминает нам, как ревнитель старины адмирал Шишков, недовольный словом «развитие» (калька с французского «développement», введенная Карамзиным), возражал, что это, мол, «расщепление веревки, и ничего хорошего здесь нет». Историческая — равно и вольная, и подневольная — наука с тех пор во многом таким «расщеплением веревки» и занималась. Можно, однако же, вспомнить и обратную цель, намеченную в Соломоновом учении о том, что «нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» (Екклезиаст, 4, 12). Если и не абсолютно всем содержанием, то по крайней мере главной интенцией своей книги наш автор

показывает, что ему куда симпатичней строй второй метафоры.

Читатель, который захотел бы изучить все ранессансно-барочное христианство на базе одних только «Мыслей» Паскаля, оказался бы в итоге крайне обделенным. Но он был бы куда более обделен и разочарован, если бы захотел обойтись без этих «Мыслей». Всякая аналогия хромает, но, мы думаем, примерно то же можно сказать и о «Выходе из транса». Пусть книга Г. Померанца не заключает в себе всей философской суммы оттепельно-застойного времени вкупе с «катастройкой» (и грешит своими немалыми — хотя и наглядно самореставрирующимися — изъянами). Но без нее теперь, наверное, уже

не обойтись всякому, кто к этому диковинному времени исследовательски неравнодушен — будь то ученый, студент либо простой любознатель.

Будем надеяться, что и последующие выпуски серии будут столь же полновесными и неспранными. В период, когда понятие фундаментализма обретает столько превратных оттенков, превращаясь скорее в боевой клич, нежели в формулу углубленного духовного самоопределения, всякая истинная фундаментальность является установкой в высшей степени культурустроительной, в равной мере и созидающей культуру, и изъясняющей ее превратности и перспективы.

Михаил СОКОЛОВ



Славное было время

Русский писатель идет по улице, на поводке у него дрессированная мышь, за пазухой у него комплект перьев страуса, на лацкане у него значок «Я не транссексуал» (Ох, эти бесосновательные отрицания! — как пошутили в свердловской газете «Новая хроника»: в ответ на книгу Лимонова «Это я — Эдичка» папа крокодила Гены Успенский написал книгу «Нет, это я — Эдичка»), в кармане у него портсигар, подаренный его бабушкой его дедушке, когда последний уходил на фронт (или это кисет... Что-то мучительно-молочное связано с этим кисетом...), в очках его вселенская тоска, в башке у него — нет, не Ленин — Айседора Дункан, Уильям Берроуз и президент Украины Леонид Кучма. Писателю мерзко, зябко, ветрено. Он стоит на мосту, он входит в подворотню, он встает на путь воина, он садится на канализационную решетку, он запрокидывает голову, он сглатывает смешок, он не разбирает дороги. «А что, барин, черт есть? — Когда как». Это, кажется, из Сигизмунда Кржижановского. Нет, из Сергея Заяицкого. Времени нет, видно во все стороны света, но писателю не до того. «Времени нет? — Когда как». В современном изобразительном искусстве сезон-два назад самой модной была тема «самоидентификации» и «аутентичности». Дескать, мир так разобран, что идентификация невозможна. При этом сам художник неплохо самоидентифицировался как участник мирового художественного процесса, работающий над модной темой самоидентификации. Русскому писателю труднее: ему традиционно мало дела до моды. Так уж случилось — на поводке мышка, за пазухой перья.

Зуфар Гареев пишет о расчлененке в «Мегаполисе». Лев Рубинштейн придумал жанр ококультурных эссе для политического еженедельника «Итоги». Владимир Потапов печатает в «Неделе» полезные советы, как ловить мышей с помощью транспортира и циркуля. Скандальная газета «Еще» издавалась поэтом Владимиром Линдерманом. Юлия Латынина сочиняет экономические обзоры, а Андрей Левкин редактирует что-то политическое в своей Риге. Владимир Тучков служит репортером. Пригов опубликовал статью в «Русской недвижимости», Кибиров — стихи в «Гурмане». В той же «Русской недвижимости» я поместил текст о Бодрийяре, а в «Медведе» была публикация о Деррида. Евгений Бунимович пишет в «Что делать?» очерки о Москве. Газетные колонки ведут Кабаков, Эппель, Шендерович, Жванецкий, Рассадин и мн. др. И все это не говоря об армии писателей, сочиняющих книжные, кино- и другие рецензии. И дело в том, что все эти граждане не просто продали свои таланты шерханам ротационных машин, а в том, что они активно оттягиваются на своих боевых позициях, протаскивая в солидные органы огромное количество русской литературы. Потапов — циркуль, Латынина, рассуждая о Чубайсе, — какую-нибудь Гераклею и пару красивых легенд из голландской истории. Солидные люди вкладывают деньги, обустроивают дело, а русская литература ввинчивается себе внутрь и давай плодоносить. Один из самых рискованных и интересных медиа-проектов последнего времени — журнал «Гала-Спорт». Посвящен вроде спорту, а на поверхность сплошная культурология. Медий у нас, в общем, полно (есть даже журнал «Козы и овцы», как я недавно обнаружил), и почти в каждом из них найдется место тому или иному русскому писателю.

В общем, случилось страшное. Когда ваш покорный слуга только начинал заниматься литературной деятельностью, печатал в конце восьмидесятых первые заметочки в «Урале» и «Литературке» и писал внутренние рецензии в областном издательстве, за это платили так хорошо, что, скажем, свою журналистскую зарплату в «Вечернем Свердловске» я просто не получал и она скапливалась себе в сбере-

гательной кассе. Славное было время — я застал от него жалкие крохи. Но ведь еще десять лет назад стать публикуемым хотя бы на среднем уровне писателем значило стать вполне обеспеченным человеком. Причем обеспеченным надолго. Строго говоря, несколько тысяч старых советских писателей до сих пор существуют на заработанное тогда, эксплуатируя старые должности и связи, распродавая антиквариат и сдавая квартиры рыцарям мелкооптовой торговли и дульцинеям челночного бизнеса.

Было ведь время, когда в ЦДЛ ходить было престижно, модно да и откровенно интересно. Несоюзная молодежь как только не ухищрялась, чтобы проникнуть к буфетной стойке и выпить рука об руку с классиком. «Черным кофе двойным в цэдээле... — Врешь ты все! — Ну, какао в кафе», — Кибиров. Это особо странно вспоминать сегодня, когда ходить не хочется уже вообще никуда. Только в гости к друзьям.

Так вот, даже я, хлебнувший от этой совпиковской чаши ничтожнейший из глотков, вспоминаю о тех временах с щемящей тоской. Все было ясно с карьерой писателя. Надо было становиться секретарем творческого союза и автором «Роман-газеты». Я бы, скажем, с большим удовольствием стал советским писательским секретарем.

Сейчас писатели вынуждены работать. В тех же газетах. Теми же челноками. Служить в банках. Считать деньги. Очень больно смотреть, как живые классики, люди, сделавшие для русской литературы не меньше, а часто и больше, чем, скажем, их старшие друзья (пусть это будут герои-поэты шестидесятых), вынуждены — мягко говоря, не в самом молодом возрасте — бороться за существование. Какая-то безнадежно американская жизнь: то, что ты делаешь сегодня, обеспечивает тебя сегодня, а завтра нужно будет делать что-нибудь другое. Собачий капитализм. Люди не должны успокаиваться на достигнутом. Динамики для. Пакость, мерзость, друг человеку волк. Или, как писал Басинский, гусь свинье волк. Дайте мне генсека на хороших батарейках. Колбасу по два двадцать я не прошу, но дайте хотя бы генсека. Галковский очень здорово цитировал Брежнева, вручающего орден Карпову: «Анатолий, дорогой, ты это... спокойно себе это самое...» Можно было спокойно себе это самое.

Можно было, например, пить спиртные напитки. Неофициальные писатели пили их еще и со значением: известно, что это была форма противостояния режиму. Я неофициальным писателем особо не был, печататься стал довольно быстро, вскоре смог сам печатать и себя, и других (в кооперативном издательстве, в существовавшей при нем периодике, чуть позже в «уральском» разделе «Текст»), но спиртные напитки вполне пил. О многих эпизодах этой эпохи у меня остались самые нежные воспоминания. Скажем, о том, как в Свердловск приезжал великий русский поэт Александр Еременко. Приезжал довольно часто и мог оставаться довольно надолго: однажды, скажем, приехал на три дня и застрял на полгода. Тихое было время, шло само по себе. Можно было на полгода (ну, на неделю) запить, и ничего бы не произошло.

Еременко любил и умел останавливаться в Свердловске у Жени Касимова, прозаика, пьяницы и средоточия городских литературно-художественных связей. Сейчас Женя не пьет и служит главным редактором радиостанции «Студия "Город"», а тогда он пил сильно, и его жена Лена, исчерпавшая все способы борьбы с зеленым гадом, стала обводить кружочком в календаре те числа, в кои Касимов позволял себе рюмку водки (он если позволял одну, то позволял и еще двадцать четыре). Это, как ни странно, на Женю воздействовало сильнее любых смертельных угроз. Он вскрикивал: «Ленка меня обведет» — и шугался в угол от манящего горлышка портвейна.

Так вот, Еременко останавливался у Касимова, а поскольку свердловская литературная общественность считала «Ерему» полубогом и гением (я, в общем, и сейчас придерживаюсь этого мнения), то народная тропа к нехорошей касимовской квартире натурально не зарастала.

Так вот, наконец-то я приближаюсь к какой-то морали. Истинное, волшебное счастье: я приходил утром на работу в «Вечерний Свердловск», делал там с девяти до одиннадцати свои дела, а потом шел к Касимову, благо редакцию от его дома отделяет одна выкуренная сигарета (я тогда не только пил, но и курил табак). У Касимова валялись там и сям в запорожских позах перегрузившиеся ночью литераторы. Мой звонок их будил, они с трудом отпирали дверь, натягивали штаны, кряхтели, продирали глаза и ноздри, влачили чистить редкие вязкие зубы. Я меж тем брал трехлитровый бидончик, спускался на улицу и мимо областной публичной библиотеки имени В. Г. Белинского проходил к «стекляшке», принадлежавшей некое-

му нерусскому Тенгизу по прозвищу Батон. А это было достаточно напряжное в плане градуированных жидкостей время. У Батона можно было запросто купить пива, но лишь в совокупности с порцией дрянной еды из картошки и мяса (две бутылки на одну порцию). Это было довольно дорого, тем паче что требовалось товара много, но мы были людьми не самыми бедными и могли позволить себе пользоваться передовым на тот момент сервисом. Я покупал несколько наборов, пиво складывал в сеточку, тюрю мне наливали в бидон, и я возвращался на касимовский балкон. Литераторы еще зевали, загадочно шурудили руками под одеялами и спальными мешками и чистили перышки. Я успевал занять единственное на балконе кресло (предположим, что стояло прекрасное уральское лето, воспетое поэтами, композиторами, художниками, писателями) и приняться за пиво и тюрю, и целый солнечный день впереди, и будут еще люди, напитки, рассказы и приключения, и неизвестно, что ждет ночью и утром, и мир затаился во всей своей прекрасности, как у писателя Газданова.

Это было отчетливое счастье. Как отчетливым счастьем было прийти с похмелья в хорошую пельменную на улице Горького (там же, в Свердловске) и позавтракать пельменями со стаканом доброго портвейна. И никуда не торопиться.

Времена эти, похоже, ушли безвозвратно. Писатель, в общем, должен лежать на диване. Должен просыпаться в полдень, долго бродить в распахнутом халате по дому, зевать, потягиваться, потом чуть-чуть работать, потом обильно обедать, после чего лежать до вечера на диване, а вечером обильно ужинать с водочкой и икрой. Но эпоха заставила подняться с дивана, включиться в общественно-политическую жизнь, ходить на традиционно скучные светские мероприятия (разве может русский писатель иначе отозваться о светских мероприятиях?), общаться в каких-то офисах с какими-то людьми... Слог сбивается, поэзия дышит менее охотно, нежели по случаю описания пьянок.

Но вместе со всеми этими неприятными вещами выяснилась еще одна важная вещь: эти неприятные вещи не столь уже неприятны и не так страшны. Оказывается, жить в буржуазном напряжении можно весело и интересно. Оказывается, писатель, которого согнали с дивана, способен не просто заблудиться в тридцати трех соснах новой жизни, но начать порождать какие-то новые тексты: хотя бы про циркуль в «Неделе». Или гляцевые боевики, которые начинают писать для того, чтобы заработать пару-тройку тысяч долларов, а потом и зарабатывать начинают по-большому, и понимают, что писать боевики — дело очень интересное. Не менее художественное и возвышенное, чем писать стихи.

Но и писать стихи вдруг оказывается делом вполне достойным. Пусть в девяносто пятом и девяносто шестом в модных изданиях смеялись над писателями, а интеллектуалов выгоняли с телевидения. Всегда найдется русский писатель, который перетерпит любую задницу. Который и в красочный период первоначального накопления не бежит на рынок пользоваться блистающими новыми возможностями, а и эту оказию пересидит в котельной и дворницкой. Ему не обидно, что жизнь, видите ли, пронесется мимо. Он уже много знает о жизни и о себе. Он понимает, что и деньги, в общем, зарабатывать необязательно и в светящуюся жизнь лезть необязательно, если у тебя есть возможность читать нужные книги, писать нужные книги и общаться в правильных местах с правильными людьми.

Николай Байтов устраивает «литературный карнавал». Несколько критиков должны делать доклады про своих любимых писателей, но доклады обратные — о том, насколько этот писатель плох. Байтову невозможно ответить, что идея несвременна, что литсалоны, для которых подобные игры организуются, бесконечно наскучили, что литературная тусовка, к которой он обращается, не является примером креативности, перспективности и интеллектуализма. Единственное ее достоинство — свойскость. Но Байтову нельзя отказать, поскольку известно, что у него все получается хорошо.

В конце концов литсалоны могут быть маргинальными, поэты бедными, писатели вялыми, а все равно: литературная среда в России в ближайшее время вряд ли переведется, и к этой среде, как бы она себя ни вела, лучше относиться с уважением.



Д. С. Лихачев. Без доказательств. СПб., Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1996. 5000 экз.

Этой книгой начинается новая серия «Русский ПЕН-клуб», в которой уже согласились принять участие М. Кураев, В. Соснора, К. Азадовский и некоторые другие известные литераторы. И тем не менее, несмотря на престижное и даже респектабельное серийное название, сборник Д. С. Лихачева — явление довольно странное. Автор предупреждает: «Эту книжку не надо читать подряд; раскрывайте ее где попало, может быть, и найдете для себя что-то полезное». И, верно, здесь нет ни сквозного сюжета, ни героев, ни общей темы. В записях (самая большая занимает полторы страницы, самая маленькая — всего строку), недатированных, однако расположенных по алфавиту, затронута то, что интересует и волнует прожившего долгую и трудную жизнь человека и ученого: воспитанность, память, культура, этика, в том числе и научная, национализм и патриотизм. Квинтэссенцией многих записей может служить такая: «Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры, «накоплений» культуры, память — одна из основ поэзии, эстетического понимания культурных ценностей». Перед читателями своего рода лексикон понятий, но понятий одного человека. Книга и вправду похожа на словарь, если учитывать и выбранную автором форму, и «отсутствие доказательств», а, следовательно, вполне объяснимую категоричность высказываний. И хотя некоторая старомодность сложившихся взглядов и убеждений очевидна на фоне современной, пусть не отсутствующей вовсе, зато текучей, изменчивой нравственности, такая старомодная определенность и порядочность вызывает естественное уважение. Откуда берется нравственность, как умудряется человек не утратить ее в нашем бурном веке? Каждый может дать на этот вопрос собственный ответ. Д. С. Лихачев решил его для себя твердо и бесповоротно: «Человек рождается и оставляет по себе память. Какую он оставит по себе память? Об этом нужно заботиться уже не только с определенного возраста, но, я думаю, с самого начала, так как человек может уйти в любой момент, в любой миг». Прочитавший это не только лучше поймет другие записи, он явнее представит личность автора, девяностолетнего которого и посвящена книга.

Вольфганг Брун, Макс Тильке. История костюма от древности до Нового времени. М., «ЭКСМО», 1995. 10 000 экз.

Одежда, как кажется, в первую очередь порожденная насущной необходимостью, повседневной практикой, на самом деле несет огромное количество смыслов. При внимательном рассмотрении отрезки ткани, швы, пуговицы и петли предстанут средоточием символов, практическое неизбежно будет оттеснено социальным. Что же такое одежда? Как она изменялась во времени и пространстве? — на это отвечают авторы книги. Ее не слишком обширное и все же по-немецки обстоятельное вступление дополнено двумя сотнями цветных и черно-белых таблиц, изображающих те или иные костюмы, моды, художественные стили. В свою очередь каждая таблица снабжена краткими пояснениями. Египет, Вавилон, Персия, Греция, Германия и прочие страны и народы проходят перед глазами. Кроме исторических костюмов, представлена также народная и национальная одежда. Особо трогательное чувство вызывает Приложение, где авторы предлагают познакомиться с выкройками, «которые в совокупности отражают основные особенности важнейших типов одежды всех времен и народов». Любители же необычных обобщений должны обратит внимание на авантитул, там указано время и место издания, с которого сделан перевод: «BERLIN 1941», и, вероятно, не только история костюма, но и история человечества предстанет перед ними в несколько ином свете.

Лео Перуц. Ночи под каменным мостом. Снег Святого Петра. Київ, «ЛАБИРИНТ», 1996. 5000 экз.

Австрийский писатель Лео Перуц если и знаком нынешним читателям, то скорее по энциклопедическим справочникам, где его имя упоминается среди писателей-экспрессионистов. Вышедший несколько лет назад роман «Мастер Страшного Суда», несмотря на то, что это одно из лучших произведений Перуца, особого интереса не привлечет, а между тем автор, относившийся к «пражской школе», работал в столь уважаемом ныне жанре «магического реализма». В том же жанре созданы и

романы, представленные в книге, произведения неравноценные и лишь чудом оказавшиеся под одной обложкой. Хотя автор всячески нагнетает страхи, создает тревожную атмосферу, «Снег Святого Петра» — произведение довольно слабое. Оно искусственно по сюжету, а если сравнить происходящее в нем с событиями XX века, то искусственность и бледность романа станут очевидными. Основываясь на старинных хрониках, барон фон Малхин выяснил, что вспышки религиозного фанатизма связаны с распространением грибка, паразитирующего на хлебных злаках. Барон решает культивировать грибок, чтобы вдохнуть в народ религиозность и восстановить империю Гогенштауфенов. Но крестьяне, отведав зараженного хлеба, вместо религиозного экстаза почувствовали жажду социальных переустройств. Имение барона сожжено бунтовщиками. Барон погиб. Куда значительнее роман «Ночи под каменным мостом» — произведение, основанное на мифах старого пражского еврейского гетто. Тут нет определенного сюжета, это причудливая череда историй о прошлом города Праги, истории, которые рассказывает домашний учитель, студент медицины Якоб Мейзл своему пятнадцатилетнему ученику. Из рассказов встают не только человеческие судьбы и отношения, но нечто большее — таинственная и величественная Прага шестнадцатого века, город мудрецов и алхимиков, бедняков и богачей. В такого рода произведении не может быть четкой последовательности событий, ведь время не движется по прямой, оно накидывает свой покров на землю и людей, словно сеть. Случается, люди ускользают из времени — так бывает в мифе, иногда им дается временная фора — так случается в любви. Главное в таких книгах — атмосфера, ощущение прекрасного и необыкновенного, что посетили мир — пусть когда-то, в далеком прошлом. И четыре основных героя — это как бы четыре достоинства, даруемые людям Богом: император Священной Римской империи Рудольф II — воплощение власти, прекрасная Эстер — воплощение красоты, каббалист рабби Лоэв, создавший глиняного человека Голема, — воплощение мудрости, банкир Мордехай Мейзл — воплощение богатства. Каждый из них будто бы «не полон», каждый нужен другому. Человек ищет недостающее ему, он терзается в этих поисках, но в них же его предназначение.

Николас Гудрик-Кларк. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию. Серия «Подземелья истории». [Б. м.], АО «Евразия», [б. г.]. 15 000 экз.

С середины шестидесятых годов стало появляться много сочинений, объясняющих секрет влияния Адольфа Гитлера на массы его связью с «черными», потусторонними силами. В отличие от подобной литературы, рассчитанной на откровенную сенсацию, книга оксфордского ученого, доктора философии Н. Гудрика-Кларка представляет серьезное исследование по истории возникновения оккультно-националистических обществ в Австрии и Германии конца XIX — начала XX века. Автор рассказывает о людях, стоявших у истоков ариософских культов, таких, как Гвидо фон Лист, И. Ланц фон Либенфельц и Р. фон Зеботтендорф, один из основателей знаменитого общества Туле. Считается, что это общество сыграло огромную роль в становлении Гитлера как политического лидера, что оно буквально воспитало его, «выкормило» из таинственных оккультных источников. На самом деле Гитлер никогда не состоял в обществе Туле и не имел облаченных мистическим знанием учителей, хотя, по свидетельству фон Зеботтендорфа, «члены Туле были людьми, к которым в первую очередь обратился Гитлер, и они были первыми, кто пошел на союз с Гитлером». Автор исследования развенчивает столь популярный ныне миф об оккультных корнях нацизма, объясняя влияние Гитлера на немецкий народ с позиций истории. К сожалению, истина не всегда торжествует, читателю куда интереснее обращаться к книгам, может быть, и менее документированным, зато сильнее воздействующим на воображение. Мысль о магических силах, возносящих людей на самые вершины власти, чрезвычайно привлекательна, ибо вера в магию основывается на архетипических слоях нашего сознания.

Георгий Адамович. Стихотворения. Томск, «Водолей», 1995. [б. т.].

За несколько лет до смерти Г. Адамович опубликовал две книги, как бы подводящие итог его творческому пути, — книгу избранных эссе «Комментарии» и сборник «Единство. Стихи разных лет», включивший из всего его стихотворного наследия лишь сорок пять стихотворений. И потому выпущенная Томской областной научной библиотекой им. А. С. Пушкина книга поэта, вобравшая поэтический сборник 1916 года «Облака», сборник 1922 года «Чистилице», а также несколько десятков отдельных стихотворений, объединенных в раздел «На Шапале», если и не нарушает впрямую волю поэта, то по крайней мере ее не учитывает. Тщательно выстроенное поэтическое целое вновь размывается лишними, часто неудачными стихами и раннего, и позднего периодов. Желая дать более широкое представление о поэте, издатели это представление, напротив, разрушают. Если же принять некоторую категоричность такого суждения, Г. Адамовича-поэта можно было бы исчер-

пывающе представить полуфразой «Когда мы в Россию вернемся...», в которой многоточие проставлено совсем неспроста. Автор знал, что она неизбежно сделается цитатой. Кроме нее, из-под пера Адамовича вышли три двустушия, достойные любой, самой престижной антологии. Фрагмент этот принадлежит стихотворению, написанному еще в двадцатых годах, а потому заключает в себе какой-то трагический и непредвиденный парадокс, ибо поэт предполагал вероятное будущее, между тем как жизнь сложилась иначе.

И, может, к старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,

Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казнь приговоренный,

И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

Говард Филлипс Лавкрафт. Погребенный с фараонами.
Київ, «ЛАБІРИНТ», 1996. 5000 экз.

Один из родоначальников «черной» фантастики, создатель собственной мифологии, в статьях и монографиях упоминаемой как «мифы Ктулху», американский писатель Говард Ф. Лавкрафт и сам был фигурой скорее мифической, чем реальной. Несмотря на обилие им написанного (особенно поражает количество писем, составивших пять обширных томов), пожалуй, не было человека, который не только мог сказать, что он встречался, но даже когда-либо видел Лавкрафта. Со своими поклонниками и почитателями он поддерживал отношения путем регулярной переписки. О мифологизме этой фигуры можно говорить еще и на основании того, что многие произведения Лавкрафта либо написаны в соавторстве, либо закончены после его смерти его продолжателями. Это следует помнить уже хотя бы потому, что из чертовой дюжины повестей и рассказов, вошедших в книгу, лишь три написаны лично им. Остается удивляться силе фантазии писателя, он, как бы минуя светлые области человеческого разума, обращается к миру архетипов. При том гармоничность созданных им образов такова, что они не просто убеждают, а и спустя десятилетия после смерти Лавкрафта заставляют сочинять вариации на заданную им тему. А тема эта переходит из произведения в произведение. По мысли писателя, некогда мир населяли Старшие боги, впоследствии удалившиеся в глубины космоса, их место заняли другие боги — Властители древности, создания настолько ужасающие и кошмарные, что человек не способен выдержать общение с ними. Одиночки, сталкивающиеся с Властителями древности, либо гибнут, либо обречены нести ужас от этой встречи до конца своих дней. Фрагменты из «Ктулхианской саги», включенные в сборник, могут дать некоторое понятие о фантазмагорическом мире Говарда Ф. Лавкрафта.

К. А. Буровик. Красная книга вещей. М., «Экономика», 1996. 7000 экз.

До самого последнего момента практически не существовало источников, где можно было бы почерпнуть сведения о происхождении предметов быта: одежды, обуви, мебели, посуды. Они порождались временем и с ним же и уходили, порою не оставив о себе никаких свидетельств, кроме названий или в лучшем случае скудных описаний — то на страницах художественной литературы, то на страницах исторических хроник. К счастью, сейчас книги о происхождении и бытовании вещей стали наконец появляться. Но не поздно ли? Уже по названию книги К. А. Буровика понятно, большинство из вещей, упомянутых здесь, не существует, либо, как, например, зеркала, они бытуют в сильно измененном виде. А как же выглядели вещи, совсем вышедшие из обихода? Что означают слова «редингот», «кюлоты», «армяк», «пластрон», «сулея», «зерцало»? Об этом и о многом другом говорится в «Красной книге вещей». Для удобства пользования она разделена на части, среди которых «От колпака до короны», «Музей обуви», «Щепетильный товар», «Стул, стол и престол». Внутри разделов статьи выстроены в алфавитном порядке, красочно иллюстрированы. По сути дела, перед читателем миниэнциклопедия, ею легко пользоваться, ее интересно читать. Можно определенно утверждать: если вещи, пусть и вышедшие из обихода, прочно позабытые, запечатлены в изображении и слове, они не умрут. На том бы и стоило закончить, но внимательное чтение книги наводит на странную мысль, еще только требующую своего осмысления. Кажется очевидным — все вещи порождены насущной необходимостью, а тем не менее значение разных вещей — разное. Есть вещи, в которых необходимо составляет главное их назначение. Есть вещи, вызванные к жизни скорее тщеславием, украшательством, и это, а не насущность, выходит на первый план. Но существовала — да и существует — еще одна разновидность вещей. И практикой, и тщеславием их су-

ществование не истолкуешь. Они порождены причудливостью самой человеческой природы, жаждой чего-то необычного, никогда не бывшего. Иначе как объяснить, например, построенную по приказу курфюрста саксонского и короля польского Августа бочку на 250 тысяч литров вина, на верху какой была оборудована танцевальная площадка? Смысл таких вещей причудлив, а значение велико — и о том следует подумать.

Николай Глазков. Серия «Самые мои стихи». Составители Н. Н. Глазков, А. В. Терновский. М., «Слово/SLOVO», МСМХСV. 1000 экз.

Несмотря на немалое количество выпущенных при жизни книг, Глазкову так и не удалось опубликовать то лучшее, что он сочинил в молодости, то, что и сделало его собственно поэтом Глазковым, оставшимся в истории русской литературы. Составители сборника попытались исправить положение и показать творчество поэта со всевозможной полнотой. В книгу вошли поэмы «Поэтоград», «Мировая дурь», «Хихимора», «Одиночество», отрывки из поэм «Сорок скверный» и «Фантастические годы», несколько десятков стихотворений, а также фрагменты автобиографии, записанные поэтом Давидом Самойловым со слов Николая Глазкова. К сожалению, на страницы попали и стихи случайные; в том заключается первый казус, если вспомнить название серии. Любопытно задуманный, хорошо оформленный сборник (в качестве иллюстраций использованы фотографии из домашнего архива, портреты Глазкова работы разных художников, а также факсимильно воспроизведенные стихотворения) не получился еще и потому, что в него не вошло многое, что должно бы войти, что изустно известно любителям поэзии. Не знакомый же с творческим путем Глазкова, зато внимательный читатель с удивлением заметит: несколько десятилетий или не представлены совсем, или представлены двумя-тремя стихотворениями. И это еще один казус. Впрочем, не самый главный. Малый тираж, особенно когда каждая книга пронумерована от руки, свидетельствует скорее не о высоком вкусе издателей, а о том, что в наше мутное время читать стихи могут лишь избранные. Но так в общем, а в частности подобное положение дел возвращает Глазкова как бы ко временам «самсебяиздата», или «самиздата» (слова, им созданные и вошедшие в русский язык), тогда поэт переписывал, перепечатывал, сам переплетал и нумеровал сборники своих стихов и раздаривал с необычайной широтой. Еще более странным кажется то, что подбиравшие стихи, редактировавшие их, составитель серии и многие иные, кому положено по необходимости, не читали самих стихов, иначе они бы не включили такие строки:

Ну а я не хочу быть эстетом,
Не люблюсь ошибками этими,
А, напротив, уверен, что где-то
Красный путь под зелеными ветвями.

Он не там, где плохими стихами
Воспеваётся красное знамя.
И не там, где удачнее пишется,
Но читателей меньше, чем тысяча.

И почти наверняка можно утверждать: нужная книга Глазкова имеет читателей меньше, чем было читателей и слушателей у поэта при жизни, когда он декламировал стихи по первому требованию и раздаривал автографы в количестве, не поддающемся исчислению. Последним, пусть и почти совсем неприметным казусом закончим нашу заметку. Под фотографией на 37-й странице значится: «В центре с кошкой Коля Глазков». На фотографии же в центре группы с кошками на руках запечатлены трое, и, хотя одна из них женщина, нелепость остается нелепостью.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
Рукописи редакция не возвращает.
Рукопись может быть возвращена в течение года при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку.

Читайте в ближайших номерах

Исследование психологов
Ирины МЕДВЕДЕВОЙ
и Татьяны ШИШОВОЙ

«НОВОЕ ВРЕМЯ — НОВЫЕ ДЕТИ?».

«Любая эпоха возлагает большие надежды на молодежь. В переломные же периоды эти надежды перерастают в упования... Ну, скажите, кто, где, в какой пробирке будет выращивать «совсем другое» поколение? И на каком «питательном бульоне?»»

*В ближайших номерах
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. Затонувший ковчег. Роман.

Игорь ВОЛГИН. Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Григорий КАНОВИЧ. Парк забытых евреев. Роман.

Бенедикт САРНОВ. Перестаньте удивляться. Заметки писателя.

Рассказы Юнны МОРИЦ, Михаила РОЩИНА, Вячеслава ПЬЕЦУХА.